

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: **О. Н. Вялкова**

Корректурa: **М. Н. Долгов**

10/2017

Содержание

ПРОЗА

- Мария БУШУЕВА. Демон и Димон.** Роман. 3
Вадим ВОЛОБУЕВ. Свеча в ночи. Рассказ. 52
Валерий КОПНИНОВ. Старые песни о главном. Рассказ. 93

ПОЭЗИЯ

- Александр РУДЕНКО. Краденые кони.** Стихи. 47
Ганна ШЕВЧЕНКО. Вечерний город. Стихи. 88
Мария КОЗЛОВА. От Яузы до Сходни. Стихи. 108
Ольга ПОЛЯНИНА. «Черемуха в затопленном лесу...» Стихи. 112

ДРАМАТУРГИЯ

- Кристина КАРМАЛИТА. Обряд развенчания.**
Комедия в двух местах. 114

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Виктор РОЖКОВ. Наследники Киприана.** Повесть. Продолжение. ... 136

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА. Старо-Еврейское кладбище
в Омске. Дневник некрополиста.** 161

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Светлана МИХЕЕВА. «Как некий местный лейтмотив...»
О поэте Вячеславе Турине.** 172

Книжная полка

- Юлия ФЕДОРИЩЕВА. Новосибирская летопись
Владимира Шамова.** 179

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Людмила БОГОМОЛОВА. Художник Владимир Тронов.** 181

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Шукин.

Мария БУШУЕВА

ДЕМОН И ДИМОН

Р о м а н

Некоторые ведут себя так, словно верят, что можно катиться под гору — немного или сколько угодно — и наверняка достичь места, откуда можно будет покатиться вверх.

Г. Торо

Часть первая. Мираж

Все болит у древа жизни людской.

К. Леонтьев

Совершенно внезапно для себя я свернула с асфальтированной улицы на газон, будто зная точно, что там, под деревьями, меня ждет странная находка. Огромное продолговатое яйцо цвета морской волны лежало в траве, возле серого ствола дерева. И когда я взяла его в руки, оно быстро потеплело, мне даже показалось, что от его концов, не уместившихся в ладонях, начал исходить какой-то неземной мерцающий свет. Возможно, то была всего лишь иллюзия, ведь найденное яйцо так сильно походило на чудо.

Моей мамы уже не было в живых, бабушка, которой я показала находку, ничего определенного сказать не смогла, но я увидела: и ее удивило это гладкое, огромное, морского цвета яйцо... На завтра я понесла его в школу и подарила мальчику со сросшимися на переносице бровями: мы учились с ним в одном классе и я, двенадцатилетняя, так сильно любила эту летящую черную чайку, застывшую в полете. Куда потом делся мой подарок, не знаю. Мальчик буркнул мне «спасибо» — вот и все. Наверное, загадочное яйцо ушло в обмен на какую-нибудь импортную зажигалку или подобную мальчишескую ерунду.

* * *

В один прекрасный момент, а точнее тяжелый и ужасный момент, вы понимаете, что в жизни вас по-настоящему любила только ваша кошка, черепаховая кошка с пушистым хвостом, которую вы же и называли Читтой: котенок, найденный в коробке, оставленной кем-то на лестничной клетке вашего подъезда, был черненький и, точно обезьянка, подвижный, а второе «т» в ее имя вы добавили, потому что восприняли кошечку как еще одну вашу тень, как бы живое отражение стихийной части вашего собственного сознания (вы в это время увлекались буддизмом). И это отражение, чуть повзрослев, действительно удивительно точно принимало и перенимало все ваши чувства, выражая их с помощью своего кошачьего арсенала средств выражения. К тому же она оказалась очень умна.

Умна совсем не по-кошачьи.

Такое вот отражение отражения — отделившаяся часть вашей психики, еще привязанной к страстям материального мира...

Впрочем, умна-то была она умна, но мертвого котенка съела. Возможно, именно эта картина, открывшаяся мне как черная тень ее материнства — после ласкового и тщательного вылизывания остальных котят (всего их было шесть, но осталось пять), — оказалась той чертой между человеческим и животным, которую я уже не смогла переступить, и мгновение, когда на месте умной домашней кошки мой взгляд обнаружил дикое животное, из пасти которого торчала лапка ее собственного мертвого детеныша, предредило наше расставание — а сначала отвергло ее мое сердце. Слова одного буддийского монаха о том, что читта бродит где хочет, ведет в ад и удерживает человека в сансаре, вспомнились мне, а главное, я испытала к кошке физическое отвращение. Но, ощущая все, что чувствую я, эту мою свершившуюся с ней разлуку душ она не почувствовала и любила меня по-прежнему — верно, преданно, точно собака, и, когда я находила хозяев для ее котят и отдавала очередного (и так пристроила всех), она ни разу не царапнула меня, однажды только попыталась, подлетев, ударить лапой. Но — не смогла. И, ступая за мной как тень, только выла и выла от боли разлуки. Вы говорите, кошки быстро забывают, когда у них отнимают потомство? Не знаю. Читта страдала о своих пушистых крохах почти месяц, а может, и дольше...

И я не могла представить без Читты своего дома. Но...

И здесь я пишу и плачу.

* * *

Если в дверь звонил чужой, от которого шли недоброжелательные или опасные флюиды, Читта занимала оборонительную позицию у порога, шипела, а не мяукала, ее шерсть штормило, глаза грозно сверкали.

Хорошо, что с такими людьми я разговаривала только через дверь.

Но что было делать, когда, прилетая из командировок, в дом пытался войти мой собственный муж?!

Едва только он звонил в дверь, она кидалась к порогу и превращалась в лютую дикую кошку, я открывала, но Читта не пускала его, подпрыгивала и всеми зубами впивалась ему в ладони — он неделями ходил с забинтованными руками и она вгрызалась в его бинты... Читту приходилось закрывать в маленькой комнате двухкомнатной квартиры, пока он был дома, что, согласитесь, создавало массу неудобств. Теперь-то я понимаю: она просто чувствовала и, отражая, выражала по-кошачьи экспрессивно интуитивную часть моей собственной психики, мое подсознательное знание о том, в какой тяжелый узел завяжутся отношения с ним и во что потом выльется его любовь-ненависть...

Но об этом позже.

В свое сознание этим предчувствиям я не открывала калитки: так сильно мне хотелось иметь при себе мужа, то есть не отличаться от обычных женщин моего возраста. Или чтобы муж имел меня при себе. Просто я стремилась быть как *все*, вслед за своим отцом-геологом, стеснявшимся своего своеобразного склада личности — непонятного и чуть нелепого здания, через щели которого посверкивали узкие зрачки невоплотившейся гениальности, очень подозрительные для обывателя. Да, мой отец был чудаковатым человеком, потратившим всю жизнь на доказывание окружению своей *обыкновенности*, страхась своей инаковости столь же сильно, как мой муж горящих из-под потолка глаз Читты.

Он-то как раз, наоборот, всеми силами пытался быть не таким, как все, вызвать к себе интерес, и моя улиточная застенчивость — при интересной внешности — вызывала у него недоумение. Вы не от мира сего, говорила его подруга детства, широкоплечая, мужеподобная Инна Борисовна, бывшая музыкантша, игравшая так плохо на пианино, что даже я, бросившая занятия музыкой в подростковом возрасте, это понимала. Инна Борисовна стала успешной бизнесменшей. А меня терпеть не могла. А вот другая его подруга Галка (троюродная сестра и первая любовь) — бывшая балерина — меня любила. Она вышла на пенсию в тридцать семь лет, уехала жить в деревню и там учила детей танцам и английскому языку, но, иногда приезжая в город, бывала у нас, и тогда мой муж становился тихим и нежным: сейчас, в ключе моды, в их отношениях нашли бы что-то инцестуальное...

Да, мне не хотелось быть не от мира сего.

Но, возвращенная социально активной бабушкой-журналистом, самостоятельно жить я совершенно не умела. И потому брак восприняла как спасительную раковину, в которую могу спрятаться от социума, грозящего всевозможными опасностями и неприятностями. Правда, и там я не находила того спокойствия, о котором мечтала: то в перламутровые створки ударяла галька, выбрасываемая волной, то раковину засыпал песок и я начинала в ней задыхаться. Но если говорить о моем браке без поэтических образов, то есть на языке сегодняшней трезвости, мы как бы заключили с мужем своеобразный договор: я превращаю его в удачника, а взамен получаю возможность заниматься живописью, не думая о куске хлеба. Такая семейная формула — без романтики.



Индивидуальное предприятие Димон зарегистрировал еще до меня, сразу же, как только это стало разрешено. Однако все, что он начинал, у него разваливалось. Помидоры, которые он по дешевке скупал у сельчан, надеясь подороже продать в городе, сгнивали непроданные, брошенные прямо в ящиках на дачном участке, фирма, в которую он внедрился и которая занималась какой-то оптовой торговлей, вскоре развалилась — и так далее. Но все это было до меня. И выходила замуж я не за торговца помидорами, а за молодого прозаика, впрочем, столь же неудачливого, как и продавец томатов.

И почему-то знала, что сделать его успешным и удачливым у меня получится.

И только мы поженились, его старый знакомый показал, как раскрутить торговлю карнизами. Нужны были только деньги, чтобы создать свое ООО. Отец Димона уже умер, да и его сбережения полностью девальвировались. Занять можно было только у «новых русских» — появился тогда такой термин! Или у «старых русских» — хранивших сбережения не в бумажных советских купюрах, а в золотых украшениях и бриллиантах. У моей, к тому времени тоже покойной, бабушки была такая подруга — старушка, вдова члена-корреспондента медицинской академии наук, к которому за успешное лечение шли в советские годы караваны верблюдов, груженных подарками, ее уговаривали уехать в Израиль, но она — русская по матери — осталась в России. Меня она любила. И внезапно сделала мне подарок, деньги от продажи которого и пошли на развитие начального бизнеса.

* * *

И Димон сказал мне: или я, или кошка. Я же, мол, не смогу жить в этом доме. Я ночью боюсь выйти в туалет, эта дикая тварь, как обезьяна, ловка, она легко забирается в верхний угол между стеной и потолком и готова, уверяю тебя, готова в момент прыгнуть мне на шею! Ты вот выйди ночью и только посмотри, как в темноте сверкают ее глаза! Он дважды произнес от волнения «готовá», то есть с ударением на последнем слове.

Действительно, стена коридора была неровной из-за специальных жидких обоев, и по ней Читта быстро добиралась до потолка.

— Или я, или Читта!

Господи, я уже слышала эту фразу. От своей бабушки. Но тогда она звучала так: или я, или кот!

Конечно, мне, десятилетней, пришлось выбрать бабушку и отнести обратно прожившего у нас два месяца прекрасного кота Пущу. Взяла я его в незнакомой семье генерала, жена которого решила избавиться от животного, поедавшего с большим энтузиазмом их шикарную пальму; девочки во дворе, узнав, что я мечтаю о домашнем питомце, привели меня к ним; я до сих пор помню этот сталинский дом с высокими потолками, женщину в шелковом халате и с тем высокомерным выражением лица, какое было только у жен советских высших военных чинов, а сейчас у косметически

усовершенствованных жен российских долларовых миллионеров; она провела меня в квартиру, чтобы отдать вместе с котом его матрасик, и я увидела обгрызенную им пальму в кадке, посередине большой темной комнаты, которую, я уверена, генеральша называла «залой».

Мой муж тоже пытался называть так двадцатиметровую комнату в панельном доме. Это вызывало у меня иронию, которую из деликатности я, конечно, предпочла скрыть.

Когда я принесла кота обратно, в дом меня уже не пустили. С невыносимым выражением лица генеральша взяла у меня, горько плачущей, кота — и захлопнула тяжелую дверь. Бом.

В ту же ночь мне приснился человек с синей рукой. Высокий мужчина, у которого одна рука была синяя. Сон стал повторяться. И я просыпалась в жутком страхе. Мне самой было непонятно, чего я боюсь: во сне ничего не происходило, просто в середине какого-нибудь сюжета появлялся человек с синей рукой — и тут же все обрывалось.

И вот как-то с моей школьной подружкой мы шли по заросшему зеленым переулку, было начало сентября, вечера еще не стали короткими и темными, но уже утратили тот ясный долгий свет, который так располагает к поздним вечерним прогулкам летом.

Мы шли и о чем-то болтали. Наверное, о мальчиках. Несмотря на то что я была очень застенчивой и первый раз поцеловалась только после двадцати лет, влюблена я была с одиннадцати — в того самого мальчика с черной чайкой бровей, застывшей в полете над морем моей души. Подружка, подражая мне, тоже старалась в кого-нибудь влюбиться, но, наделенная вялым темпераментом, она больше придумывала чувства, чем испытывала их на самом деле.

Впрочем, разве мои чувства не были всего лишь пылкой выдумкой?

Навстречу нам попадались нередкие прохожие, чаще немолодые семейные пары, иногда мамы с детьми на трехколесных велосипедах и в колясках и, конечно, влюбленные парочки, на которых я смотрела во все глаза, потому что мне тогда уже хотелось понять закон, по которому именно эти, а не другие двое притягиваются друг к другу. Ведь сколько на свете симпатичных девушек и не меньше симпатичных парней — почему стали парой именно эти двое? Общий вопрос, точно геометрический угол, острием уходил в частный: мальчик со сросшимися бровями — это моя любовь *навсегда*? Или... или мне тоже предстоит еще встретить кого-то другого в своей взрослой жизни?

Я обычно размышляла вслух, благо моя подруга была очень молчаливой, но слушать мои рассуждения обожала — она потом записывала их в свою тетрадку (это было время до Интернета), чтобы однажды извлечь из нее цитату и вставить в разговор с кем-то другим. Это мне льстило.

И в тот вечер, наверное, я рассуждала о чем-то подобном, ведь начался новый учебный год, а моя старая любовь не кончалась, и меня уже беспокоило — не станет ли она вечной.

И вдруг я вздрогнула, и тут же мои задрожавшие колени сковал холод: по тенистому переулку нам навстречу шел человек с синей рукой!

Удивительно: совершенно так, как в моем сне, он был высоким и худым, с темно-серым цветом лица (во сне на цвет лица внимания я не обращала). Вместо одной руки у него был протез в ярко-синей перчатке, а здоровая рука была опущена вдоль тела. Синюю руку, согнутую в локте, он держал перед собой.

Он посмотрел мне в глаза. Не знаю и сейчас, что он смог прочитать в моем молниеносном ответном взоре, но он тут же отвел взгляд — и мой страх исчез.

Я уже не боялась человека с синей рукой.

И никогда больше его не встречала.

* * *

Случались в моем детстве и другие горести — и почти все они были связаны с бабушкой. Ей было уже далеко за шестьдесят, но многие ее называли не бабушкой, а женщиной — такая шла от нее витальная женская сила, что возраст ее окружающими не замечался: с крупной головой, большим бюстом и профилем львицы — она выстраивала одним своим волевым импульсом вокруг себя окружающих, точно магнит — металлические опилки, и ее родные сестры, чтобы не попасть в сферу ее магнетического воздействия, предпочли жить от нее за три тысячи километров.

Но львица, несмотря на свою колоссальную силу, была ранена временем: в сталинские тридцатые по ее семье проползли черными танками репрессии, задавив родного дядю и основательно помяв остальных.

Моя бедная мать, ее дочь, служила львице костылем.

Дочери было, конечно, разрешено выйти замуж, но только так, как представляла ее замужество ее мать, ожидавшая от семьи зятя не только поддержки дочерней одаренности (моя мама обладала уникальным бархатным меццо-сопрано), но и для себя — почтения и подчинения. А в идеальном варианте костылем должен был стать зять.

Бабушки я боялась не меньше, чем человека с синей рукой, но здесь страх был привычным и так ловко прятался в садовых зарослях подсознания, что я не только способна была испытывать параллельно ему к бабушке и любовь, но даже порой осмеливалась нарушать ее воспитательные предписания.

Так, нарушив в шестилетнем возрасте строгий запрет выходить за пределы двора, я перешла через дорогу и обнаружила во дворе большого двухэтажного здания сверкающую на солнце кучу металлических обрезков: витых стружек и просто прямых металлических перьев, кусочков разноцветной проволоки, отливающей синим и медно-красным, осколки крохотных неровных серебристых брусков... Это было волшебно! Я набила ими карманы своей курточки, но все медлила, стоя на вершине кучи, счастливо улыбаясь и оттягивая миг расставания с найденным чудом. Внезапно здание зашумело, зазвенело — из угловой двери вышел взрослый человек в сером халате нараспашку, надетом на брюки и рубашку, и, как мне показа-

лось, крайне строго и осуждающе посмотрел на меня. Куча металлических обрезков и опилок виделась мне сокровищами, я страшно испугалась, тут же подумав, что человек в сером халате решил, что я их ворую! И, с огромным усилием преодолев тревогу, сказала: «Я взяла немного. Можно?»

Он рассмеялся — добрый смех его словно отразился в стеклах здания и солнечными зайчиками запрыгал по асфальту: да хоть всю бери!

Это было счастье. Весь мир стал ярким, влажным, цветущим, пахнущим майскими ароматами.

Дома меня с нетерпением ждали бабушка и мама: обед был уже на столе. Бабушка торопливо, схватившись за капюшон, стала снимать с меня куртку, и ее ладонь упала, как чаша старинных весов, от тяжести найденных мной сокровищ. Что это, опорожняя карманы куртки, гневно спросила она, разве это девочка? Посмотри, Лера. Мама, выглянув через бабушкино грузное плечо, попыталась мне робко улыбнуться. А я захлюпала носом. Сурово сдвинув брови, бабушка собрала с пола весь будто разом потускневший мой клад, бросила его в хозяйственную сумку и, как была в домашнем платье, ведь стоял расцветающий май, вышла за дверь.

Ни время, ни звуки не проникали ко мне: я стояла оглушенная. И — сквозь пелену немоты — услышала: «Я закопала весь этот хлам во дворе. А теперь обедать».

Мама пообедала и ушла по делам службы.

А я сидела за столом больше часа.

— Ешь! — требовала бабушка. — С хлебом ешь!

— Я ем, — отвечала я, глотая слезы.

С трудом впихнув в себя две ложки супа, а потом столько же картофельного пюре и наконец удучив момент, когда бабушка вышла в кухню, я быстро выбросила две сочные котлеты за диван, а хлеб в форточку... Надо ли объяснять, что в детстве у меня был слабо выражен инстинкт продолжения жизни посредством питания, отчего мне покупали в аптеке невозможно противный, горький аппетитный чай...

На следующий день я побежала в тот же самый двор, чтобы снова набрать в карманы сверкающих металлических обрезков. Накрапывал дождь. Во дворе было пусто. Сокровища исчезли. И здание казалось онемевшим и серым. Окна уже не сверкали — они стали мутными.

Видимо, было воскресенье, выходной день, дети не учились, а школьные мастерские не работали. Такая же волшебная гора появилась бы уже на следующей неделе. Но я этого не знала. И не знала, что мой будущий муж, старшеклассник восемнадцати лет, не попавший в выпускной элитный английский класс, как раз в том самом году заканчивал именно эту школу, работая в ремесленных мастерских... Впрочем, сейчас, после всего происшедшего, я уже не считаю его своим мужем. Не считаю, что у меня вообще был муж.

И с этой минуты буду называть его просто Димонем.

Полная отчаянья, я позвала своего лучшего друга — веснушчатого тихого шестилетнего мальчика, родившегося позже меня на два месяца, — и

мы перекопали весь наш двор в тех местах, где не было асфальта. Но ничего не нашли. Разумеется, бабушка просто выбросила содержимое моих карманов на помойку — в железный ржавый бак, который увозила каждое утро мусоровозка на общественную свалку.

* * *

Возможно, как раз его имя сыграло важную роль: моего самого любимого друга детства тоже звали Дмитрием. Димой. Правда, бабушка всегда подчеркивала, что Димами зовут Вадимов, а Дмитриии — это Мити. Но этих тонкостей ономастики никто из моего окружения не знал, и я пропускала ненужную информацию мимо ушей. Потому имя Митя прозвучало для меня только с открытием Бунина...

Мальчик со сросшимися бровями был любим мной не так, как первый Дима, — школьное чувство было уже окрашено оттенками влюбленности и пробуждения эротических фантазий: я каждый вечер в постели перед сном придумывала, как мы с ним *случайно* где-то встречаемся и целуемся в темноте. На этом трепетном моменте сюжет обрывался. Лишь черная чайка взлетала и кружилась над нами...

А Диму первого я любила всеобъемлюще: он был моей платоновской половинкой, я не отделяла его от себя и никогда не говорила: «Я с Димой», а только так: «Мы с Димом». Окончание мужского рода свидетельствовало, что гендерные роли распределены правильно: Дим — мужская ипостась нашего единого целого, а я — женская.

О, какое это было тихое блаженство — в теплый майский день лежать с ним рядом на траве нашего дворового большого газона (почему-то заходить малышне на этот газон взрослыми разрешалось) и смотреть на облака.

- Верблюд! — воскликну я.
- Слон! — откликнется Дима.
- Зебра! — произнесу я.
- Кот, кот, кот! — отзовется он.

А белые кучевые облака все плывут, меняя форму и очертания, плывут, плывут над нами, над двумя маленькими детьми, еще не знающими, что на той планете, куда они случайно или неслучайно попали, есть смерть.

- Кит, кит, кит! — бормотала я.
- Пароход плывет, — шептал он.

И сейчас я вижу: мы, пятилетние, лежим на яркой зеленой траве на самом краю земли...

Это было счастье.

Оно не повторилось в моей взрослой жизни никогда.

Но и то, детское, счастье было недолгим.

* * *

В шестилетнем возрасте я заболела пневмонией: воспаление легких началось внезапно, как горный обвал — и следующий за ним резкий про-

вал в черноту. Когда я, придя в себя после высоченной температуры, первый раз открыла глаза, белая влажная простыня, спадающая с двери в мою комнату, мне показалась лавиной ледяного снега...

Пока я болела, развелись мои родители.

Наверное, горным обвалом для меня стал их разрыв: маленькие дети всё чувствуют, даже если не понимают до конца смысла обрывочных фраз взрослых.

Выздоровливала я очень медленно.

Отец женился, а мама бросила учебу в консерватории.

У нее точно отключилась часть мозга: она ходила, говорила, даже что-то делала, но казалась спящей, и мне стал сниться один и тот же очень страшный сон, в котором я теряю свою маму, а потом ищу ее; одна, маленькая, испуганная, я плутаю по черным вечерним улицам и вдруг вижу вывеску «Ресторан» — с пяти лет я уже умела читать, и первой «большой» прочитанной книгой (и любимой) стала сказка «Бемби», — и вот во сне я захожу в двери ресторана и спрашиваю незнакомого мужчину (у него почему-то поверх костюма надет серый фартук): «Вы не видели мою маму?» И он с неприятной зловецей усмешкой показывает рукой на подоконник окна: вместо вазы или горшка с цветком там стоит потерянная голова моей мамы...

Я кричу и просыпаюсь.

Эти сумерки души, тенью проступившие на красивом, молодом материнском лице, очень пугали меня. И я снова пряталась в болезнь. И снова мне снилось, как я брожу по улицам ночного города одна.

«...Бемби не мог долго находиться в одиночестве. Как и раньше, он тоскливо начал звать маму. За этим занятием его и застал большой олень — самый старший и большой из всех, кого он видел.

— Что ты кричишь? Ты боишься быть один? Тебе должно быть стыдно!»

Помню жаркие апельсины на тумбочке и расплзающиеся по мятой простыне шахматы, в которые играла со мной бабушка... Белый конь, забравшись под подушку, давил мне ухо — но у меня не было сил прогнать его и водворить в коробку.

* * *

Дима, конечно, навещал меня. Но, сидя у моей кровати, он казался совсем отдельным, и, возможно, именно сильнейшее желание скорей вернуть утраченный мир райского единения, еще не отравленный вкусом запретного яблока, заставило меня все-таки выздороветь, ведь все остальное: рухнувший дом детства из-за развода родителей, горечь таблеток и ежедневные издевательские уколы, для которых приходилось стягивать пижамные штанишки, — было таким ужасным, что возвращаться обратно не хотелось.

Но я все-таки выздоровела и наконец впервые вышла во двор. Я шла по асфальтированной дорожке словно по палубе корабля — так сильно меня качало от вызванной воспалением легких астении.

Первое предательство уже караулило меня, ослабленную болезнью, чтобы выстрелить прямо в сердце. Пуля только задела его — но испугала навсегда.

Дима азартно играл с мальчишками в войну и вдруг увидел меня, идущую по двору.

— Дим, — позвала я.

И его лицо выразило не радость, не счастье от обретения вновь своей единственной подруги, а растерянность. Он остановился; за ним встали мальчишки, которые тоже прекратили игру, перестав носиться с палками и победными воплями. Они ждали. И время точно застыло, немного покачиваясь, как мостик между двумя берегами, — это был какой-то не детский, а судьбоносный момент выбора: или он остается с ними, или вернется ко мне и его окатят насмешливым презрением. Они еще до моей болезни дразнили его «женихом».

Дима стоял, не делая шага ни к ним, ни ко мне. И молчал. И это его молчание, как мне показалось, тянулось долго, очень долго. А мостик все покачивался, и колени у меня дрожали. Но лицо Дима было уже не растерянным, а огорченным. И я поняла: ему хочется продолжить играть с мальчишками.

— Дим, — зачем-то снова позвала я; хотя он в конце концов решил и пошел ко мне, я уже понимала: *счастье кончилось навсегда*.

Ведь я никогда, если бы он болел, не стала бы играть ни с кем из других детей, никогда. Я бы ждала только его.

А мою любовь и верность предали.

Меня предал Дим, мой самый любимый, самый лучший друг.

Это первое в жизни, самое главное предательство стало знаком моей женской судьбы, определив мои отношения с мужчинами и подорвав мою веру в возможное платоновское единение мужчины и женщины. В четвертой ножке стола моей веры завелись древесные жучки и выели ее изнутри. И уверенность в себе я потеряла тогда же. Ведь я выбралась из болезни только ради того, чтобы снова быть вместе с ним, моим Димом! Но, оказывается, я ему не нужна! Меня легко можно заменить!

«Мы с Димом» распалось.

Мой первый брак тоже распался. Буквально через полгода.

Я как бы просто сходила замуж.

Познакомились мы случайно: небольшая институтская компания, начавшая после сданного экзамена гулять и резвиться в стенах вуза, решила продолжить веселое действо у своего приятеля-художника, благо мастерские тогда были просторные. Вуз был художественный, и я, одинокая и замкнутая, внезапно была подхвачена потоком веселья, точно кораблик, и меня понесло к незнакомому молодому художнику вместе со всеми.

Он открыл нам дверь — и сноп света из широкого подъезда упал на его красивое, правильное лицо. Даже слишком красивое.

Моя лучшая и единственная подруга Юлька, рассматривая как-то фотографии в моем альбоме, назвала его Аленом Делоном.

Кстати, актерские способности — удел не только артистов театра и кино, но и представителей совсем иных профессий, казалось бы далеких от сцены, экрана или шоу-бизнеса.

Например... сапожников.

Мне было девятнадцать, и художник через две недели сказал: «Слушай, давай поженимся, ну так, на годик... Попробуем. А там посмотрим».

Мы сидели у него в мастерской, я делала наброски, а он сколачивал рамки.

Той ночью я почти не спала. Сходить замуж мне тогда очень хотелось, но только обязательно с участием загса — это освободило бы меня от навязчивого опасения остаться старой девой (при моей страшной застенчивости такая перспектива мне явно светила), а при неудачной попытке и скором разводе выдало бы пропуск в свободу от лицемерно-сочувствующего общественного порицания: «Уже двадцать пять (шесть, семь), а еще не замужем...»

Но обычного молодежного сожителства я очень опасалась, наслушавшись рассказов бабушки о ее двоюродной тетке, которая очертя голову бросилась в объятия какого-то прохвоста, родила от него — и осталась одна с дочкой, унаследовавшей несчастливую судьбу матери. Мне совсем не хотелось повторять плохие семейные сценарии.

И вот почти под утро мне приснилось, будто захожу я в магазин, где среди всевозможных мелких товаров: значков каких-то, замков дверных, оберточной бумаги, коробок конфет — вижу красивые красные модные сапоги и хочу купить их. Мне дают их примерить, и, натягивая сапоги на ноги, я вдруг понимаю, что они... картонные. Но я все-таки покупаю эту пару, выхожу на улицу, ощущая, как красиво выглядят мои ноги в модных сапожках, тут начинается дождь — и яркая обновка под его сильными струями начинает быстро размокать!

Бабушка моя, состоявшая в Союзе журналистов и в компартии, выслушав сон, сказала:

— Жених картонный. Если и поженитесь — ненадолго, до первой ссоры... — И прибавила: — Хорошо, что ты мне сон рассказала: нужно сдать в ремонт мои полусапожки. А то уже холодно для туфель.

Бабушка сдавала обувь в ремонт всегда одному и тому же сапожнику-китайцу. И, когда возвращалась от него, обычно говорила:

— Не похож он на сапожника, а похож на разведчика.

— Почему? — удивлялась я.

— У него выправка военная и речь слишком грамотная, я стараюсь обычно его разговорить, ведь он не может считать чем-то ему опасной обычную старушку.

Я сразу вспоминала Агату Кристи, тонко угадавшую, что никто не обращает внимания на пожилых дам, которые сами тем не менее, из-за массы свободного времени, обращают внимание на все.





И в тот день, вернувшись с отремонтированной обувью, бабушка произнесла уже привычное:

— Нет, он, совершенно точно, китайский резидент!

— Здорово, — сказала я, просто чтобы как-то отреагировать.

Но, конечно, слова бабушки я не принимала всерьез. Страна, в которой я родилась, только что раскололась и рухнула, и толпа, точно вылупившийся из нее монстр, кинулась яростно топтать свою скорлупу, чтобы, стерев в порошок, получить от ее продажи зеленую прибыль.

Мальчишки хотели стать уже не художниками, космонавтами или штирлицами, а бандитами, а девочки — путанами! Но потом, к счастью для страны, бандиты мечты трансформировались в банкиров, а путаны в модели. Но про разведчиков как-то никто и не вспоминал. Профессия словно затонула в мутной воде перемен. Иногда, правда, гоняли по телевизору старый советский фильм «Семнадцать мгновений весны», который с удовольствием смотрела моя бабушка. Воздействием фильма я и объясняла ее паранойяльные идеи. Кроме того, юность бабушки совпала с тридцатыми годами прошлого века с их черными воронками и шпиономанией...

Когда Димон повесил у себя в кабинете на работе портрет Сталина, я спросила его: «У тебя, видимо, никто из дедов-прадедов в тридцатые годы не пострадал?»

— Мы потеряли империю! — сказал он раздраженно. — А он империю построил! И выиграл войну! А все остальное про него — либеральная чушь!

— Сильную страну можно построить не на костях, — сказала я.

Но вездеход времен перевалил через границу веков, и в стране стали медленно проступать приоритеты прошлого, незаметно меняя клиповую мозаичность сознания и вытесняя одряхлевшего, но не повзрослевшего дыпленка-монстра за пределы новой общественной скорлупы.

И вот два года назад история с бабушкиным сапожником внезапно всплыла вновь, чтобы обрести окончание. Сын моей и Юлькиной приятельницы, учительницы испанского языка, окончив школу с отличием, поступил в академию на факультет военных переводчиков.

— Стану контрразведчиком, двойная жизнь — это по мне! — объяснил он, приехав с матерью к Юльке на дачу. — Буду ловить шпионов!

— Боря, — сказала я удивленно, — разве профессия не ушла в прошлое вместе с деревянными счетами кассиров или перкуссией вместо флюорографии?

— Точно! — засмеялась Юлька. — Какие могут быть шпионы, когда у метро можно купить все что угодно, а на военных полигонах катаются буржуи на снегоходах?

— Ну, это вы преувеличиваете, — сказал Борис серьезно, — посмотрелись телевизионных спекуляций. У метро многого не купишь, это все вранье! Но агенты вот есть, точно! Только формы работы и у них, и у нас стали совсем иные. С применением компьютеров и мобильных телефонов.

Он улыбнулся загадочно. И мне стало ясно, что он еще почти подросток.

— Но порой удается раскрыть и старых шпионов, которые тайно работали в стране двадцать — тридцать лет. Нам представили на лекции недавно любопытный пример такого рода: была проведена успешная операция, тщательно спланированная... Да, может, вы помните: на площади перед нашей станцией метро стояла синяя будочка, сапожник в ней сидел, пожилой такой, узкоглазый?

— Конечно, помню! — сказала я. — Моя бабушка у него обувь ремонтировала и любила беседы с ним вести.

— Так вот, много лет не удавалось обнаружить точку утечки информации и все-таки удалось! Этот самый сапожник — друг вашей бабушки — оказался полковником японской разведки! Женат он был на русской, имел сына в России, а продолжал работать и получал чины и награды!

— Как — японской? Моя бабушка говорила, что китайской!

И я рассказала, как бабушка, возвращаясь с отремонтированной обувью, всегда произносила одну и ту же фразу: «Он не простой сапожник, он китайский резидент», а я мысленно подтрунивала над ней.

На некоторое время на дачной террасе воцарилась тишина.

— Ошиблась бабуля, — наконец с ноткой снисходительности произнес Борис, бегая пальцами по экранчику мобильного телефона. — Жаль, что ее уже нет, ей бы в наш вуз...

Юлька подмигнула мне, а я засмеялась.

— Послушайте, подруги, — прерывая мой смех, чуть обиженно сказала тогда моя приятельница, мать Бориса, — мне вот сегодня снились сапоги (кстати, о сапожниках), сапоги не очень новые, правда, но еще очень приличные, я их во сне надеваю, и мне в них удобно и тепло. К чему бы это?

Через полгода она вышла замуж за испанца, шеф-повара ресторана, и уехала. А Борька остался в России.

* * *

Димон второй писал рассказы, очерки и переводил с английского.

Переводы он своим призванием не считал, но благодаря им пристылся к чтению английской литературы и, когда я принесла ему английское издание «Коллекционера» Фаулза, был на седьмом небе от счастья: роман произвел на него колоссальное впечатление. Даже меня — молодую художницу с длинными светлыми волосами — он стал звать Мирандой. Мы еще не были женаты.

Как вы можете легко догадаться, на себя он проецировал образ главного героя.

И вот здесь встает вопрос: почему? Сын известного писателя, имеющий фактически два высших образования, техническое и гуманитарное, знающий английский, начитанный в философии, разве Димон походил на косноязычного малокультурного Фредерика Клегга, для которого Миранда всегда оставалась человеком из другой среды?

Я несколько раз задавала себе этот вопрос, пока не догадалась: проекция была двойной — Димон вжил в образ своего отца, который, если бы не его литературная одаренность, как раз полностью подходил бы по

исходным данным к образу главного героя «Коллекционера»: некрасивый, недополучивший образования, выходец из низов, женившийся на красавице из среды гораздо более культурной (последним мужем бабушки Димона по матери был племянник иркутского миллионщика из очень культурной семьи Сибиряковых) — и фактически стерший жену как личность.

Но была у Димона и болевая точка, сближающая его с Фредериком: чувство ущербности из-за небольшого роста. Я была выше его, и, если надевала туфли на высоких каблуках, он тут же превращался рядом со мной в карлика: у Димона и так была крупная голова, длинные руки и коротковатые ноги — иногда мысленно я называла его своим Коньком-горбунком.

Низкий рост мучил его со старших классов школы: красивые девушки выбирали себе таких же высоких и красивых, а Димон, несмотря на породистый профиль, четкие европейские черты лица и обаятельную улыбку, едва только вставал из-за стола — переставал быть для таких девушек предметом их интереса.

Такую девушку он мог только украсть.

И украденной девушкой оказалась я.

Я не была абсолютной красавицей, но, несмотря на очки, которые всегда носила, считалась вполне привлекательной за счет модельной худобы, роста и длинных пепельных волос — потому нравилась многим.

И Димон, способный оценить только тот предмет, на который уже поставлен знак качества, еще на выставке, где мы познакомились, обратил на меня внимание — благодаря моему бывшему мужу-художнику, ставшему вдруг самым модным акварелистом города.

Мы разбежались с художником не из-за конфликтов — он оказался «голубым» (тогда курсировало такое романтическое определение), которому для поддержания версии о «правильной ориентации» нужно было пусть на короткое время, но оказаться женатым. Мы совпали. Мне штамп в паспорте тоже дал некоторые дивиденды: меня перестали считать старой девой (а фактически я ею и оставалась!) и мной было получено право на свободу — теперь я могла долго не выходить замуж!

На одной из акварелей моего первого мужа, случайно попавшей на выставку авангарда и названной «Девушка и дождь», была изображена я: все общие знакомые узнавали, узнал и Димон. Он почему-то резко побледнел и долго стоял у этой работы, переводя взгляд с нее на меня и обратно. А потом сказал: «Здорово нарисовано. Похоже». Я засмеялась: сходство модели и ее изображения не являлось для меня признаком того, что картина удалась.

После этой выставки Димон стал часто звонить мне, именно тогда начались наши катания по околородским шоссе, одно из которых завершилось «кражей»: Димон привез меня к себе на дачу, закрыл дверь на ключ, сам оставшись со стороны сада, и потребовал, чтобы я дала ему согласие стать его женой. Сначала я ему отказала. Тогда он сел в машину и умчался, а вернулся только поздно вечером. На окнах были решетки, дверь, несмотря на ветхость дачи, оказалась очень прочной — и выбраться сама я не смогла.

— Так выйдешь за меня? — в полночь, точно в «черном романе», снова спросил из-за двери вернувшийся Димон глухим голосом (лунный свет падал на его лицо какой-то прямой стрелой). — Скажи «да», тогда открою! Осудите меня! Я ответила «да».

«Коллекционер» уже стал настольной книгой Димона. Он даже прихватил где-то в деревне старый зеленый микроавтобус, весьма смахивающий на фургон Клегга, — не купил, а просто на что-то обменял. На нем он и привез меня в тот день на дачу...

Вскоре мы поженились.

* * *

На машину, как я узнала позже, он занимал денег у отца, какое-то время на ней ездил, а потом продавал по спекулятивной цене — долг возвращал отцу, на остаток денег какое-то время жил, потом снова занимал у отца и так далее. Такой вот Димон придумал круговорот машин и денег.

Джон Фаулз стал четвертым острием, на котором было растянуто полотно Димоновой личности и, конечно, его писательства. Первыми тремя служили М. М. Пришвин, И. А. Бунин и Генри Торо: от каждого Димон брал все, что способен был взять. В сущности, он и его рассказы, как деревенское лоскутное одеяло, были составлены из заимствований; в литературном смысле это можно было назвать подражанием, в психологическом — проекциями, каждая из которых постепенно разрасталась до роли и в конце концов настолько плотно срасталась с малооформленной тканью его собственной личности, что отделить одно от другого становилось сложно. Особенно когда проекция совпадала с образом семейной истории или с его собственным психологическим строем.

Так, от Пришвина Димон взял охоту, путешествия и любовь к природе, декларируемую Димоном постоянно. Целые куски рассказов Димона были написаны «под Пришвина». Сильное впечатление на Димона произвели и дневники Михаила Михайловича: прочитав их, Димон возмечтал о «поздней любви» (скажу, забегая вперед, что на этой мечте он и попался), хотя все свои эротические похождения описывал в ключе бунинских «Темных аллей», однако без бунинской тонкости, с уклоном в пошловатость.

В своих программных рассказах Димон провозглашал свободу от материальных ценностей, «жизнь в лесу» и патетично утверждал, что ему ничего в жизни не нужно, кроме ветки березы и старой палатки... Это был уже Торо.

Джон Фаулз достроил чертёж Димоновой жизни: сценарий «бездарное чудовище и талантливая красавица» начал воплощаться им в жизнь с параноидальным упорством. И неважно, что я не была красивой, важно, что я привлекала внимание противоположного пола, про меня и мои работы говорили, во мне находили «харизму», но даже не это решило Димонов выбор и зацелкнуло капкан наших с ним отношений, а то сходство, которое, как показалось Димону, обнаруживалось у меня с девичьими фотографиями его мамы: она-то была для него и его отца красавицей бесспорной. Здесь

я как бы в скобках замечу, что Димон если увлекался на стороне, — а без этого ему было *скучно*, — то всегда искал у любовницы внешнее сходство со мной, то есть, если по-фрейдистски подойти, именно со своей матерью.

Но если от Пришвина, Бунина и Торо Димон черпал как бы реальные образы, подражая им, а не их героям (в случае с Буниным — рассказчику), и это, пожалуй, сказывалось относительно благотворно на его собственном «я», то английский писатель Фаулз оказался для Димона роковым: его герой Фредерик, с которым Димон слился, начав атаку на меня как Миранду, был бездуховен и бездарен — и потому он возжаждал сначала овладеть, а потом уничтожить мир, ему противоположный и экзистенциально недоступный, то есть тот, которым на самом-то деле овладеть он не сможет никогда.

Фаулз опустил Димона до уровня Клегга, случайно нажав на болевые точки Димонова подсознания: «отец-чудовище», собственный комплекс маленького роста и скрываемое даже от самого себя подозрение в собственной бездарности.

Но Димон не был бездарен.
Бедный Димон.

* * *

В жизни моей бабушки был, пожалуй, только один человек, которого она считала для себя авторитетом, — ее родной брат Арсений. И меня сначала это очень удивляло. Ведь Арсений Плутархович не сделал никакой профессиональной карьеры: не стал ни профессором консерватории (то есть социально значимым для бабушки лицом), ни просто профессором (то есть лицом уважаемым), он остался, если использовать оценочную шкалу самой же бабушки, никем — никем вообще! — это был провинциальный попивающий пенсионер, когда-то проучившийся в Московской консерватории и несколько лет солировавший в столице как пианист, а после женившийся на женщине из Саратова, уехавший к ней — и... заглохший там, как обмельчавшая и высохшая речушка. Детей у Арсения Плутарховича не было, жена его скончалась, и в семьдесят два года он остался один, живя на жалкую пенсию. Однако ни бедность, ни одиночество его не тяготили.

И моя бабушка — всегда при соприкосновении с обществом встававшая в позу Ермоловой на знаменитой картине, — с братом-стариком проявляла такую мягкую, добросердечную естественность и оказывала ему такое неподдельное уважение, что я просто не узнавала ее! Можно было объяснить ее отношение к деду Арсению сентиментальными воспоминаниями их общего детства и сохранением авторитета старшего брата (бабушка была его моложе на два года), если бы у них не имелся еще один родной брат, который в свою очередь был старше Арсения на те же два года, причем в советское время занимал почетное место начальника отдела строительства в обкоме партии, — но бабушка не поддерживала с ним никаких отношений, хотя вполне могла с его помощью улучшить квартирные условия (мы жили в крохотной двухкомнатной квартирке), — и не потому не поддерживала, что тяготела к диссидентству, эта причина проглядыва-

ла, но была всего лишь внешней по отношению к глубокой и основной: бабушка не любила своего старшего брата Евгения Плутарховича, никогда не объясняя почему. Впрочем, как можно объяснить любовь или ее отсутствие? Лишь однажды обронила: Евгений — наипустейший человек, а мой Арсений — *толкователь*.

Через эту любовь к старику, который сливками общества оценивался бы как пустое место, высвечивалось и в самой бабушке нечто подлинное, спрятанное от пристальных чужих глаз, а иногда скрываемое ею и от самой себя.

Деда Арсения полюбила и я.

Этот скромный, худощавый, среднего роста пожилой человек дважды приезжал к нам, располагаясь в нашей маленькой кухне, где между окном и столом с трудом помещалось кресло-кровать, которое он сам по вечерам раздвигал, и ноги его упирались ночью в коричневую электроплиту.

Во время его приездов бабушка становилась другой. Мне, даже маленькой, приходящие к нам в гости яркие журналистки казались фальшивыми, ненастоящими, а мужчины-журналисты — злыми и остроязыкими (причем в прямом смысле: я так и представляла их заточенные, как ножи, языки), и я вполне соглашалась с самохарактеристикой одного из них, называвшего всю их компанию «матерыми журналистскими волками» — в ней у моей бабушки было почетное место: она курила «Беломор», слушала с удовольствием политические анекдоты и звалась «королевой эфира».

А с дедом Арсением бабушка точно сбрасывала с себя волчью шкуру, переставала быть королевой эфира и по совместительству главной Бабой Ягой журналистского леса, в ее лице проступали черты какой-то другой жизни, может быть той, застывшей в прозрачном пузыре нескончаемого потока времен, где под оранжевым абажуром вечерами собиралась ее семья: отец, инженер с дореволюционным высшим образованием, потом расстрелянный в тридцать восьмом, его жена, тихая и нежная женщина, пережившая мужа всего на несколько лет, бабушка, мать отца, гордившаяся своими пусть и захудалыми, но дворянскими корнями и своим дедом, министерским чиновником, — мирная интеллигентная спокойная жизнь, счастливая жизнь успела еще за четыре года, предшествовавших революции, отбросить на лицо бабушки свой тихий свет. Этот свет начинали излучать ее глаза, когда она смотрела на своего старшего брата.

* * *

Но и сам старик Арсений Плутархович был очень светлый, добрый и совсем настоящий. Он ласково рассказывал мне, пятилетней, о том, что у каждого предмета может быть живая душа, но вырастает она в нем, как невидимый цветок, только если этот предмет полюбишь, и мог за обедом придумать сказочную историю о булочке, которую я не доела: кусочек, брошенный тобой на блюдо, обиделся на тебя, говорил он, качая седой головой, отчего сам напоминал одуванчик, — и мне даже казалось, подуей я на его волосы, они взлетят и дед Арсений тоже легко поднимется к потолку, — а ведь зернышки, которые пошли на муку для твоей булочки, все друг с дружкой раньше дружили, и ты, съев одну часть и оставив кусочек, их разлучила.

Я сразу вспоминала про своего Дима и скорее доедала булку.

Как-то он при мне сказал бабушке: «Тонечка, ты уж прости, но тебе сильно нравится, как несет трагедию потери дочери твоя приятельница Евгения Леонардовна. Так пусть тебе это поскорее разонравится».

Бабушка, похоронив дочь, мою маму, потом часто повторяла эти, на первый взгляд, туманные слова своего старого брата.

Все ведь видел, добавляла она, все знал.

Когда дед Арсений приехал к нам погостить во второй раз, мне только исполнилось четырнадцать и я уже была способна понять, что моя бабушка вкладывает в слово «толкователь»: дед Арсений никогда не говорил пустых, штампованных фраз, которыми бесконечно жонглируют люди, он вообще говорил мало, но каждая его фраза как бы высвечивала суть предмета, явления или человека, причем ту суть, которая прячется за маской, за сценой и даже за привычным полотном обыденности.

Именно от деда Арсения я впервые услышала слово «проекция».

Он сказал бабушке: «Ну что ты так сердита на Евгения (видимо, пока я не вошла в комнату, они говорили о старшем брате), я видел его в прошлом году, он так и не стал самим собой, живет в мире социальных иллюзий и личных проекций, самая сильная из которых — образ нашего прапрадеда, крупного министерского чиновника. Мы только думаем, что мы всё в жизни делаем сами, что мы отдельные частицы мироздания, но родовое прошлое ловит нас и вот его поймало и заставило повторить судьбу прапрадеда почти шаг в шаг. Евгений — исполнитель родовой воли».

— Он власть любит, — ответила бабушка. — Номенклатура — это власть, вот он сделал партийную карьеру.

— Все совпадает, Тонечка, из нашей семьи только он мог быть избран для продолжения линии прапрадеда.

— Да уж, тебя, Сеша, трудно представить начальником.

А я подумала: кем же можно представить деда Арсения?

Бабушка, точно прочитав мой мысленный вопрос, глянула на меня мельком и сказала:

— Я бы назвала тебя философом, но все они сейчас витийствуют на университетских кафедрах, а ты ведь мудрец, не они.

Меня охватила сильнейшая печаль, когда дед Арсений, взяв свой простой клетчатый чемоданчик, стоя в дверях вагона, прощался с нами. Поезд должен был через две-три минуты тронуться, и старик держался за ручку автоматической коричневой двери, чтобы внезапный толчок вагона не нарушил его хрупкого старческого равновесия.

* * *

«Мы с Димом» распалось — и Димону второму я уже не верила заранее. Он даже не мог предположить, насколько оставшаяся в детстве без матери молодая обаятельная художница — его Миранда — не уверена в себе!

И поспешила рассказать ему о своих престижных женихах, чтобы самоутвердиться в его глазах — мол, если ты бросишь меня, есть, есть кому подобрать...

Ведь после той сцены во дворе моего детства я стала жутко закомплексованной: все девочки, а потом девушки и женщины казались мне гораздо привлекательнее меня. Кто я, спрашивала я себя, стоя перед зеркалом и придавая своему лицу выражение «хорошенькости», — очкастая и сутулая девица. Никому не нужная. Кому такая может понравиться? Любой предпочтет мне *игру с мальчишками*.

В пятнадцать лет я была носатой, длинной и тонкокостной, а потому казалась очень худой. И хотя мода на худобу уже шагала по подиумам, любовь к пышным бюстам никто не отменял. Так иронично говорила моя бабушка, грудь которой выступала из-за угла впереди нее на два шага, точно сначала несли мягкую скамейку, а потом появлялась и она сама... У меня такой мягкой скамейки не было. Бабушке это казалось уродством. Но тем не менее ее отношение ко мне напоминало мистическое служение, бабушка моя ведь сама знала за собой ту *силу*, от которой бежали ее сестры. И однажды сказала: «Ты не должна была родиться, но родилась. Потому что оказалась сильнее меня».

Я тогда не возразила, потому что уже чувствовала: если я сильнее бабушки, то лишь в даосском смысле — именно Лао-цзы писал о том, что слабое побеждает сильное...

— За несколько лет до тебя я отказала академику, обещавшему мне двухкомнатную московскую квартиру (на тот момент у меня была только своя комната в коммуналке), а к тому же длительное проживание с ним в Италии, в том чудном солнечном месте, где прохаживался Горький, обожавший Голубые пещеры, — хвастливо и глупо говорила я Димону, поднимая себе цену. (Я угадывала, что он, как спекулянт по природе, мог любить только то, что престижно, или то, на что есть большой спрос. Впрочем, здесь я зря употребила глагол «любить».)

— Дура.

— А потом убежала и от молодого мужчины...

— С успешным бизнесом и наличием дорогой загородной недвижимости? (Димон так и выразился.) И выбрала меня — человека, у которого на тот момент был один костюм и старая разбитая «тойота», но не было ни своей квартиры, ни постоянной работы! Ты это хочешь подчеркнуть? То есть ты героиня?

— Почти.

— А по мне — так оторванная от реальности дура. Не от мира сего. Хотя... — он усмехнулся, — никакой практической пользы от твоего ума... Значит, все-таки дура по американским меркам.

Я возмутилась:

— А кто предупреждает заранее о смене курса рубля, просматривает твой перелет? Стоит мне сказать: не волнуйся, долетишь — у тебя спадает психическое напряжение. Я сохраняю тебе здоровье. Разве это не практическая польза?

— Это не от ума, — возразил Димон, — это помимо тебя. — И захохотал, демонстрируя идеальные зубы. Но вдруг добавил, удивив ме-



ня: — В отличие от других я-то вижу твою ценность и знаю, что сам живу под крышей твоей удачи. Был ведь абсолютнейшим неудачником. Хотя я не понимаю, как ты это делаешь. Скорее всего, это действительно идет просто через тебя, ведь ничем рациональным объяснить траекторию твоей жизни невозможно. Иногда думаю: как ты вообще до меня существовала в нынешнем сугубо материальном мире? Как вообще выживаешь?

— Нормально.

Почему-то я обиделась.

На самом деле мой выбор из трех предложенных судьбой вариантов объяснялся достаточно просто: я как художница иногда участвовала в выставках, на которые стекалась, так сказать, культурная прослойка общества, а Димон был сыном известного писателя, то есть мы возвращались в одной достаточно узкой среде, и я уже рассказывала, что познакомил нас с Димоном мой первый муж-художник, с которым у нас сохранились вполне мирные, хотя и далекие отношения, — мы все трое случайно совпали на одной из выставок российского авангарда.

— Выживаешь только благодаря своей экстрасенсорике. Ты инопланетянка до мозга костей... (Словосочетание насмешило меня, но я скрыла улыбку.) И объяснить тебя невозможно. Ну, или... — он решил снизить романтический пафос до юмора, — Франсуа Перрен из старой комедии, которого спасает только то, что он почему-то всегда поворачивает в противоположную сторону от приготовленной для него опасной ловушки. — Он засмеялся, но смех его мне показался фальшивым.

Но самой опасной ловушкой для меня оказался как раз он! Димон. А точнее, его проекции.

* * *

И все-таки сейчас я понимаю, что не отвергла ухаживаний Димона (какой мильй старинный получился оборот!) потому, что он был родом из моего детства. Как Димон первый. А все остальное просто этому сопутствовало. Или благоприятствовало.

Мы выросли на одной улице. Он учился в соседней школе — той самой, во дворе которой однажды расцвела для меня сверкающая гора металлических обрезков. Более того, вполне возможно, частью этой удивительно прекрасной горы я была обязана лично ему — последний месяц перед окончанием школы работавшему в школьных мастерских.

Наверное, я не один раз видела его на улице и он меня, но из-за разницы в возрасте (он был старше почти на тринадцать лет) мы не могли заметить друг друга. Впрочем, когда, лет в двадцать пять прочитав «Лолиту», он уже, по его признанию, стал пристальнее вглядываться в лица двенадцатилетних девочек (о порочное влияние классика Набокова!), то вполне мог выделить меня — худенькую девочку со светлым хвостиком, симпатичную, с горсткой веснушек на чуть вздернутом носу, очень застенчивую — из общей массы. Но мог и не выделить.

Однако, хотя наши жизни протекали тогда в разных возрастных ареалах, не имевших точек соприкосновения, его семья существовала в пространстве нашего дома — как бы виртуально, виртуальность была еще докомпьютерной, что не меняло ее сущности: человека знаешь, слышишь о нем, но в реальности ты с ним не встречался. Так и семья моего будущего мужа иногда возникала на прозрачном полотне дня — например, упоминанием бабушки, что вышла новая книга писателя Сапожникова, который живет недалеко от нас, в деревянном собственном доме; бабушка производила все это с такой интонацией, что я воспринимала и самого писателя Сапожникова, и его деревянный дом как факты заведомо отрицательные: ведь мы жили в маленькой отдельной квартире и это было как бы *правильно*. И сам Сапожников, иногда одним бабушкиным словесным росчерком возникавший и тут же исчезающий в воздухе нашего дома, мне не нравился. Он был как его фамилия. Груб и прост.

Это значительно позже возникнет в моей жизни скромный, добрый и мудрый сосед по даче, глубокий старик, бывший сапожник, до самого конца своей долгой и достойной жизни изготавливавший мягкие войлочные домашние тапочки, а потом культурологически откликнется ему Якоб Бёме... Бабушка моя и к Бёме бы относилась отрицательно: философ обязан быть философом, а не обувь ремонтировать, сказала бы она ему, но, возможно, бабушке просто стало бы обидно за Плутарха, в честь которого ее дед называл своего сына, ее отца, окрестив, однако, как Пантелеймона.

Как-то бабушка мимоходом за обедом сообщила, что про старика Сапожникова ходит слух, что он стал придерживаться какой-то нелепой диеты — ест одну траву, а Евгения Леонардовна вообще называет все их семейство странным. И правда, разве публичный человек имеет право быть одиозной фигурой?

Я сразу представила этого Слуха — тощего субъекта с маленькой узкой сухой головой, который шагает на ходульных ногах от дома к дому.

* * *

Евгения Леонардовна, дама с фигурой в форме гитары, имела репутацию известного искусствоведа и числилась в хороших знакомых моей бабушки. Именно она произнесла итоговую фразу: ваша дочь, Антонина Плутарховна, с таким поразительным меццо-сопрано должна была гастролировать по всему миру, а вы — лично вы! — закопали талант своей дочери в землю.

Она сама потеряла единственную дочь, но винила во всем ее молодого шального мужа, любителя розыгрышей и водки, который не заметил, напившись в компании у костерка, что его жена пропала. Алтайские реки бурные — она пошла в темноте купаться и ее унесло течением.

Дед Арсений был прав: моей бабушке очень нравилось, как гордо и мужественно несет Евгения Леонардовна свое горе.

— ...Вы — лично вы! — закопали талант своей дочери в землю.

Услышав этот приговор из-за двери своей комнаты, я ощутила кожей колкое и ледяное дуновение ужаса перед нескончаемой и непреодолимой властью бабушки. Ужаса — без примеси удивления: бабушка и мои сокровища закопала во дворе! И наверное, в ту же яму засунула и мамин талант. Я представила его в виде волшебного кольца.

— А внучка? Поет? — Евгения Леонардовна спрашивала обо мне, и я за дверью замерла от предчувствия, что сейчас услышу что-то для себя очень страшное.

— Нет. Она в ту породу («ту», разумеется, подразумевало никчемность). Всем Кургановым медведь на ухо наступил.

Медведь! Я знала его: он приходил за мной ночью, когда я болела воспалением легких, и хотел забрать. Но добрая фея прогнала его и дала мне совет, как обмануть медведя: нужно носить лохматую кофту, сказала она (у меня была такая, из-за цвета я звала ее «лиловкой»), медведь примет в ней тебя за медвежонка и не тронет.

— Это не девочка, — возмущалась бабушка. — Вместо красивых платьев она требует только свою полинялую «лиловку».

Кофта спасала от медведя, но образ медвежонка, в который я спряталась, вызывал другое опасение: каким-то образом я уже узнала, возможно из книжек, что медведи живут меньше людей, и мне необходимо было теперь совершенно точно знать, в какой год своей жизни я должна буду срочно сбросить медвежье обличье, чтобы выжить уже как человек.

И вечерами, когда страхи сгустились и повисали надо мной, навязчиво жужжа, словно черные мухи, я подходила к бабушке и задавала свой тайный и главный вопрос:

— Сколько лет живет медведь?

— Лет тридцать, наверное, — отмахивалась бабушка, иногда удивленно прибавив: — Ты в сотый раз спрашиваешь!

Итак, на зеленой лесной поляне рядком лежат все Кургановы: мой папа, бабушка Курганова, брат моего папы, то есть мой дядя, и моя старшая сестра по отцу Алена. И медведь, проходя, топчется у каждого на ухе, старательно вдавливая когтистой лапой уши Кургановых в траву...

Евгения Леонардовна ошиблась только в одном: бабушка закопала в землю не талант своей дочери, а свою дочь вместе с ее вокальным талантом. Моя мама погибла, когда мне было одиннадцать лет.

— Твоя мама пренебрегла своим даром сама, бросив его под ноги любимому мужчине, твоему хромому отцу, да еще алиментщику, у него дочь была от первой жены, кинула свой талант прямо на порог обычной семейной жизни, и его растоптали. Я уговаривала ее, не выходи за него, тебе замуж рано. И он тебе не пара, он чужак-человек, он смешон! А тебе нужно учиться вокалу. И необходим не клоун, а мужчина-поддержка, который бы не только оценил твой дар, но помог бы тебе сделать сценическую карьеру. В день свадьбы умоляла ее: откажись! Ты загубишь свою жизнь. Но твоя мама сказала: нет.

И когда она ушла из консерватории, у меня помимо воли вырвалось: я тебя проклинаю.

Господи! Я прокляла свою дочь!

Но одно меня утешает: я *всегда* знала — мне суждено похоронить свою дочь. С самого раннего детства моими любимыми сказками были андерсеновские «Русалочка» и «Мать». Русалочка отдает свой голос за любовь — как твоя мама! А во второй сказке умирает ребенок и утешением матери служит предсказание, что жизнь его была бы полна мучений... Так и я утешаю себя: Лера хоть немного счастья в жизни, но увидела, а кто знает, что ее ждало бы дальше с таким недотепой-мужем?

Бабушка достала папиросу.

— Русалочка и я... Ведь меня звали в театр, но родилась Лера. Выходит, что, родив, я умерла.

Все бабушкины излияния слушать было мне тяжело, но она исповедовалась мне как дневнику. Еще мучительнее было *не верить* некоторым бабушкиным выводам, ведь, пока я не получила письмо от деда Арсения, я часто думала, что жизнь моей мамы, не разведи моих родителей две невзлюбившие друг друга старухи — свекровь и теща, была бы вполне счастливой: да, она пожертвовала бы талантом, отдала мужу, а не сцене свой глубокий, *фиолетовый* голос всего лишь ради семейного тихого счастья — собирания грибов, покупки мебели, поездок с двумя детьми и мужем на море, праздников, проводимых с одной и той же компанией верных друзей, но ни разу бы не пожалела об этом, ей вполне бы хватило пения дома, а рукоплещущий зал заменила бы ей гордая и восхищенная улыбка любимого мужа...

И мой отец был против пения на сцене, его легкое тщеславие вполне удовлетворялось исполнением женой романсов для гостей в праздничные вечера.

Заставила дочь восстановиться на курсе вокала бабушка, имитировавшая предынфарктное состояние.

— Мамочка, не умирай! — плакала дочь у ее постели. — Что мне сделать, чтобы ты жила?

— Вернуться в консерваторию!

И мама моя вернулась.

Чтобы после развода с отцом перестать петь уже навсегда: она потеряла голос.

А значит, была обречена.

* * *

И поняла я это из письма.

Вот что дед Арсений написал мне незадолго до своей смерти:

«Ты утверждаешь, что моя сестра виновата в ранней смерти своей дочери Валерии, твоей мамы. Не обвиняй свою бабушку. Она писала мне, что, похоронив дочь, сбитую машиной, до конца своих дней уже не могла

спать без снотворного. Она сама винила себя, что не уберегла свое дитя, потому что считала причиной ее гибели собственное материнское проклятие.

Но — напрасно.

Это было не ее проклятие, а прорвавшийся через подсознание твоей бабушки родовой *приговор*: ее дочь казнили за отречение от своего таланта. Бабушка твоя разрушила личную жизнь своей дочери и фактически погубила ее не по своей воле — она была только проводником нашей общей генетической *силы*. И сопротивляться ей не могла. Это страшная сила генетического *воплощения*, которая передавалась в нашем роду из поколения в поколение, заставляя служить себе, подчиняющая себе и уничтожающая неподчинившегося. Она и меня отбраковала за отступничество от своего дара (у меня находили в юности большие способности пианиста) и, отбраковав, разрушила мою жизнь. Кто я? Старый, больной пьяница, ни жены, ни детей. Именно эта генетическая сила, и тоже за отступничество, выбросила из родовой цепочки и твою молодую мать — только приговор ей был суровей. Почему я выжил, а твоя мама погибла? Наверное, одарен я был послабее, меня отбраковали как мусор, вот и все.

Но эта сила владеет и управляет жизнью лишь того из нашего рода, кто одарен. Остальные могут жить обычной жизнью. И даже часто вполне счастливы. Но некоторых она выбирает в проводники для исполнения своей воли, то есть во избежание отступничества. Моя сестра, твоя бабушка, была проводником. Наш с ней родной дядя, мощный гипнотизер, сначала использовал родовую силу для блага, но, когда силой своей возгордился, погиб.

Это говорила мне мать, твоя родная прабабушка, нашедшая свой последний приют на Ваганьковском.

Видишь, есть и второй закон нашего рода: не возгордись.

Это мистика, скажешь ты. Да. И почему эта сила выбрала наш род, я не знаю. Думаю, что у каждого рода есть свой *демон* (не в смысле демонизма, а в древнегреческом исключительно). В общем, ни на один вопрос у меня нет ответа. Твоя бабушка, сестра моя Антонина Плутарховна, уверяю тебя, была хорошим человеком. И если стереть с ее личности случайные черты обывательского наслоения, под ними можно было обнаружить доброту, доброжелательность и сердечность. А ее авторитарная жесткость, о которой ты пишешь, вспоминая занозы и ранки своего детства, была всего лишь защитным панцирем. Этот панцирь помог ей, юной, пережить тридцатые годы — годы черных репрессий, выжить в Великую Отечественную и, похоронив единственную дочь, вырастить тебя, то есть свою внучку.

Но все-таки самым главным в ней было то, чем она не могла управлять: сила. И сама она была ее проводником.

Так что твою маму погубила не бабушка твоя, а родовая сила. Бойся ее и ты».

Дед Арсений вскоре скончался. Узнала я об этом сначала во сне: он ступил на палубу парохода и помахал мне на прощание рукой — и я знала, что больше мы с ним не увидимся.

Со мной бабушка часто как бы выглядывала из панциря и становилась мягкой, даже беззащитной, но пелена тихого, нежного дождя скрывала

грозную гору, на вершине которой зияло жерло вулкана, — и я чувствовала: власть неведомой горы непреодолима...

От ужаса, что судьба моей матери отразится в моей судьбе, я подчинилась бабушке сразу, угадав задолго до письма деда Арсения, просто спасительным детским наитием, что неведомое осуществляет власть и казни именно через мою бабушку.

И она стала звать меня Шелковой Кисточкой.

И однажды сказала: я буду служить тебе, деточка. Ведь ты меня победила сразу своим рождением: каюсь, я ведь заставляла твою маму избавиться от тебя на этапе Лериной беременности, даже договорилась со своей знакомой, гинекологом, что на следующий день, в десять утра, дочь моя ляжет к ней в клинику и там быстро освободится от будущего ребенка. Они все равно разведутся, сказала я, зачем рожать?

И врач согласилась.

Но твоя мама вечером задремала над книгой, и ей приснилось, что на нее со светящейся в темноте иконы смотрят глаза Девы Марии, смотрят скорбно и нежно. Мама твоя проснулась, но успела различить в тонкой туманной полоске между сном и явью плач — будто плакал грудной ребенок. А в нашем подъезде ни в одной квартире младенцев не было. И стены квартиры с другим подъездом не общались.

Твоя мама расплакалась сама и на аборт не пошла.

А я была у себя, и, когда на следующий день приехала к твоим родителям, они мне сообщили, что их обоюдное решение таково: Лера в больницу не пойдет.

Глупая, вместо того чтобы шлифовать свой прекрасный голос, она надумала рожать детей!

Но второй ребенок — я всегда была уверена, что это был мальчик, мой погодок, — родиться не сумел: бабушка отвела свою дочь в клинику уже сама — беременность прервали.

И душа нерожденного стала тревожить меня, иногда меня окутывало облако совсем непонятной беспричинной печали, тогда я стремилась скорее встретиться с Димом, видимо, на него неосознанно перенесла ту любовь к моему родному брату, которая была мне отпущена на всю жизнь, но, лишенная объекта, стала печалью.

Были и другие признаки его невидимого присутствия: в «Детском мире» мне все чаще хотелось получить в подарок машинку, а не куклу (мама связывала это с моей привязанностью к отцу-автолюбителю) и платьям я стала предпочитать клетчатые штанишки или шорты.

Мой нерожденный брат проникал в меня незаметно, но вполне ощущимо, меняя мой характер, снижая шкалу женственности и внося в мое поведение черты мальчишеской независимости.

— А ты родилась. — Бабушка вздохнула.

Да, добавляю я сейчас мысленно, замечающее звено в цепочке, отбракующей окончательно мою мать.



Но вы вправе спросить, почему письмо деда Арсения я приняла на веру? А я поверила ему полностью. Может быть, ей просто польстило, что ее род обладает какой-то сверхъестественной силой и порождает таланты, скажете вы.

Я отвечаю: если и польстило, то чуть-чуть. Гораздо сильнее испугало.

К тому же вы прочитали письмо моего двоюродного деда не очень внимательно! Ведь он пишет: «...у каждого рода есть свой демон (не в смысле демонизма, а в древнегреческом исключительно)».

* * *

И в семье Димона был и свой демон, и свой скелет в шкафу. Скелетов я обнаружила даже несколько. Один материнский и несколько отцовских. Самый заметный отцовский был тот, что перешел к нам с Димоном почти без изменений, — подсознательный сценарий личной жизни: красавица и чудовище (те же Фредерик и Миранда или аксаковский «Аленький цветочек»); он в общем-то одинаков у всех и во все времена: любовь доброй красавицы должна расколдовать чудовище, превратить его в прекрасного принца (короля).

Обратный вариант («Шрек») уже игра современного ума, казалось бы протестующего против проекций, но на самом-то деле увязнувшего в них еще сильнее, как увязает подросток в том авторитете, который нигилистически свергает.

Миранда не смогла полюбить Фредерика — и стала его жертвой, а он лишился шанса стать расколдованным — и превратился в чудовище, уже совсем не сказочное.

Отцу Димона повезло больше — его сказка оказалась со счастливым концом: женившись на достаточно образованной и очень привлекательной девушке-блондинке с именем из Вертинского — Ирэна (помните: «Я безумно боюсь золотистого плена»?) и фамилией Белкис, вроде иностранной, но так приятно и по-домашнему напоминающей о пушистохвостом и любимом всеми обитателе русских лесов, отец моего мужа из простого некрасивого рабочего парня, вкалывавшего в ремонтных мастерских (параллель с мастерскими школы тут же проступает из-под воды памяти), превратился в известного писателя, который постепенно полностью стер личность супруги, сделав ее собственной тенью, душечкой, которая после его смерти не знала, как распорядиться своей бесплотностью, к кому определить ее в качестве тени, но в результате просто вскоре умерла.

Я любила ее тихую жизнь, тихий шаг, тихий голос. И часто вспоминаю «об этой жизни маленькой и строгой, о глубине колодезной воды». Лишенная матери, я нашла в ней недостающее: легкую, чуть холодноватую заботу и едва заметную родственную улыбку.

Как-то она сказала мне: после смерти отца он не притронулся к бумаге, ничего не писал, а женившись на тебе — снова начал. Она не смогла выразить иначе то, что хотела объяснить, но я поняла подтекст: в сыне как

бы не было самостоятельной художественной плоти. Он тоже был тенью: дух писателя Сапожникова, точно умело водруженная художником в центр его натюрморта настольная лампа, породил не одну тень, а сразу две. Но Димон, как бы проходя не свой путь, а путь отца, одновременно выступал и его главным соперником: так в спорте молодой и начинающий спортсмен порой сливается с образом старого чемпиона, чтобы на главной Олимпиаде своей жизни победить его.

Порой мне даже казалось, что Димон не просто подражателен в силу своего характера, но вторичен изначально по отцовскому замыслу: он как бы облаченный в материю слепок с его главных персонажей, взявший от каждого какую-то самую значимую для его отца черту, а потому, по сути, Димон просто вымысел, всего лишь идея сына — ставшая овеществленными рассуждениями Сапожникова о вечной проблеме «отцов и детей», всего лишь образ сына. Которого никогда не было.

И все годы нашей совместной жизни я была свидетельницей колоссальных усилий Димона по обретению им пусть небольшого, но своего дара: он мучительно продирался к нему через подражания, заимствования, и, возможно, ему удалось бы создать свой художественный мир, уже появились у него пустынные, но отмеченные каким-то незримым присутствием чего-то непознаваемого, экзистенциальной тоской небольшие рассказы, в которых оживали пейзажи тундры или тайги, но тут время повернуло к коммерции — и другая тяга моего мужа, идущая через мать от ее отца, сына купца второй гильдии, уничтожила в нем его стремление обрести свою художественную суть. Он стал писать... женские романы, скрываясь за женским псевдонимом — и так как бы выполняя живущее в пространстве родительского дома нереализованное желание своей матери: она не хотела мальчика, она хотела дочь.

Потому что второй скелет его родительской семьи был нетипичным: отец Ирэны бросил ее мать, удрав с младшей сестрой жены. Бабушка Димона и крохотная Ирэна испытали все муки — и душевные, и физические, и материальные. И девочка не простила мужчин. Всю жизнь она несла в себе *возмездие*.

Когда Димон предал меня, призрак его деда мелькнул и скрылся. И тут же тень Ирэны накрыла своего сына и повела его за собой...

— Если бы у меня родилась дочь, — как-то сказала мне Ирэна, — походила бы на тебя. Мальчики все плохие.

* * *

Наделенная огромной способностью любить, в холодноватой Ирэне я тоже угадывала затаенную, заглушенную страстность, похороненную глубоко внутри.

А ведь и я ради любви готова была на все. Из-за первой влюбленности — в мальчика с чайкой бровей — я нарушила слово, данное другому однокласснику, тихому, хорошему мальчику, приславшему мне длинное, почти взрослое любовное письмо, в конце которого он просил не показы-



вать письмо никому. Но, подхваченная водопадом чувства, я полетела вниз вместе с его бурлящим потоком — взяв письмо в школу, дала его прочитать тому, в кого была влюблена. Я хотела показать и доказать ему, что меня можно так сильно любить, ведь я не верила с предательства Дима первого ни в себя, ни в верность.

Уже вечером того же дня, мучимая стыдом и раскаянием, я дала себе зарок: никогда — никогда! — не нарушать данного слова — ни ради другого, ни ради себя. Мне было двенадцать лет.

А мальчишка со сросшимися бровями (будто застыла в полете чайка по имени Джонатан Ливингстон) не стоил и ломаного гроша: уже через год, в тринадцать лет, он гнусно хвалился своими сексуальными победами, предавая девочек, которые доверяли ему свои первые чувства. И добавляя такие подробности, от которых мне делалось дурно.

Бравидуя своим ранним эротическим опытом, он всегда победно глядел на меня. Ведь мы с ним так ни разу и не поцеловались. Но я уже не любила его. Стыд от нарушенного слова оказался сильнее влюбленности. Терзания из-за обиженного мальчика были мучительны. Больше никогда я так не поступала. Это был урок на всю жизнь.

А мой первый поцелуй случился поздно. Все заменили фантазии.

Но мощь своих чувств я почувствовала рано. Хотя, конечно, еще не понимала, что судьба приготовила для меня двойную охрану: бабушку, проклятия которой я просто смертельно боялась, ведь моя мама часто, как в бреду, твердила, что ее прокляла родная мать и потому она скоро погибнет, и второго надежного стража — *невозможность* быть любимой по-настоящему в силу предательской природы тех, с кем связана будет в силу обстоятельств и чувств моя судьба.

Меня предавали все, к кому я начинала испытывать хоть малейшее чувство. Все. Без исключения.

На первом курсе института я влюбилась в старшекурсника-блондина, писавшего стихи, и у нас с ним стал завязываться роман: я тоже нравилась ему. Но чертеж личной судьбы, показанный мне на экране души в раннем детстве, поспешил обрести материю: я заболела и с высокой температурой попала в больницу, и пишущий стихи блондин прислал мне записку, что больше мы с ним встречаться не будем... Меня утешали женщины из моей палаты. Какие твои годы, говорили они, ты ничем страшным не больна, ты уже почти совсем здорова, на следующей неделе тебя выпишывают, встретишь другого парня, хорошего, а не такого подлеца. Но я уже чувствовала: не встречу. *Хорошему* парню *ничто* обязательно перекроет дорогу ко мне, и все для того, чтобы я не повторила трагический зигзаг своей матери.

Предательство как знак судьбы вошло надо мной, и, куда бы я ни пошла, луч этого знака касался кончиков пальцев моих ног.

И только после письма деда Арсения я поняла, что и первое, а потому самое болезненное для меня предательство, и все последующие не были следствием случайности или произвола отдельных людей. Сама судьба намеренно подбирала для меня тех, чьи черты характера и врожденный невеликий потенциал нравственности только способствовали действию все той

же нашей родовой силы, которая должна была сделать меня *свободной* от любви — ради служения тому, что было главным в генетической матрице. Мне не разрешено было отклоняться от вектора, образованного и поддерживаемого иррациональной волей. А что будет в случае уклонения хоть на несколько шагов, я знала: стрелка рядом указывала на трагическую гибель моей собственной матери.

* * *

Как-то в порыве искренности Димон сам назвал себя спекулянтом. В пору нашей с ним окололирической дружбы он попытался загнать мне свой старый велосипед, запросив цену как за новый. Уже тогда я должна была насторожиться и предугадать, какой крах меня с ним ожидает.

Но то, что мы с Димоном поженились, никого из наших близких знакомых не удивило: о его вечной любви ко мне он с мазохистическим удовольствием трепал на каждом углу. Несмотря на двух предыдущих жен, с которыми он быстро расстался, потому что не было для него ничего более скучного, чем нормальная семейная жизнь, он воспринимался окружающими как вполне положительный жених, и не только потому, что был сыном известного отца, но главным образом из-за склонности к лицедейству: он играл роль честного, бескомпромиссного молодого человека — ну прямо герой старых пьес Виктора Розова! — и для окружающих, и для отца, создавшего именно такой сыновний образ. Но было у Димона и нечто абсолютно свое — сильная волевая пружина, которая иногда выбрасывала его внезапно из коробки, точно игрушечного чертика, — в тот самый момент, когда в коробке оставаться было по какой-либо причине опасно. А чаще пружина служила гипнотической актерской власти: благодаря ей Димон мог внушить человеку все что угодно, главное ему было самому в это поверить.

Правда, оповещая знакомых о великой любви ко мне, Димон обязательно добавлял, что на самом-то деле любить ее нельзя, потому что она *рыба*. И почему-то это обязательное замечание еще сильнее убеждало его приятелей в большой и настоящей любви Димона.

Рыбой в разговоре с сыном на интимные темы называл его отец свою жену Ирэну. Драма, в которой я должна была сыграть главную роль, имела фрейдистский подтекст.

До женитьбы Димон мне часто звонил вечерами и читал эротические отрывки или из книг, или собственного сочинения. Я слушала, трубка запотевала, а Димон читал и читал; позднее он признался, что так готовил меня к преодолению платонического барьера. Ну, это я так деликатно выразилась, он-то сказал проще: тебя, дуру, я так готовил к сексу.

Мне пришлось ему рассказать, что мой первый муж, художник с наружностью Делона, в отличие от прототипа оказался субъектом с нетрадиционной ориентацией. Это Димону понравилось, он даже попытался узнать у меня подробности наших интимных отношений с бывшим мужем и, когда услышал, что не было ничего, кроме поцелуев, стал возбужден-

но рассказывать, как, будучи студентом еще технического вуза, поехал в каникулы в деревню на рыбалку с Галкой, которая была страстной рыбачкой. Вечером к ним пришел учитель физкультуры из местной школы, Галка куда-то вышла, а физрук вдруг обнял Димона и поцеловал в губы.

— Аж дрожь тогда прошибла, — добавил Димон.

И я поняла, что ему кажется привлекательным все необычное.

Он заезжал за мной на машине, если я просила куда-нибудь меня отвезти, но обычно мы болтались по околгородским шоссе без всякой цели, просто ради самой дороги: я любила смотреть и на стрелы дождя, нападающие на стекла машины и стекающие благодаря дружным усатым «дворникам», и на стелюющуюся по шоссе зимнюю поземку. А осенью было вообще кататься волшебю! Лес, этот бунинский расписной терем, был так красив, что можно было подолгу ехать молча, впитывая в себя красоту мира...

Как-то раз он свернул с шоссе на проселочную дорогу...

Как раз стоял чудный сентябрь.

Машина была красной — и здорово гармонировала с красно-желто-зеленой листвой.

* * *

Вообще, легковушки у него менялись каждые полгода — и подозрительная старуха соседка с первого этажа нашего подъезда как-то заметила, прищурившись: была вот еще недавно синяя машина, а сегодня твой жених на желтой. Год, оставшийся в памяти страшным скачком цен и ветром налетевшей свободы, не коснулся представлений старухи о допустимом количестве машин у положительного гражданина страны — только одна! — и, возможно, она бы сигнализировала о факте куда следует, если бы не моя случайная реплика, что машины эти не Димона, а его отца. Имя писателя Сапожникова было на слуху, и в силу большой известности ему многое разрешалось. Писатели еще массово считались уважаемыми людьми.

Инцидент был исчерпан. Старуха забралась обратно в свою нору.

Я не затаила на нее зла в силу абсолютной беззлобности своей натуры. И обиды не затаила тоже, хотя от природы обидчива: эта старуха однажды спасла меня от мучительной роли невольного свидетеля преступления.

И тогда тоже стоял чудный сентябрь. Иногда в нашем подъезде кто-то открывал вторую дверь, ведущую не во двор, закрытый со всех сторон домами, а в старый сад, соседствующий с кирпичным одноэтажным домом еще одной старухи, дочь которой, нимфоманка-алкоголичка, была всегда в бегах, и горбатая ее мать растила трех внушек. Про нее поговаривали, что она перепродает краденые вещи.

В центре сада белел мертвый фонтан: дом в сороковых годах прошлого века относился к какому-то крупному государственному ведомству, и время в саду точно остановилось.

Я только успела выйти из подъезда в сад, как меня окликнула из окна первого этажа блюстительница автомобильных законов и попросила зайти к ней на минутку. Я удивилась. Никогда никто из взрослых обитателей на-

шего подъезда не зазывал меня к себе домой. Но отказать было неудобно и я зашла. Квартиру не помню — что-то салатное, геометрически правильное — помню запах: старуха приготовила краску для волос и попросила меня окрасить ей волосы на затылке.

Ненавидящая прикасаться к чужим людям, более того, избегающая прикосновений даже к своей родной бабушке, я все-таки не отказалась — но проделала все с молниеносной скоростью. И поскорее ретировалась. Сад был полон милиции. За эти десять минут, что я потратила на превращение седых старушечьих прядей в ярко-блондинистые, в нашем саду успели застрелить молодого мужчину: подъехала черная машина, из нее выскочили пять человек, несколькими выстрелами уложили на месте одного, и уже вчетвером быстро заскочили обратно в машину и умчались. На убитом были темно-синие брюки и белая рубашка.

Рядом с милиционером стояла горбатая старуха из кирпичного дома — то ли свидетельствовала, то ли подозревалась в причастности... Вскоре она умерла, внучки ее разлетелись по свету; одна из них, младшая, краем рукава задела меня: парень, бросивший меня, попавшую в больницу, на ней женился.

А дом, закрытый со всех сторон высокой оградой, в начале нашего века стал офисом какой-то фирмы.

Красное на белом до сих пор пугает меня.

* * *

— Заскочим на минутку на дачу, — сказал Димон.

Листья, вспыхнув, взлетали и гасли. Красная машина легко летела по совершенно пустому шоссе. Димон свернул с главной автострады на малоизвестную, параллельную ей дорогу, которую с двух сторон обступал лес.

Мы с Димоном молчали. Он включил музыку, а мне вспоминалось одно старое стихотворение: сквозь лес летит красный мотоциклист и поджигает лето. И гаснут, гаснут, на миг вспыхнув, глупые бабочки, столкнувшись в темноте с его светящимся стеклом...

Дача была старой, даже не огороженной. Только разросшаяся смородина ограждал участок, довольно большой, но совершенно неухоженный. И вокруг дома красиво, как бравые гусары, стояли еще не увядшие гладиолусы.

— Отец не любил дачу, — сказал Димон. — А для матери это все. Но сил у нее хватает теперь только на цветы. Даже ее любимая облепиха пока не собрана.

— Давай соберем.

— Я ей передам — если согласится, приедем специально... — Мое предложение воспринял он достаточно вяло.

— А что, может не согласиться?

— Может. Она ревнучая. Облепиха — ее фетиш.

В холодильнике оказалось шампанское. И после двух бокалов Димон резко попытался перевести отношения из платонических в эротические.

— Я что, тебе зря по вечерам читал «Камасутру» и прочую учебную литературу?! — шутя, но с долей раздражения от моей несговорчивости произнес он, прекратив попытки стянуть с меня свитер: горлышко его было таким узким, что я сама с трудом натягивала его через голову.

Мне как-то сразу стало ясно, что и шампанское в дачном доме, и чисто убранная постель с букетиком полевых цветов на тумбочке рядом, и оказавшаяся в холодильнике еда были частью вполне продуманного плана, а не случайными удачными деталями, однако Димон солгал, что вот как удивительно, случайно завалились, а в домишке все есть, даже его любимая колбаса, финский сервелат, все так хорошо, значит, приехала мать.

— Э-эх, — сокрушался он, — я ведь сразу знал, что ты рыба!

* * *

Лгал он мне потом всегда. В этой фразе ударение не на местоимении «мне», а на психологически непробиваемом слове «всегда». Димон просто любил лгать. Любил изменять. Любил обманывать. Я же спекулянт, в редкие минуты честности снова повторял он, во всем спекулянт.

Когда после двенадцати лет брака он поселился в отремонтированном деревенском доме на Оке и я сказала, что разрешаю ему и свободу сексуальную, ведь без романов и романчиков он просто не сможет писать свои рассказы, мои слова вызвали у него сильный протест. Он принялся убеждать меня, что никогда мне не изменял и не изменит.

Разрешенная свобода была ему не нужна.

И, посчитав, что убедил меня в своей верности, он начал перебирать аппетитных пейзажков.

Ложь и обман были не только его допингом, но и одним из самых сильных психологических удовольствий. Однако, воспитанный в духе советского пионерского кодекса, намертво связавшегося у него с непоколебимым авторитетом отца, он в основу жизни вынужденно положил ложь фундаментальную, о которой я уже рассказала, но повторю: для отца, умершего за два месяца до нашего с Димоном бракосочетания, он, точно соответствуя образу, отцом и созданному, упорно играл роль кристально честного, неуживчивого, принципиального молодого журналиста, исключительно из-за своей честности не способного удержаться ни на одном месте работы и вынужденного жить одноразовыми гонорарами, чтобы прокормиться, а на все остальное занимая деньги у отца. Образ требовал овеществления, роль — подтверждения. И Димон, и в самом деле, то конфликтовал с редактором очередной газеты, то, во дни отпуска начальства, публиковал что-то эпатажное. Вернувшись, редактор или его зам, конечно, Димона увольняли. Когда рухнет, наконец, весь этот советский идиотизм, кричал уволенный Димон, дискутируя с моей бабушкой, которая занимала позицию дипломатическую, но лояльную по отношению к протесту против власти моего приятеля. Димон ей нравился. Мой высокий рост казался бабушке недостатком, сама она была ниже Димона и

воспринимала его как молодого красивого мужчину. А мне он казался то Маленьким Муком, то Коньком-горбунком, то добрым клоуном... Я любила, словно четки, перебирать возникающие образы: на него легко было проецировать разное, ведь, по сути, он был лицедеем, и я всегда жалела, что он не выбрал театр или кино, а стал журналистом и писателем.

Вскоре СССР рухнул, и Димон стал яростно ругать новый строй и новую власть. Он всегда был *против*. Неважно — кого или чего. Главное — само направление вектора. Все, синекура кончилась, теперь орал он, раньше займу денег у бати на машину, куплю очередную в Москве, некоторое время езжу на ней, а потом перегоню во Владивосток или в другой далекий город и там продам. На разницу между суммами купли-продажи неплохо существовал с полгода, а долг, как неизменный пятак, возвращался отцу. А теперь все! Батя нищий! Материны сбережения обесценились! Я уже индивидуальное предприятие зарегистрировал — придется начать торговать!

К слову замечу, что отец Димона писал кроме другой прозы еще и детективы, в которых разоблачал и осуждал советских подпольных спекулянтов. Слава его была связана именно с детективным жанром.

Родительская семья твоя, Димон, всегда жила двойной моралью, как-то заметила я, провозглашением советского идейного бессребреничества и восхищением прадедом, богатым купцом, который торговал всем чем мог — от швейных машинок до шкурок кроликов...

— Все так жили! — огрызнулся Димон.

Менее всего двойной морали была подвержена сама Ирэна: она никогда не декларировала свои «советские взгляды» и не скрывала вполне обычного, обывательского уважения к богатству. Она показывала мне фотографии своего отца, купеческого сына, и рассказывала, на какую страшную нищую жизнь обрекла ее мать и ее, девочку, его коварная измена.

* * *

Революция 1917 года прошла по всей семье Белкисов: две сестры бабушки Ирэны стали проститутками в Шанхае, брат бабушки погиб, будучи призван в белую армию. Еще один дядя Ирэны пропал без вести в ту же Гражданскую; Ирэна всю жизнь верила, что он жив, и ждала, что, скончавшись в какой-нибудь Аргентине, именно он — именно ей! — оставит завещание. Наследство было второй ее идеей фикс, после облепихи.

Оба этих слова — «облепиха» и «наследство» — Ирэна произносила тихо, но с настоящим трепетом — это было очень заметно, как волны от моторной лодки на совершенно гладком озере. Слово «наследство» звучит для моей матери поэтичней, чем «Я вас любил» Александра Сергеевича Пушкина, однажды пошутил Димон, это отец — обличитель пороков богатых людей, мать бы не отказалась от дорогих ковров, шуб и украшений — но батя против всего этого.

Однако старик Сапожников любил рассказать, как бы шутя, когда единственный раз в году, на его день рождения, собирались гости, о со-

кровенных ожиданиях своей супруги, ждущей подарка от пропавшего в Гражданскую войну старого богатого дяди, тут же вспомнив знаменитую песенку про тетю из Фингалии Галича, о котором кто-нибудь из старинных приятелей дома сразу говорил что-нибудь нелицеприятное. Как я понимала — на всякий случай, Россия все-таки, кто знает, чего ждать? Сапожников пропускал реплику о Галиче как бы мимо ушей. Программа дней рождения из года в год почти не менялась. Когда Сапожников умер, оставшиеся в живых старики, собравшиеся на сороковой день, чтобы почтить его память, говорили почти то же, что при нем, хвалили его книги, вспоминали знаменитую песню на его стихи, обсуждали фильм с его участием.

И вдруг Димон, опорожнив очередную рюмку, произнес фразу, изумившую всех, и в первую очередь меня.

— Когда помру, за мое наследство будет борьба... А вот батя мой писал книги — и другого наследства не оставил, так-то, мать. И дядька твой так тебя и не нашел.

— Э-эх, — тихо сказал старый критик Рабинович, издавший о творчестве писателя Сапожникова крохотную брошюрку, — тебе еще рано о смерти думать... Но, как понимаю, ты в бизнес норовишь уйти, так, что ли? Сейчас модно стало торговать.

— Да выпил он слишком, — совершенно спокойно объяснила Ирэна. — Я внучка купца второй гильдии. Есть в кого.

В стране уже появились первые официальные миллионеры, а депутаты стали покупать себе дворянство и даже титулы. И многих охватил интерес к собственной генеалогии. Но старик Сапожников так и умер крестьянским сыном. Развал социализма не подтолкнул его к поиску иных предков. Генеалогией семьи Сапожниковых-Белкисов занялась я, когда родилась дочь — Арина.

На самом деле предки Сапожникова были потомственными бийскими казаками. Я нашла в сохранившихся списках казаков бийской линии даже его прадеда. Но простые казаки часто сами крестьянствовали, и то, что для советской власти Сапожников выбрал только хозяйственную часть биографии предков, вполне объяснимо и простительно. Но мне нравилась честность Ирэны. И все-таки не вызывала уважения подчеркнуто советская позиция ее мужа. Я чувствовала внутри прочной скорлупы его убеждений отсутствие орехового ядра — компромисс всегда полый изнутри, а я была еще очень молода, чтобы простить старика, пропустив его жизнь, как поезд, через страшный туннель российского XX века. И старик Сапожников улавливал не сильно приятное мое к нему отношение и платил мне тем же.

К тому же я в одну из первых встреч обыграла его в шахматы.

* * *

Иногда я сама звонила Димону, чаще — он.

— Привет! Покататься не хочешь?

Я любила поездки с ним. Обычно, выехав из мегаполиса, мы совершенно бесцельно мчались по какому-нибудь шоссе, иногда разговаривая в пути, а порой и молча. Молчание не было для нас тягостным. Иногда он

напевал: не имея ни слуха, ни голоса, петь при мне он совершенно не стеснялся. Он вообще был лишен застенчивости — не только потому, что был сыном известного отца, но и от рождения. Если я в детстве пряталась от навязчивых взрослых гостей в шкаф, а в первом классе на новогоднем празднике от робости таким тихим шепотом прочитала стихи про елку, что никто ни одной строки не услышал, то Димон был моей полной противоположностью: его актерская сущность требовала внимания к себе и бездонную бочку сильнейшей потребности быть на виду заполнить было практически невозможно — Димону хотелось еще и еще.

У него имелся единственный комплекс — невысокий рост. Каблуки мне пришлось забыть, и, когда мы поженились, я стала сильно сутулиться. На одной фотографии, где Димон стоит рядом со мной, я сгорбилась так, что оказалась ниже Димона. Впереди нас стоит на фото двухлетняя Аришка: ребенок с длинными ресницами и крупным ртом, унаследованным от меня.

Но если маленький рост в ранней юности мучил его, потом, наоборот, он стал придавать ему азарта в достижении той или иной цели, а не сковывал, как сковывала меня моя робость и неуверенность в себе.

Социальные маркеры, престиж и достаток семьи очень много значили для Димона, хотя он всегда яростно декларировал обратное. Главным социальным маркером был статус отца, главным материальным — квартира и то, что в ней. А мой отец давно жил отдельно с женщиной, которая не хотела стать для меня ни матерью, ни даже мачехой. Я была всего лишь внучкой бабушки-пенсионерки. Правда, мою бабушку многие знали: ее известность как журналиста превысила ее рабочий стаж; поздравить старую даму, порой выпивающую рюмку коньяка и выкуривающую сигарету, приезжали ее ученики, звезды-репортеры и два известных писателя, один из которых называл ее своей крестной матерью в литературе: она первой заметила его дарование. Но для Димона, обитающего в трехкомнатной квартире в центре, сама наша крохотная двухкомнатная квартирка в доме полубарачного типа казалась позорной и убогой, а отсутствие отца делало меня в его глазах социально горбатой.

Но не меньшую ценность для Димона имели три другие составляющие: родословная, талант и красота. Это шло от семейной мифологии. Больше от Ирэны. Его двоюродный дед, дядя отца, XX век встретил прапорщиком и, если бы не революция, сделал бы неплохую офицерскую карьеру, да и дед матери, купец второй гильдии, в их советской семье тоже занимал почетное виртуальное место, правда, для посторонних его до конца восьмидесятых прятали за шторку. Ирэна считалась красавицей, а отец обладал литературным даром. Вот и все точки, на которых держалось полотно Димоновых пристрастий: статус (отец), родословная (предки), богатство (прадед-купец), красота (мать), талант (отец).

В подтексте оставалась повышенная чувствительность матери (запахи она улавливала с какой-то экстрасенсорной чуткостью), ее холодность как женщины и темный момент в юности отца, о котором Димон только раз проговорился, и то не очень уверенно, скорее просто задал вопрос — было ли? — вроде отец в молодости, только сев за руль, сбил на дороге девочку лет десяти и уехал, не остановившись. Его не нашли. Было это или при-



думалось самим же Сапожниковым и, не вставленное в очередной рассказ, осталось в пространстве дома — и постепенно для сына, услышавшего рассказ о несчастной девочке еще ребенком, стало обрастать оболочкой правды? Не знаю. Важно то, что Димон предполагал, что его отец мог совершить такой поступок. Я мало знала Сапожникова, но, приглядываясь к старику, сделала собственный вывод: поступить так он все-таки не мог. «Не мог?» — переспросил Димон, и я увидела: мое мнение его обрадовало — рассказ про девочку, оставленную лежать на пустом шоссе, его тяготил.

* * *

Летом Димона обычно в городе не было: он устраивался на сезонную работу, чтобы написать для журнала большой очерк — о нефтяниках, геодезистах или строителях. Это примиряло его родителей с отсутствием у сына постоянного места службы и стабильного заработка. Но даже как сезонник он больше двух месяцев нигде не выдерживал. Очерки, то есть «писательство», оправдывали для родителей его спекуляции машинами. Отец называл это «вынужденной мерой» и часто друзьям жаловался, не без нотки гордости разумеется, на честность и как следствие — неуживчивость сына. Ирэна, когда-то оказавшаяся выигрышным билетом простого, некрасивого, но незаурядного парня, давно только повторяла слова и жесты мужа и всегда казалась мне светлой его тенью, тихо ступающей по чистому дому. Была она прекрасной хозяйкой и кулинаршей, но слишком экономной: даже в период их материального благополучия (конечно, по советским меркам) оставшиеся суповые кусочки картофеля старательно вылавливала ложкой с дырочками и, размяв со специями, добавляла полученное пюре в мясной фарш, чтобы приготовить из него картофельные зразы. Сметану в их доме вообще есть было опасно: она могла стоять неделями, а после быть добавленной к борщу. Но сок из собственной садовой облепихи получался у нее наивкуснейшим. Я пила его на семейных днях рождения с огромным удовольствием; сейчас бы шустро объяснили на каком-нибудь сетевом форуме, что мне просто тогда не хватало витаминов.

Осенью вдоль шоссе, медленно покруживаясь, тихо падали и ложились на землю листья, и, когда проносилась наша машина, самые близкие к шоссе вспархивали вновь и вновь оседали; тихие жалобные вздохи листвы заглушал ход машины.

А зимой я любила смотреть на вьющуюся по заснеженному шоссе белую кружевную шаль метели. Любила, когда заметает шоссе снег и сквозь все сгущающуюся пелену смутно светят огоньки тянущихся вдоль дороги домов... Зачем, почему мы должны были промчаться мимо этих чужих жизней, которые пролетят незримо для нас?.. Кончался девяносто третий год, мне было чуть больше двадцати. Я увлекалась буддизмом. И светлячки чужих судеб стали казаться мне просто напоминаниями о прошлых жизнях: возможно, мы были знакомы с обитателями этих домишек, утонувших сейчас в метельной мгле...

Димон тоже любил дорогу. И машину водил виртуозно. Правда, иногда... задремывал за рулем! Разумеется, с последствиями. Но, защищенный

мистической уверенностью, что с ним на дороге ничего не случится, попадая в легкие и тяжелые аварии, Димон чудом оставался не просто живым, но даже без травм, даже без единого синяка! Объяснял свою везучесть на дорогах он видением: возвращаясь зимним вечером десятилетним мальчиком из музыкальной школы, он внезапно, подняв голову, заметил, что его гигантская тень с папкой в руках шествует над ним по сизым облакам. В какой-то из книг он вычитал позже, что увидевший в небе свою тень скончается в своей постели в глубокой старости. Но я своим характером сократил свою жизнь на несколько десятилетий, говорил Димон с горечью, мать рассказывает, характер у меня в ее деда. Я и в животе ее толкался и пихался, она еле выдерживала. А когда родился, так стремительно выскочил, что упал в таз и сломал ключицу...

— У новорожденных еще все мягкое, — удивлялась я.

Не знаю. Но ключицу мне загипсовали, отчего рука одна торчала в сторону, точно крыло. И нянька, когда приносила ей меня кормить, говорила: вот ваш однокрылый самолетик прилетел. Рост у меня оттого сократился: два позвонка погибли из-за гипса. Я был бы на десять сантиметров выше. Он досадливо морщил длинный нос. Мать же была химиком, работала во вредной лаборатории. Отец всегда шутил: я дитя полей, а ты дитя химии.

Аварии, в которые он попадал, Димон объяснял тоже мистически. То есть он признавал, что заснул за рулем, но само засыпание считал следствием причин гораздо более сложных и тонких, чем обычные физиологические. На моей памяти он попал в четыре аварии. Про первую он сказал так: пожадничал, слишком дорого продал предыдущую машину, вот и наказание — на ремонт этой все и ушло. Остальные три он объяснил моими обидами на него.

— Я наорал на тебя, когда уезжал, мы плохо расстались, а твое отчаянье — это что-то, оно такой силы, что может машину перевернуть. Вот я под Уфой и влип... Когда Серега подбежал и увидел, что машина всмятку, он был уверен, что и водителю каюк, а я без царапины даже, как-то голову просунул в открытое окно, сжался весь. Чудо, одним словом. Ящик белого сухого вина вез бате для дня рождения, все бутылки вдребезги, вся машина им пропахла... Меня стошнило, когда парни подняли капот.

Белое сухое вино он не пил больше никогда. Только красное.

* * *

Когда мы поженились, Димону приснилось, что он катится на санках вниз со снежной горы, но не один, а с подругой детства Галкой, метель, они еще дети, и он влюблен в нее, и, как в рассказе Чехова, его признание теряется то ли в метели, то ли в душе... Горка кончается, и они оказываются у большой реки.

Галка и жила у большой реки, уехав из города в деревню. Как шутил Димон, была первой в стране дауншифтингисткой. Когда Аришке исполнилось двенадцать и Димон стал большую часть времени проводить не в городе, а у большой реки — в отремонтированном доме (он называл его и двор усадьбой), я вспомнила его сон. Только реки оказались разными.

А жаль. Ведь Галка была — если распределять женщин его жизни по ролевым ячейкам — его половинкой. Без сомнения.

Первая жена стала его первой женщиной, вратами в Эрос, вторая — вратами в столицу и освобождением от комплекса роста. Третья, то есть я, — феей, превратившей его в удачника.

Но его половинкой была она — черноволосая танцовщица, на четверть цыганка, преподававшая в деревенской школе английский язык.

Каждую субботу и воскресенье Димон проводил у нее. Она была третий раз замужем. А ее сын в начале девяностых уехал в Калифорнию.

— Она мне первая показала грудь, — как-то признался Димон, — но секса у нас так и не было. Хотя сколько раз у нее ночевал — но она всегда была замужем и мне доставалось только быть свидетелем ее постельных сцен. Галка никогда меня не стеснялась. Ей даже доставляло удовольствие, когда мы были лет двадцати, рассказывать, как ей было хорошо со своим очередным.

Она истинно женским чутьем угадывала, что Димона, как всякого спекулянта, влечет только чужое, подумала я, то, что имеет ценность для других и чем хотелось бы овладеть.

— Мы с ней чуть не поженились, но у нее уже был трехлетний Женька, она гуляла по-черному, просто из постели в постель, и, когда ее родители (отец — режиссер, а мать — бывшая балерина) предложили нас поженить, мол, ведь видно, вы созданы друг для друга, — она отказалась. И я всю жизнь думал: все-таки почему? Почему она отказалась? И решил: Галка меня просто пожалела, не захотела сваливать на меня себя проблемную, и Женьку, и мать свою, которая в то время уже не вставала — отец ее верно и преданно за женой ухаживал, поразительный был человек... Галка — моя первая любовь.

— Она — твоя половинка, — сказала я тогда осenenно. — Вы так похожи. И она хотела, чтобы ты любил ее всю жизнь.

Я не стала добавлять, что Галка просто боялась: стань они мужем и женой, Димон бы поскуучнел, начал ей изменять. Но зря Галка этого опасалась: Димон ее бы все-таки не разлюбил, он бы вошел в роль ее отца, любившего ее мать всю жизнь, — и вот здесь таилась для Галки настоящая опасность, потому что мать в сорок лет стала лежачей больной, получив тяжелую травму во время репетиции балета «Щелкунчик», и, если бы проекция ее отца оказалась сильнее других, Димон бы и ее, Галку, сам того не желая, превратил в инвалида.

Личность его достраивалась с помощью чужих блоков, но пружину воли он имел железную.

— Может быть, все сексуальные связи и мужья Галки были только ее подсознательным способом убежать от судьбы матери? — спросила я Димона уже после смерти Галки. — А любила она только тебя?

— Я думаю, да. Но мать моя ее терпеть не могла. — Он помолчал. — Считала лживой. У нас в семье батя ввел культ честности. А Гала ведь была из тех, кого если попросить вымыть посуду, они как бы случайно забудут вымыть сковородку. Чтобы не возиться. Да и вообще Галка всегда

врала. Цыганская кровь! Я даже не уверен, что ее Женька от того мужика, который дал ему фамилию. Артистка! Обожала внимание к себе, оттого и развела хвост любовников. А я был у нее вечный. Потому она мной не сильно дорожила.

Димон ушел в соседнюю комнату и принес альбом. Я с интересом стала рассматривать фотографии: вот Димон в бархатном костюмчике, под воротничком бант, удлинённые локоны, длинные ресницы... Принц. Или...

— На девочку ты был сильно похож, — я улыбнулась, — на принцессу.

Я говорила ему это не раз, чувствуя, как ему приятно слышать, что он похож на очаровательную девочку.

— Потому я и выжил. Мать ненавидит мальчиков.

— А это — Галка?

— Да. Ей здесь семнадцать. Они только что вернулись из Египта, отец ее ставил там балет. Хорошенькая была — жуть! — Он запнулся о последнее слово. — Точнее, это она потом стала жуть какая страшная. Какая-то болезнь: лицо за несколько лет стало просто безобразным.

В его голосе послышались мне нотки тайного торжества. Программа возмездия, не реализованная Ирэной, перешла к нему, но сменила объект, на который была обращена.

— А тело сохранилось: тугая такая была, она ведь до самой смерти танцевала в деревенском клубе, учила танцам девочек.

— Да, на фото просто чудная!

— И всегда рой любовников вокруг. И я — как грустный верный клоун.

Так вот кто тебя превратил в клоуна, подумалось мне, твоя первая любовь. И вспомнила, что бабушка клоуном называла моего собственного отца.

* * *

Увидела я Галку впервые через полтора года после нашей с Димоним женитьбы: она ехала к сыну в Америку и два дня провела у нас, пока оформляла в Москве документы. Мы понравились друг другу: она мне — своей спокойной доброжелательностью и умом, я ей — скорее всего, тем, что признала ее женский приоритет — она почувствовала, что ей отведено место единственной любимой женщины Димона...

В ее смерти Димон винил себя. Потому что наделен был, пожалуй, самой привлекательной для меня чертой — совестью. Но власть совести над его жизнью была не сознательным нравственным ориентиром, а каким-то мистическим, внезапно проявляющимся самоистязанием — грозившим именно возмездием.

— Если бы Серега не разбился, не погиб, Галка бы жила и жила: он был ее опорой. А так осталась одна, нашла какого-то алкаша, все силы на него утратила, чтобы он завязал с алкоголем — и вот... Сердце стало подводить. Как еще в клубе танцевала, не понимаю. Мужественная была.

Третий муж Галки Сергей разбился, перегоняя из города в деревню старую японскую иномарку, которую Димон подарил им с Галкой.

— Он уехал, — Димон мрачно сморщил скульптурный лоб, — меня такая жадность обуяла. Жалко стало «короллы». И жадность моя была в



тот момент такой силы, что кошмар. Вот он и столкнулся на шоссе с грузовиком. — Димон, говоря, начал бегать по комнате: он никогда не мог усидеть на одном месте, если нервничал. — Он уехал, а я стал о них думать, Галке сразу всех ее мужиков припомнил, свои страдания, ее насмешки... В общем, это я виноват в его гибели. Совесть меня гложет, что я такой жлоб. Spина вот от этого, наверное, стала болеть — вчера час встать утром не мог. Я и на предприятии денег народу жалею. Тяну с зарплатой, пока они не взвоют.

Обладая очень быстрой реакцией, скорее всего доставшейся ему от предков — сибирских казаков, Димон одним из первых зарегистрировал и свое ИП — индивидуальное предприятие, и ООО. Но индивидуальное предприятие, кстати, так и осталось пустышкой. Когда родилась Аришка, у Димона не было ни работы, ни денег, но я внезапно получила в подарок от старой знакомой моей бабушки, вдовы члена-корреспондента — хирурга, срезавшего у пациентов горбы, старинное бриллиантовое кольцо, мы сдали его ювелиру за приличную сумму, и Димон, став директором своего ООО, начал бизнес.

* * *

Именно тогда он меня и попросил: сними с меня программу неудачника, ты сможешь. Надо заметить, что Димон и здесь был не до конца честен. В глубине души он не верил в рациональную психологическую помощь, он верил только в мистическую удачливость, которую видел во мне. И в самом деле, чем еще можно объяснить поступок отца, внезапно явившегося через двадцать лет и подарившего мне двухкомнатную квартиру в самом центре? Или свалившийся на меня ни с того ни с сего ювелирный антиквариат? Или внезапный звонок с предложением бесплатной персональной выставки? Я-то все объясняла иначе: в отце угадала чувство вины, все-таки мой отец был хорошим по душе человеком, а в старой подруге моей бабушки — надежду: если вдруг она не сможет ходить, будет кому за ней ухаживать. Ее подарок намекал, служил авансом... Но суеверный разум Димона бежал от таких трезвых трактовок. Даже признавая их как причины, он, заглядывая за них, предпочитал увидеть не пустоту, а магическую тень необъяснимого, в моем случае — необъяснимой удачливости. Которую Димон и решил прихватить. Но решил это сделать не привычным для него способом — простого захвата, а с помощью хитрого магического договора, о котором он сразу знал, что с его стороны это *обман*. Скрытая пружина обмана сводилась к следующему: я сама должна была отдать Димону свою удачу, как бы добровольно. Ведь я согласилась снять с него программу неудачника, а снять ее, полагал Димон, с помощью обычной психологии невозможно, можно только обменять: ты мне свою удачу, я тебе свою неудачливость, ну, еще можно удачу просто украсть. Но я, как *честный* спекулянт, предлагаю честный обмен, а значит, все компенсирую: то есть ты мне отдаешь свою удачу, а я тебе и Аришке создаю неплохую жизнь, но в остальном, увы, удача тебя покинет, поскольку перейдет ко мне. Так он рассуждал. В условиях распада, крошечных зарплат, которые не платили месяцами, такой обмен Димон считал хоть и обманом, но вполне справедливым. Правда, с некоторым оттенком дьявольщины: православные люди, к которым он,



не так давно крестившийся, стал относить себя, могут ведь получить удачу только с Божьей помощью, а не путем сомнительных парапсихологических сделок. Но я не увидела в сделке ничего опасного, надеясь просто вселить в Димона уверенность, вот и все. Однако, как ни странно, вскоре меня, и точно, постигла служебная неудача: галерея, где я работала, закрылась, и я попала в полную финансовую зависимость от едва оперившегося, только-только встающего на ноги нашего ООО. И это Димону доказало: обмен произошел.

* * *

Старик Сапожников всю жизнь придерживался кредо: искусство должно быть искусственным. Работал он, как я уже упоминала, в жанре приключенческой литературы, писал фантастику и детективы. Народ его книжки раскупал за два-три дня. В самом известном его романе, постоянно переиздаваемом, действовали геологи и, конечно, положительный герой был антистиляга, носил только штормовку и парусиновые штаны, а за плечами у него постоянно тяжелел старый рюкзак. Мне-то и сейчас нравятся такие люди: я дочь геофизика. И Димон во время нашего с ним знакомства так и одевался. Правда, штаны у него были какого-то странного клоунского цвета — темно-оранжевые.

Вступив со своим отцом в мифологическое соревнование с фрейдистским акцентом, Димон, однако, пошел не его путем, наоборот, он полностью отверг в собственном творчестве фантазию, провозгласив себя реалистом, даже не в литературоведческом смысле, а в журналистском: он считал своим долгом фиксировать реальные события и писать о знакомых людях неприятное.

Я-то понимала: его кредо носит самозащитный характер, Димон придумывать просто не умел. Но, буду справедливой, он умел думать, умел описывать — и очерки-рассказы, в которых он передавал собственные впечатления от путешествий (а Димон путешествовал много и часто) и свой собственный опыт, надо признать, получались у него интересными. Даже порой сквозь его косноязычие вдруг пробивались лучи поэзии.

Побродил Димон с рюкзаком и рваной палаткой по тайге, шагая, как человек осторожный, вдоль железнодорожного полотна, излазил тундру, Север, а всю Сибирь знал так, что мог бы составить путеводитель по ее малоизвестным местам...

Путешествуя, он как бы становился положительным героем из романа своего отца и даже говорил его словами, но с отцовскими интонациями. В такие моменты мне вновь казалось, что никакого Димона на самом деле нет, есть всего лишь мозаика из художественных персонажей, двух-трех образов предков и нескольких многократно уменьшенных отражений значительных фигур литературного мира. И всех людей, которые оказываются с Димоном рядом, он видит только через два окошка бинокля: первое — семейная мифология, второе — проекции; а с живыми людьми просто не взаимодействует — он улавливает их особенности, их черты, но, уловив не-

что ему близкое, проецирует на человека какой-то образ, тем самым попадая в чужую колею, которая может оказаться обычной прямой линией, а может разветвляться до очень сложного и запутанного лабиринта с Минотавром, скрывающимся где-то в самой его глубине.

В своих детективах отец Сапожников разоблачал спекулянтов и воюг. И через какое-то время я поняла, почему покупка сыном машины за одну цену и продажа ее за цену, превышающую первую, спекуляцией в семье не считались: это была как бы вынужденная мера — ради спасения писательского дара Димона, а в то, что сын талантлив, старик Сапожников верил свято. Не утратил он до конца своих дней веры и в абсолютную честность Димона. Даже когда узнал, что Димон стал предпринимателем. Впрочем, купец Белкис, дед Ирэны, тоже был для старика Сапожникова вполне положительной фигурой. Так отчего же, спросите вы, он разоблачал в книгах спекулянтов? Ответ на этот вопрос в истории, точнее, в том, что в данный момент истории обществом оценивается как положительное: до 1917 года купечество было вполне признанным, а при наличии капитала и меценатства — и уважаемым социальным слоем. Многие купцы становились почетными гражданами, занимались благотворительностью, состояли попечителями учебных заведений, а вот спекуляция в Советском Союзе подвергалась уголовному наказанию. И писатель Сапожников всегда был законопослушным. Димон же бунтовал, ругал коммунистов и продавшихся им писателей; бунт его носил характер инфантильный: именно отца с его советской идеологией необходимо было победить.

Все отцовские принципы Димон вывернул на изнаночную сторону: старик скрывал свое «я» за вымышленными персонажами — Димон вытаскивал из своей души и своего опыта все, что могло эпатировать читателя; старик отрицал власть сексуального, уничижительно в разговорах с сыном отзываясь о плевке-сперматозоиде, — Димон стал фрейдистом; старик всю свою жизнь любил только одну женщину — Ирэну, Димон желал — и не скрывал этого! — любить всех.

Было заметно и другое: старик Сапожников относился к славе, в общем-то, равнодушно, она сама нашла его и сама не оставляла в покое, часто даже досаждала. Писать, уединившись в своем кабинете, в котором мебель и книжные стеллажи были сделаны им самим, плотно закрыть все форточки, а после на принесенной в кабинет электроплитке самому себе сварить какой-нибудь травяной суп и снова писать — вот как жил отец Димона. Он не любил давать интервью, даже отказывался от участия в телепередачах... Это был замкнутый интроверт, декларировавший свое полное согласие с советской властью (которую Димон в яростных спорах с ним обличал) скорее не из уважения к существующей в данный момент власти, а ради сокрытия своего подлинного «я», которое проступало в подтексте его книг. Возможно, он прятал себя и от себя самого. Как многие. В сущности, старику Сапожникову было все равно, какое время на дворе и кто руководит страной — главное, чтобы он мог, натянув на бугристую голову свой старый берет (он не любил сверкать кактусоподобной лысиной), закрыться от всех, имея на обед всего лишь травяной суп, стакан чая и какой-нибудь

полузасохший бутерброд, и писать, иногда поднимая голову и вспоминая, что его любимая тень ходит сейчас по квартире или собирает на даче облепиху...

* * *

А Димон страстно мечтал о славе и однажды, решив теорему своей судьбы, — это его собственное выражение, — сделал вывод: судьба ему лично не даст ничего, но она разрешает ему *отнять*. Главное, не перейти предел, не отнимать столько, сколько *не позволяют*. Но за отнятое — тем, у кого отнято, — должно быть *уже* заплачено. Кто эти непозволяющие и разрешающие, Димон не уточнялось: они есть — и всё. Такой информации ему было вполне достаточно. А значит, можно было прихватить известность у отца, ведь тот уже заплатил за свою славу тяжелой болезнью.

Димон был не прост.

Бедный Димон.

* * *

— Мама, ты на Багза Банни похожа, — как-то сказала мне маленькая Аришка. — Па на тебя нападает, а ты грызешь морковку...

Дети часто прозорливее взрослых! Действительно, несмотря на то что Димон, как флюгер, менял свои убеждения одновременно со сменой направления ветра времени, главным оставался в них тот самый вечный протест, некая мощная пружина «наоборот»; часто она придавала ему энергии, но в конце концов, выстрелив внезапно, обрушила его, как коротышку пирата Сэма в потрясающе смешном фильме про кролика Багза Банни, который, проведя черту, хитро предупреждает Сэма: «Только не переступай!» — и, конечно, Сэм с криком: «А вот и переступлю!» — делает шаг и...

Но вот парадокс, который какое-то время занимал меня, любительницу психологических загадок: почему старик Сапожников, снаружи лояльный конформист, внутри был совершенно независимым фантастом, последователем Циолковского, а Димон — наоборот! — под маской нонконформиста скрывал свою полную зависимость от модных в обществе образов и стереотипов, а позднее от популярных брендов и рекламы? Когда в интеллигентской среде считалось престижным быть философом-сторожем, не желающим приспособливаться к советской системе, Димон был философом-сторожем — с православной иконой в красном углу каморки, с развалом книг от даосизма через Фрейда до Платона и обратно, с самостоятельно заштопанной дырой на единственных штанах и в той же штормовке, с тем же старым рюкзаком.

* * *

Правда, всегда с машиной.

Пусть с плохонькой, пусть со старым «москвичом» или даже «запорожцем» — кремовая такая и, кстати, нравящаяся мне машиненка была у него еще в 1994 году, когда новоиспеченные буржуи уже колесили на ино-

марках, а у индивидуального предпринимателя Димона все разваливалось и деньги обходили его стороной.

Потом она долго стояла и ржавела во дворе деревенского дома Галки, одно время на «запорожце» ездил ее муж Сергей, которого она спасла от депрессии, пригасив его гигантские амбиции и заменив их «натуральной философией» — то есть возведя для него в ценность жизнь на природе, в стороне от цивилизации, в стиле Генри Торо, которого дал ей почитать Димон.

— Галка одна не может, — говорил мне он, когда через полгода после гибели Сергея Галка приютила в качестве четвертого мужа нового мужика. — Нашла опять какого-то алкаша. Мало того что сам нарколог, а водку жрет ведрами, так еще и полугрузин, который по-грузински ни одного слова не знает. Где только она их берет? Как грибы. У нее на грибы просто какое-то фантастическое чутье: мы с ней корзины набираем, а один я возвращаюсь пустой. Правда, Галка и этого своего кавказского пленника уже от пьянства отучила, теперь он работает в больнице, в соседнем селе. Шустрая...

Я не ревновала Димона к Галке не из-за ее возраста (они были с Димоном ровесниками) и не из-за удаленности: она жила не в Подмоскowie, а в Н-ской области, куда Димон ездил каждые два месяца по делам предприятия, зарегистрированного в Москве, но организованного с помощью племянника критика Рабиновича на территории когда-то самого знаменитого зауральского завода, — все сырье там было значительно дешевле, чем в столице, и аренда помещения стоила, можно сказать, копейки. Я не ревновала Димона к Галке потому, что нельзя ревновать к пейзажу: Димон был вписан в Галкину жизнь, как дерево, вросшее корнями навечно именно в этот холм, и существовало, и шумело оно листвою именно на фоне этой дальней рощи. Менялись только облака и цвет неба; Димон, подверженный эмоциональным колебаниям, периодически начинал любимый пейзаж ненавидеть.

* * *

Передвигаться пешком он не любил и в пору нашего с ним знакомства: короткие ноги при крупной носатой голове делали его действительно похожим на клоуна, куртка-штормовка сидела косо, темно-рыжие штанины единственных брюк волочились по асфальту, он сам их подшивал, подшивка отрывалась, мешала ходьбе, и потому торопливый шаг был неровен, даже смешон. А за рулем он выглядел прекрасно: голова красивой, правильной лепки, точно потрудился выдающийся скульптор, вылепив породистый нос, великолепно очерченные надбровные дуги, крупные глаза в длинных темных ресницах (голубая мечта), а длинноватый рот — клоунский рот! — он прятал под усами и небрежной обильной небритостью...

За такого мужчину я и вышла замуж.

(Продолжение следует.)

Александр РУДЕНКО

КРАДЕННЫЕ КОНИ

Молочай

Юго-западный ветер колышет листы молочая,
за цыганской повозкой вихляется пес-инвалид.
То рывками, то плавно плывут облака, облачая
травяную равнину рваниною белых хламид.
Остро щелкает кнут. Льется песня, бездомно-тягуча, —
словно сердце простора щемит от Господних щедрот.
В белизне облаков набухает и ширится туча,
как рубаху цыгана темнит проступающий пот.
А над всем — не колеблясь, парят Неземные Палаты.
Но уходят ободья колес в молочай глубоко.
И трехногому псу из раздавленных стеблей под лапы,
незаметное издали, горько течет молоко.

* * *

Небо снизу почернится,
словно лодка от смол;
и, играя, вечерница
луч уронит на мол.

Вспыхнет месяц по-новому —
как фонарь бортовой;
мола доски дубовые
загудят под тобой.

Обернешься к вчерашнему
дню, где — страсть и галдеж;
длинным теням помашешь ты —
их с собой не возьмешь.



Все, что холодом веяло
и дышало теплом,
взглянет вслед, — как ты медленно
оттолкнешься веслом.

Вновь качнешься над безднами —
никому не судья,
оболочку телесную
не снимая с себя...

Чтоб — сливаясь с движением
волн... и блеском вдали,
дальше жить притяжением
то небес, то земли...

Краденые кони

Пахло розами, рекою... Майские жуки летали.
И соленые фисташки в летних будках продавали.

В городском саду темнело. Вдруг — на стриженном газоне
за каштановой аллеей, как мираж, явились кони...

Подошли мы... И с улыбкой в тишине оторопелой
ты смотрела, как бродили жеребцы — гнедой и белый.

Высоки и легконоги, тонкошерсты и игривы...
Раньше только в кинофильмах видел я такие гривы.

И следили за конями нежно-строгими глазами
двое пареньков цыганских с вышитыми поясами.

И поскольку цирк заезжий в городке давал гастроли,
«Это кони цирковые», — я подумал поневоле.

Ты барьер переступила, смело встала на газоне
и у паренька спросила: — Ваши кони?

— Наши кони!

— Поклонись-ка даме! — крикнул он гнедому.
И степенно
жеребец перед тобою стал на правое колено.

Выгнул чувственную шею и с развернутой бумажки —
на твоей ладони узкой — снял соленые фисташки...

А когда мы шли обратно и луна в ветвях плясала, —
«Это краденые кони!» — восхищенно ты сказала.

Я молчал, с тобой не споря, — занят мыслями своими...
Это краденые кони! И не могут быть иными.

Потому что, не рискуя, радости не добывают.
Потому что за бумажки тайнства не покупают.

И все думал, ощущая — тонко — дрожь твоей ладони:
наши поцелуи тоже — были — краденые кони...

* * *

Вслух тебе не скажу я ни слова любви —
изреченные, все они быстро сгорели,
слишком жарко пылая и ночи мои
согревая недолго в холодном апреле.

Угольками они остывали сперва,
а теперь, как абстрактные знаки и числа,
от души отделенные, эти слова
лишены аромата и прежнего смысла.

Но — с тобой, разделив тишину на двоих,
слиты мы на земле и в невидимой выси.
И лучистые кончики пальцев твоих
проникают в мои сокровенные мысли.

Я вдыхаю твоей немоты аромат.
И, сформованы за лето солнечной печью,
наши души и наши тела говорят
недоступной для слуха
межзвездною речью.



Песня

Снег могучий с неба черного...
Не засыплет как-нибудь!
Звездка-блестка, кукла чертова,
укажи цыгану путь.

Пусть он головой чубатую
меньше шапки дорожит —
выглянь, старая, щербатая...
Он тебе поворожит.

Выглянь, ложная — не ложная, —
на замотанной тропе
в зубы, как дареной лошади,
не заглянет он тебе...

Заблестишь почти как новая,
над плечом его скользя.
Звездка-блестка непутевая,
друг без дружки вам нельзя.

Покажись в морозной замети,
растопи на сердце лед.
Для тебя цыган по памяти
имя женское найдет.

* * *

Кривая береза, размокшее поле,
пролетных гусей косяки...
Россия, уроки любви в твоей школе
томительны и высоки.
Для этой ли боли твой пасынок создан:
узнать, как держать на земле
равнение на солнце, равнение на звезды,
на скрытое в облачной мгле...
Для этой ли воли — идти по разбитым
дорогам-путям за черту
и зла, и добра, не попомнив обиды,
но помня людей доброту.
Дышать и простором, и гарью тягучей,
и слушать сквозь сумрак слепой,

как ветер, гуляющий по свету, учит,
что мир не исчерпан тобой.
И думать над тайною жизненных сроков:
к тебе ли Господня рука
когда-то вернет в новой плоти — с уроков
сбежавшего ученика?..

* * *

Когда на берег темень упадет
и месяц, выглянув, исчезнет в тучах,
начнется над водой теней полет,
преображенных вдруг в мышей летучих.
Безмолвье перепонками разбив,
они кружатся рядом — плоть живая,
меж этим миром и иным
разрыв
своими силуэтами сшивая...
И в этот час в глаза глядят больней —
творясь из воздуха, воды и суши —
глаза
давно ли близких мне людей,
в своих телах не удержавших души.
Вот снова за костром дрожат в тени
прозрачные — мужчин и женщин — лица,
и потому что вижу их — они
не могут от земли освободиться.
Но, чуя тягу их в эфир планет,
не понимаю все ж в своей гордыне,
завидуют они мне или нет...
Прощают или не прощают ныне,
что дни любовью новой налиты
и темнота мне медом пахнет — с нею...
Что в сердце жажда воздуха, воды
и суши — памяти о них сильнее.
Что — глядя на крылатую игру
теней, к себе влекущих все суровей,
я дам сухого хвороста костру,
но им — не дам
моей напиться крови...

Вадим ВОЛОБУЕВ

СВЕЧА В НОЧИ

Р а с с к а з

Солнце растеклось по слюдяному окошку, как глазуня по скворчащей сковородке, заиграло искрами, замигало приветливо Нажировой вдове. Та прищурилась, заелозив в деревянном кресле, засопела, хмуро глядя на стоявшего перед ней тиуна* — полнотелого и румяного, с короткой рыжей бородой и крупным пористым носом.

Зацепив левой рукой узкий кожаный пояс с висящей на нем печатью, тиун держал в правой развернутую грамоту и докладывал:

— Телега хлеба, да восемь кулей муки, да пяток телег с говядиной и бараниной, да еще две телеги курей, да молока три бочки и квасу столько же, да овса куль, да пшена тоже куль, да гороху три десятка уборков, да солоду шесть десятков ведер... — Он поднял взгляд на вдову. — Все как всегда, матушка. Окромья меду... и воску. Злодеи борти унесли. Все подчистую. И межу нашу порубили...

Вдова сверкнула глазами, поднялась из кресла (резные подлокотники аж скрипнули). Гаркнула низким голосом:

— Нездилка, пес, опять мне гадит. Его людишки!

Зернь серебряных бус жемчужно переливалась на ее шее.

— След-то, небось, к ним ведет?

Тиун склонил голову, размышляя.

— Позволь, матушка, смердам потолковать с ними. Люди разобижены... Если дашь отмашку — намнут бока нездиловским, чтоб неповадно было красть.

— А ты к соседям ходил ли? Что говорят?

— Отпираются.

Боярыня, размахивая руками, принялась мерить шагами горницу — от глиняной бурой печи с узким шестком до окна и обратно.

— При Нажире так бы не посмели, — бормотала она, досадуя на свою вдовью долю. — Думают, отлетела душа — так уж и рвать можно? Выпоротки. Ну я им покажу, каково мне дорогу переходить. Градскому пожалуюсь, он им виру вкатит, чужеядам. — Она остановилась, рывкнула на тиуна: — Ну а ты куда смотрел? Будто и не знаешь, что у меня с Нездилой за ту межу спор идет. Сторожу бы спрятал, коли так.

* Словарь старинных слов и выражений см. в конце текста.

— Они ж смерды, а не вои, — спокойно ответил тот. — Их дело — пахать, а не биться. А на борти я велел твой знак поставить. Теперича, даже если стесали, след останется. Не отвертятся. — Он вздохнул. — А то скажи слово, и смерды им красного петуха пустят.

— Вот еще! Нам молиться надо, чтоб у Нездильды чего не погорело: я первая в виноватых буду. Ступай отсюда!

Тиун развернулся и направился к деревянной лестнице с поручнями, ведущей в поруб. Подошвы его черевий неожиданно легко для такого грузного человека ступали по дощатому, крашенному коричневым полу. А Нажириха отвернулась к окну и, опершись о подоконник, невидящим взором уставилась перед собой — бусы заскользили вниз-вверх по платью с ярко-розовой шелковой каймой, нашитой от ворота до подола.

«Все ж таки съездить надо, — подумала она. — Авось отступится».

Она спустилась вслед за тиуном, прикрикнула на повариху, хлопотавшую в стряпной:

— Гляди у меня! Опять пересолишь — выпорю.

Та застенчиво улыбнулась, смяла измазанными в саже ладонями подол. Рябая и толстая, с длинными сальными лохмами, повариха смахивала на располневшую русалку: такие же плавные движения и блестящее, точно водой омытое, лицо. Вся в печном дыму, она кашляла и моргала, смахивая слезы. За спиной ее на столе, торцом вделанном в стену, лежал выпотрошенный сом, а рядом — короткий нож, весь в крови. Под потолком, как солнце в пожарище, скудно мерцал масляный светильник.

Нажириха уверенно двинулась к едва заметной в дыму двери, огибая сгрудившиеся в углу котлы. Поднялась по деревянным ступенькам в сени, вышла во двор. Замерла на пороге, созерцая, как приехавшие из села холопы вместе с конюхом-торком Албычем разгружают с телег кули и бочки, как несут все это в амбары. Среди слуг крутился и старший сын Нажирихи Анисий, подросток тринадцати лет: ворочал мешки, таскал окорока, катил бочки.

Увидевши такое, вдова совсем взбеленилась. Рявкнула на отпрыска:

— Аниска, быстро сюда!

Тот остановился, глянул на нее, согнувшись под тяжестью тюка. В белобрысых вихрах его застряли опилки.

Тиун подступил к бояричу, протянул руки:

— Давай-ка приму, Анисий Нажирыч.

Мальчишка скинул ему тюк. Понурившись, зашаркал к матери.

Та взяла его за ухо, притянула к себе:

— Я тебе что говорила, неслух? Чтоб с рабами не якшался! Сколько раз повторять?

Тот молчал, не поднимая глаз.

— Иди в избу.

Дав сыну подзатыльник, она обратилась к тиуну:

— Нездила в селе нынче, а, Шульга?

— В селе, матушка.

— Съезжу поговорю с ним. Авось одумается.

— Воля твоя, боярыня, а только без толку это. — Тиун опустил тюк на истоптанную сухую траву. — Не проймешь ты его.

— Ты мне еще будешь указывать! Завтра с утра и повезешь.

Тиун кивнул и, подхватив тюк, понес его, пыхтя, в амбар.

Нажириха еще некоторое время стояла возле двери, наблюдая за работой холопов, затем, поджав толстые губы, вернулась в избу. Поднялась в горницу, заглянула в соседнюю клеть: Аниска уже сидела на стуле и, сгорбившись, читал вслух лежавшую на коленях книгу: «Сотвори Бог не аки человецы, зиждюще, или корабли творяще, или медницы, или златари, или поставы ткущеи, или усмаре, или козненицы, вещи ты собирающе, готовы образы творят, яко же им суть треба, а сосуды и сочива друг от друга воземлюще, имиже то творити».

Увидев мать, вскинул на нее пронзительные карие глаза.

— Сколько тебе долдонить, — покачала головой Нажириха, — не возись с челядью, срам это, урон семье. Довольно уже и того, что с сохой ходил. Хочешь, чтоб еще больше потешались над тобою? Отец тебя, бесполочь, не для того родил, чтоб ты его имя паскудил. Увижу еще раз — уши надеру, а на книжный сундук замок повешу. Совсем от этих книжек ум за разум зашел. Сидишь, носу не кажешь, истый монах. С мальцами бы поиграл. Прямо юродивый какой-то.

Сын молчал, только подрагивал кончик указательного пальца, лежащий на испещренной черными буквами странице.

— Тебе ведь жениться надо, а какая за такого пойдет? — продолжала Нажириха. — Того довольно, что хлебцы у попа печешь. И так вся улица смеется, мало тебе? И в кого ты такой уродился, не знаю. Братец-то вон и мечом деревянным машет, и на коне скачет — любо-дорого смотреть! А ты только над книжками своими корпишь да просвиры лепишь. А дальше-то что будет? Я ж не вечная, помру — тебе хозяйство перейдет. И как ты с ним управляться станешь? Скажут: что за господин такой, который вместе с холопами спину гнет? Название одно, а не господин. — Она погрозила ему кулаком и вдруг закричала: — В попы я тебя не пущу, так и знай!

Аниска опустил глаза, поежился. Нажириха же сообщила, успокоившись:

— Завтра в село наведаюсь. Вернусь дня через три.

И вышла.

Сын медленно закрыл тяжелую толстую книгу в кованом переплете, отложил ее на сундук и, пройдя к потемневшей от гари иконе Богородицы в медном окладе, висевшей в углу, преклонил колени и начал молиться.

Уезжая, Нажириха наставляла конюха:

— За сынами приглядывай! Спуску им не давай, особливо младшему. Если что с ними случится — ты в ответе. Заявится Неделька — гони ее в шею, стервозу. Все уже с ней говорено. Вторке много кун не давай: она удержу не знает. Как пойдет на рынок, выдай ей какие поплоче, с изьяном. От Некраски мед прячь! И ключи всегда держи при себе. А то знаю я его, пройдоху. Да на ночь, слышь, не забывай везде замки вешать. Ну, вроде всё. Кажись, ничего не забыла. О полотне, которое мне Серковна торговала, я помню — так ей и скажи. Пуцдай придержит его покуда. Ох, Перуне златоусый, ну с богом!

Расцеловала сыновей и забралась в возок. Тиун тронул поводья, упряжка выехала со двора и покатила, гроыхая, по ухабистой колее, тянувшейся вдоль высоких тынов и полуврытых в землю срубов, меж ворот с рассеченным на две половины солнцем и деревянных часовен с черными крестами на маковках.

Аниска же, проводив мать, угрюмо сказал Албычу:

— К отцу Иванку схожу. К обеду вернусь.

Торчин усмехнулся:

— И что тебя туда тянет, Анисий? Не пойму. Иного за ворот не заставишь, а ты по своей воле к нему бегаешь. Эвон пока тепло — играй в лапту да в горелки.

— Тебя не спросили, — буркнул Аниска и пошел к калитке.

Младший брат его, десятилетний Ждан, кинулся в избу и тут же вылетел оттуда с хлопучкой.

— Я — на Нежатин луг, — крикнул он конюху на бегу.

— Куда поскакал, пострел? Порты переодень. Порвешь ведь.

Но мальчишка не слушал — распахнул калитку и припустил за кем-то, крича:

— Иварка, погодь!

Анисий, выйдя на улицу, направился к Васильевской церкви, чей купол торчал над двускатными крышами как малиновый бутон волошанки над мелкотравьем.

Меж бревенчатых оград подростки гоняли набитый шерстью мяч. Увидев Аниску, бросили игру, окружили его, принялись задирать:

— Эй, святоша, зад не протри!

— Пойдем девок тискать, чернец!

— С нами-то срамно водиться, болдырю такому?

— Небось с бабами нить сучишь?

Аниска, сцепив зубы и выставив лоб, проталкивался сквозь ораву мальчишек, получая со всех сторон тычки. Напоследок кто-то наподдал ему под зад ногой, и озорники, посмеявшись, отстали.

Чернее тучи, Аниска дошагал до избы отца Иванко. Стукнув кольцом, отворил дверь.

— Здоровы ли хозяйева? — крикнул нарочито громко, вытирая подошвы о дерюжную тряпку, кинутую у порога.

Перед глазами все плыло, челюсть ходила ходуном от обиды. Кинув взгляд на икону Одигитрии в углу, с сопением перекрестился.

В сени вышел поп — нестарый, длинноволосый, в рясе и скуфье.

— Кого бог послал? Тебя, Анисий? Чтостряслось? Прямо лица нет. Ну проходи в светлицу.

Аниска прошел за попом, спустился по ступенькам в клеть и, еще раз перекрестившись, грянулся на скамью у окошка, затянутого рыбьим пузырем.

Заглянул в добрые, внимательные глаза священника, вспомнил, как в детстве развесив уши слушал его повести об Ионе и пророке Илье, о святом Георгии и царе Давыде. Ах, дивное время! Никаких сказов не надо было, дай только послушать о древних чудесах. А еще вспомнилось,

как читали они вместе часовник и Псалтырь и как отец Иванко наставлял его: «Знание всегда силу одолеет. Мечом-то всякий горазд махать, а вот попробуй-ка истину словом донести — в этом только и есть взаправдашняя сила».

Аниска сказал дрожащим голосом:

— Мать жизни не дает. Говорит, запрет книжки на замок.

— Это бесы в ней бушуют, — произнес отец Иванко.

— Бесы, — задумчиво повторил Аниска.

По городу ходила молва, что попы горазды изгонять злых духов. Иногда, не имея волхва под боком, просили попов, чтоб избавили от напасти. Те ходили по избам, кропили святой водой клетки. Аниске на миг подумалось, что и отец Иванко мог бы освободить душу матери от угнездившейся там нечисти, отворить ей врата рая. Но священник лишь кротко промолвил:

— Како Господь говорил: «Оставьте отца и мать и пойдите за Мною». Тяжек выбор, зато уж на том свете духовный подвиг зачтется.

Аниска грыз ноготь на большом пальце. Солнце палило сквозь белесый пузырь, играло зайчиками на поставцах и разукрашенной цветами печи.

— Она меня к градскому отвезть хочет, — пробурчал он. — Чтoб за воями брони возил.

— А ты чего ж?

— А я книжки хочу читать — о святых местах, о витязе Самсоне... С дьяволом хочу бороться. Бесов одолевать. Как ты хочешь быть!

Отец Иванко вздохнул. Радостно и страшно ему было за мальчишку. Видел: нельзя дать светильнику потухнуть. Если не окружить его сейчас опекой, сломает Аниску дедовский обычай, засосет. Но и боязно было: а ну как малец что-нибудь соделает с собой, а на него, попу, вину возведут? Владыка далеко, князь высоко, а соседи да старосты — они тут, рядом: учинят священнику спрос, и оправдывайся перед ними.

А еще донимало отца Иванко мстительное чувство. Рассуждал: коли не получилось наставить больших людей на путь истинный, хотя бы на делях отыграется. Спасет одного от адова пламени, а там, глядишь, и остальные подтянутся.

Туго жилось попу в порубежном городке. Хоть и велел князь Владимир Святославич шестьдесят лет назад всем креститься, народ в основном оставался темен, слово Христово усваивалось с трудом. Сильные люди ругались над церковным обрядом, жили с несколькими женами, ходили на поганые игрища. Поп для них был чужаком, словно заморский гость.

Сто раз успел проклясть судьбу отец Иванко, когда оказался в этом захолустье. В стольном граде Киеве слуги церкви наслаждались почетом, а здесь, рядом с Диким полем, поп был как пятое колесо в телеге. Одна польза от него — обучать юную поросль грамоте. Поп и обучал, при случае внушая ребятам страх Божий. Толку было мало: наслушавшись рассказов о бесовских прельщениях, дети вроде проникались умилением, но, вернувшись под родительский кров, отдавались тем же самым искусам.

Паства у отца Иванко была — несколько детей боярских да уличный староста. И вот Аниска еще — горел будто свеча в ночи. Поначалу, только

приехав сюда, священник хотел воздействовать на больших людей словом Христовым, заманивал их в церковь, говорил о благодати. Те слушали его с чванливым недоумением, отмахивались, а один боярин дал понюхать плеть:

— Чуешь, чем пахнет? Будешь меня жизни учить — выдеру и не посмотрю, что ты Божий человек.

С тех пор отец Иванко присмирел. На свое служение взирал с тихой обреченностью, надеясь, что случай вынесет его из этой трясины. Одна только и была отрада — Аниска. Тот смотрел попу в рот, на потеху всей улицы месил с ним просвиры и, вдохновленный житиями святых, порывался носить вериги. Глядя на него, отец Иванко утешался душевно.

Поколебавшись немного, произнес:

— Отца Андрея знаешь? Он при Спасской церкви подвизался. У него нынче гостят паломники, что идут в Святую землю. Потолкуй с ними, авось наставят тебя на стезю.

Аниска вскочил будто ужаленный. Паломники в Святую землю! Вот он — знак!

Он быстро приложился к поповской длани, воскликнул: «Знамение!» — и был таков.

Село у Нажирихи было вятичское — из тех вятичей, коих полонил князь Владимир, когда принуждал их к покорности. Памятуя, как отложились они при старшем брате его, Ярополке, переселил пленников на юг, чтобы уже не думали своевольничать. Было это в столь далекие времена, что не всякий и старик их застал. А все же говор остался тот же, вятичский, в нос: колыбу называли колембкой, пята пенткой, а мужа монжем. Окрестные жители поглядывали на них свысока — и как на чужаков, и как на холопов. Нажиру это сельцо досталась в кормление, когда сын покойного Владимира Ярослав перевел его, княжого человека, из киевского Василева в пограничный Курск — крепить оборону от злых печенегов. Своя вотчина Нажира обрадовала, но точило душу сомнение — вспомнит ли теперь о нем властитель, пируя в золотом тереме? Так и кончил Нажир свои дни, не дождавшись милости.

А как упокоился под курганом, спаленный прыщом горячим, тут же со всех сторон к его добру потянулись загребущие руки. Пуще всех лютовал владелец соседнего села Нездила, дружинник князя Мстислава Владимировича. Был он хозяином всей округи, покуда Ярослав после смерти брата, черниговского владельца, не поместил тут своих бояр — Нажира со товарищи. Отсель и пошла распря у Нажира с Нездилой. Придрался Нездила, что Нажир сломал его между ради своих бортей да вдобавок поставил верши там, где нездиловские холопы искони рыбу ловили. Нет бы пойти к тиуну с жалобой, так он вместо этого принялся захватывать нажировские пашни — говорил, что возвращает свое, неправдой отнятое.

Покуда жив был Нажир, еще как-то справлялись с нахрапистым соседом, а как умер, так житья совсем не стало. Нездиловские людишки распоясались, отгоняли нажировских коров и коз, ставили свои клейма на чужих лошадей, крали птицу. Теперь вот стащили борти. Как с такими совладать?

И все же, прежде чем искать защиты у градского, вдова решила потолковать с самим Нездилой. Не хотелось ей влезать в эту свару, да и не уверена она была, что ушлый Нездила не успел уже подмазать княжого наместника. Боялась, что при разборе и вотчину отымут, как потерявшую владельца, даром что по обычаю та перешла к сыновьям.

Все село — два десятка полуврытых в землю срубов с соломенными крышами. Выстроились в ряд над пологим склоном к реке. Никакой тебе дороги, одни тропки да засохшие в грязи колеи. А вокруг сплошь поля под стерней да переложные луга, и только на окоеме где-то — березовые и липовые рощицы.

Не успела Нажириха въехать в село, ее уже окружили смерды, загомонили, тряся бородами:

— Дальний луг весь повыкосили, а наших оттуда взашей, Зворыке нос своротили да горбуши поизломали... И между перенесли у Березовых ключей... Кашу, Лигуеву дочку, на купальском хороводе умыкнули — без выкупа!.. И борти вынесли — все как есть... Коров без пригляду выгнать нельзя — уведут...

Нажириха, стоя на приступочке возка, сверху вниз глядела на жалобщиков — загорелых до черноты, в грязных овечьих безрукавках и сорочках с вышивкой по краю рукавов, в лаптях и поношенных поршнях.

Тиун растолкал холопов:

— Боярыня знает о ваших невзгодах. Идите с миром!

Мужики начали расходиться. Остался один староста — жилистый лысоватый старичок с впалыми щеками. Клянясь (деревянные обереги на пояске так и стучали), сказал:

— Солнце послало нам тебя, матушка! Без тебя уж и не знаем, как жить дальше — хоть ложись да помирай.

— Ладно уж беду-то кликать, — проворчала Нажириха. — Завтра навещу злодея. Потолкую с ним по-соседски.

У старосты она и переночевала — не захотела идти в свою избу, пустую и неприбранную, полную клопов и пыли.

Утром же, помолившись святым угодникам и вынеся зерна душам предков, отправилась к Нездиде.

Тот жил в десяти поприщах от Нажирихи, посреди своего села, в хоромах, обнесенных тыном. Боярин держал угорских скакунов и охотничьих псов, разводил кречетов, раз в седмицу ездил промышлять волка и вепря в Чернихинский бор. От боярских забав звенела вся округа. Гроза окрестных владельцев, своих холопов он держал хотя и в строгости, но в довольстве. На комоедицы, Масленицу и Купалу выкатывал три бочки хмельного меда и сыта, лично угощал старосту укрухом хлеба. Однако и самодурства был не чужд: заставил всех холопов креститься, следил, чтобы сбирались на пасхальную и рождественскую службы в церквушку, которую построил своим коштом на окраине. Батюшку, присланного из Чернигова, приставил к дочерям обучать грамоте да сурово предостерег, чтобы не пил. Сеять велел только чечевицу, рожь и полбу, а пшеницу запретил, как нестойкую к морозам. И первым из местных бояр завел себе лодью, на которой и ходил по реке в Курск и обратно, смеясь над сухопутными тихоходами.

До поры чувствовал себя Нездила хозяином округи. Все перед ним пресмыкались, даже градской тиун ухо вострил, слушая боярина. Когда помер князь Мстислав Владимирович, переведший нездиловского отца из Тмутаракани в Курск, пришлось Нездилье потесниться, дать место Ярославовым боярам, которых князь спешно рассаживал по выморочным владениям брата. Да и градской теперь был новый, чужой. Этот хотя и выказывал уважение Нездилье, но слушал уже других людей.

Не сразу нашел к нему подход Нездила. Умасливал и так и этак, куда не прознал, что падок тиун на пряное сирийское вино, которое, как истинный скиф, пил в чистом виде, не разбавляя водой. Тут-то дело и заспорилось. Нездила послал весточку другому Мстиславу боярину, чей отец когда-то в Тмутаракани вел торг с греками. Боярин не отказал товарищу — свел его с купцами, возившими из Ромейского царства вино. Те взялись доставлять Нездилье заветный напиток в обмен на кречетов и воск, весьма ценный у греков.

После смерти Нажира, главного противника Нездилье, сразу задышалось легче. Теперь некому было грозить плетью нездиловским холопам и пировать с градским наместником. Пока Нажирова вдова приходила в себя, разбираясь с навалившимися заботами, Нездила втихаря начал кромсать ее вотчину, возвращая то, что было отобрано ловким прищельцем с благословения киевского князя.

К такому-то человеку и отправилась в гости Нажириха. Ехала — и сердце сжималось в тяжком предчувствии. Знала: придется лебезить и упрашивать. Иначе не смилостивится, проклятый. «Эх, Нажирушка, видел бы ты, каково супруге твоей приходится, — думала вдова, сокрушаясь. — Небось снова бы помер от сраму такого». И тут же утешалась: «Не ради себя стараюсь — ради сынов. Они повзрослеют, расквитаются за меня».

Еще издали, завидев разноцветного петуха на коньке Нездиловой храмины, ощутила сильное желание повернуть обратно. Но преодолела слабость, переборола — все ради сыновей, ради будущего рода. «Я помру — срам со мной похоронят, — думала, сжимая зубы. — Зато сыновья жить будут в своей вотчине, не станут изгоями и приживалами».

Проезжая мимо деревянной церкви с красным куполом, перекрестилась и на всякий случай поцеловала висевший на шее громовик.

За возком, лая, увязалась какая-то псина — будто нарочно хотела привлечь внимание к непрошеной гостье. Ехавший навстречу холоп с телегой сена не хотел уступать дорогу, пер навстречу, презирая чужаков, — Шульга взял чуть в сторону и протянул его поперек груди кнутом. Холоп заорал и, взмахнув руками, завалился навзничь. На рубахе его прочертилась темная полоса.

— Смотри, куда прешь! — рявкнул Шульга, проезжая.

У открытого колодца баба уронила тяжелую бадью — вода иссеребрила траву и листья подорожника, маслянисто пропитала край пыльной колени.

— Бакуню убили! Что ж вы делаете, вымески! Чтоб вам ослепнуть, буслаям! Чтоб вам сено потравили...

Не обращая внимания на крикунью, тиун вывернул к ярко-голубым воротам господских хором, крытым двускатной кровлей. Остановил лошадь, спрыгнув на вытоптанную голую землю, подошел к калитке и забарабил железным кольцом, сделанным в виде змея-самоглотателя. Нажириха тем временем перекрестилась на икону Николы-угодника, вделанную над створами, прямо под желтым резным Ярилой.

Калитка распахнулась, в проеме показался сонный детина в перетянутой кожаным ремнем короткой рубахе и портах, заткнутых в сапоги.

— Чего надо? — прогудел он, косясь на вопящую у колодца бабу.

— К кире Нездиле Позвиздычу, — важно ответил тиун, засовывая кнут за широкий пояс. — Передай: госпожа Мякуша, вдова по Нажиру Отяевичу, пожаловала.

Детина утопал, махнув кому-то рукой, и вскоре послышался звук отодвигаемого засова. Ворота медленно, без скрипа раскрылись.

Тиун, взяв лошадь под уздцы, завел ее во двор, помог хозяйке выбраться из возка. Та с неприязнью окинула взором богатые нездиловские палаты: с резными балясинами, широким гульбищем, с крашеными рамами слюдяных окон, нависающим над порубом высоким крыльцом, ведущим сразу в сени. «Прямо князь», — подумала Нажириха.

Огромная лохматая собака, привязанная цепью к конуре, угрюмо лежала носом к пустой миске и не спускала блестящих круглых глаз с приехавших. Позади нее, шагах в десяти, по огороженному плетнем птичнику ходила белокурая девка с толстой косою и сыпала курам просо. Откуда-то из-за угла слышалось дробное постукивание деревянного молотка.

Какая-то баба крикнула:

— Осовка, тащи сочиво, егоза!

Скоро на крыльце появился сам боярин Нездила Позвиздыч — длинный и тощий, как оглобля, с короткой черной бородашкой, излишне подчеркивающей впалые щеки, в белой расписной сорочке, подвязанной шелковым красным шнурком с кисточками, в широких коричневых портах с каймой и простых черных черевьях с загнутыми носками. Зыркнул сурово из-под жиденьких бровей на гостей.

— Перятка, лошадь в стойло и овса самого лучшего! Раба накормить. А боярыню прошу пожаловать ко мне.

Нажириха поднималась по лестнице — как Христос на Голгофу. Шла, а ноги будто тяжелели с каждой ступенькой, и стоял в ушах многоголосый вопль холопов, исстрадавшихся от нездиловских насилий. Головы не поднимала, смотрела на скрипучие крашеные ступени, чуя на себе торжествующий самодовольный взгляд Мстиславова боярина. «Не за себя стараюсь — за сынов», — твердила себе, поддерживая подол. Шнур от плаща впился в горло, словно хотел придушить хозяйку.

— Каково путь держала, соседушка? — поприветствовал ее Нездила. — Гостям всегда рад. Проходи, сделай милость.

— Поздорову ли будешь, Позвиздыч? — тяжело дыша, ответила на приветствие Нажириха, поднявшись на крыльцо.

— Твоими молитвами, кир Мякуша!

Они прошли через сени в светлицу. Хозяин сел возле длинного стола, накрытого убрусом с алой вышивкой, показал ладонью на лавку возле себя:

— Сделай милость, кир Мякуша, не побрезгуй нашей пищей.

— Благодарствую, Нездила Позвиздыч, да только ненадолго я к тебе. Заботы в город влекут.

— Ну хоть киселю отведай. Он у меня дюже добрый. Уж не обидь.

Нажириха вздохнула, обедев глазами клеть. Не того она ожидала, едучи к лютому ворогу. Готовилась к лаю и обидам, а тут глянь-ко — хозяин и сам рад угодить, будто не во вражде они, а в закадычной дружбе. «Улещивает, старый лис», — подумала она, с тоскливой завистью разглядывая изразцовую печь, медные светильники немецкой работы, кованые лари с жуковиными и цветастые рушники на подоконниках.

Стянув с головы платок, произнесла через силу:

— Ну, киселю, пожалуй, выпью. Твой кисель-то по всей округе слывет.

И тут же подосадовала на себя: отродясь ничего такого она о нездировском киселе не слыхала, само вырвалось.

В светлицу зашел сын Нездилы — щуплый мальчонка лет десяти.

С наследниками Нездилье не везло: хоть и жил сразу с четырьмя бабами (не будучи венчан ни с одной), из всего обильного потомства до зрелых лет пока дожили только девки. Двух из них боярин уже выдал замуж, еще двум подыскивал женихов. Единственного сына боярин баловал, в малолетстве дарил ему игрушечные кинжалы и полки деревянных всадников, мячи и костяные игральные шашки, а как отпрыск подрос, смастерил для него маленький челн. Холопы мальчишку ненавидели. Сызмальства привыкнув господствовать, он любое возражение полагал недопустимым своевољством. Несколько раз уже велел пороть провинившихся рабов, а иногда и сам лупил их то деревянным копьецом, то подвернувшейся под руку палкой. Нездила, наблюдая за этим, не мог нарадоваться на сына. «Истинный господин растет, — думал он. — Такой не пустит вотчину по ветру».

Малец остановился возле печи и уставился исподлобья на боярыню.

— Тут все батино и мое, — сообщил он. Подождал, пока Нажириха усвоит эту новость, и спросил: — Ты кто? Из бояр?

Нажириха, умилившись, открыла было рот, чтобы ответить, но Нездила опередил ее:

— Это, сынок, соседка наша, из Верхних Бродов. Помнишь боярина Нажира Отяевича? Вот это — жена его, а вернее сказать, вдова. К ней относись с почтением: ровня она тебе.

Баба аж зарумянилась от похвалы. Никогда она не была ровней Нездилье: покойный муж происходил из отроков, сиречь из младшей дружины — куда ему до Мстиславова вотчинника! Льстил ей боярин, отчаянно льстил. С чего бы?

— А сел у тебя сколько? — так же угрюмо полюбопытствовал у Нажирихи мальчишка. — Сколько у нас или меньше?

— Меньше, — с улыбкой ответила вдова.

— Тогда ты не ровня. Ты чернь! — заявил боярич, скривившись от презрения.

Отец хлопнул кулаком по столу:

— А ну, цыц! Мал еще такие словеса молвить. Иди погуляй пока.

Наследник, покраснев от обиды, ушел. Нездила развел руками:

— Чадо! Не сердчай, кир Мякуша. А то хочешь, выпорю сорванца?

Нажириха ухмыльнулась:

— А ежели соглашусь, и впрямь выпорешь?

— Отцом и матерью клянусь!

— Ладно уж клясться. Я к тебе для разговору приехала, Позвиздыч.

Надысь кто-то мои борти снял. Холопы пеняют на твоих. Вообще много на тебя жалуются. Говорят, утесняешь и насилия творишь. Разве ж это почестному? Не совестно со вдовой-то браниться?

Тот отшатнулся, захлопал невинно глазенками, поджал губы и медленно перевел взгляд в окно — оскорбился. Негоже было такие речи в чужой светлице вести, но Нажириха привыкла рубить сплеча, говорить без обиняков — такой уж создал Господь.

— Ежели и досталось кому из твоих, то за дело, — наконец произнес он. — Мои тоже от твоих стонут. Говорят, гонят их с Дальнего луга. А о том лугу у нас с Нажиром, упокой его душу, было условлено, что общий он, ничейный. Намедни верши все поизломали — кто? Твои небось. Больше-то некому. Да часть Заречного леса на подсеку извели, будто им деревни мало! А в тот лес на охоту не только мои холопы, а вся округа ходит. Воля твоя, а если они такое непотребство будут чинить, я эту подсеку потравлю. И все за меня встанут, даже Борицкая вервь! Вот тебе мое слово.

— Ладно уж приbedняться, будто тебе лесов мало! Почто межу у Березовых ключей перенес? Скажи, Позвиздыч! — Нажириха затрясла платком перед носом боярина.

— Та межа по кривде была поставлена. Я еще твоему мужу о том говорил. Он у меня кусок земли отнял, а мне что ж, молчать?

— Неправду молвишь. Межа по договору поставлена.

— И где же тот договор? — язвительно спросил Нездила. — В моей харатье написано, что межа в двух десятках сажений от ключей. А в твоей грамотке что?

— Не прихватила я нынче... — растерялась вдова. — Ты лучше скажи, где борти мои?

— А я почем знаю? Ежели сыщутся у моих холопов, верну все как есть. Ты на них, чай, клейма поставила?

— Да уж не без этого, — грустно ответила Нажириха, поняв, что ничего она от боярина не добьется.

— Вот и славно. А грамотку-то в следующий раз привези, кир Мякуша! Без нее какой разговор? Сличим, а ежели несогласие какое, к тиуну наведемся.

— Наведаемся, — проворчала Нажириха, поднимаясь.

— Что, никак уходишь уж? А кисель?

— Благодарствую, Нездила Позвиздыч. Нахлебалась твоего киселя от пуза. Уж не взыщи, поеду.

— Ох, голубушка, что ж так скоро? — захопотал Нездила, как всполенная насадка. — Прямо срамишь меня как хозяина. Что люди-то

скажут? Дескать, не попотчевал Нездила гостью, поспешил, или сама гостя погнушалась яствами боярскими. Пожалей ты меня, кир Мякуша, не осрами!

— Да что мне за дело до твоего сраму? Скоро из-за тебя пойду нагая по миру, а ты все о своем лице печешься. Совесть-то у тебя есть, Нездила Позвиздыч, или на добро променял? — Она пошла к двери, натягивая на ходу платок.

Не вставая с места, Нездила крикнул:

— Перятка, проводи гостью!

Боярыня уже спускалась по лестнице. Детина, что открывал калитку, сидя на березовом чурбане, лузгал из горсти семечки.

— Шульга, быстро сюда! — прогудела низким, мужским голосом Мякуша. — Уезжаем.

Хозяин вышел на крыльцо. Задрав бороду и сомкнув губы, молча смотрел, как Нажириха подходит к возку. Из стойла к ней уже вели лошадей. Появился тиун, торопливо обкусывавший краюху ржаного хлеба.

Боярыня забралась в возок, расправила поневу с белой каймой (вдовый знак), ослабила ремешки плаща. Неприветливо глянув на провожавшего ее взглядом Нездilu, отвела глаза и рывкнула на тиуна:

— Ну же, трогай, лодырь! Довольно копать!

Тот положил недоеденную краюху возле себя на сиденье, дернул поводьями.

— Но, пошла, Белолобка!

Детина, поднявшись с иссеченного топором чурбана, вытащил засов, открыл ворота. Возок выкатился на иссохшую, каменную землю, вспоротую рубцами неглубоких колея, и, грохоча на рытвинах, поехал прочь от господского дома.

— Не взыщи, ежели что не так, кир Мякуша, — донесся до уха боярыни голос Нездильы. — Не забывай старика! Всегда рад...

Она не ответила. Сидела надутая, угрюмо смотрела по сторонам и думала о покойном муже: «Удружил же ты мне, милоч! Хлепать не расхлебать. Почто тебе эта земля сдалась? Отдал бы ее крохобору — пусть бы подавился. Нет, держался за нее как за золото, будто свет на ней клином сошелся. И сам счастья не познал, и меня с детьми в свару вверх».

Вспоминая его, ненаглядного, жар души своей, не могла не вздохнуть сокрушенно об ушедшей молодости, увядшей красе, о пролетевших вмиг днях веселья и радости. Да и дней-то тех было всего ничего. Не успел жениться, как уж вторую подругу в дом ввел, а за ней и третью. Жил с ними в бесчестье и в ус не дул, греховодник несчастный. Хорошо, не бил жену смертным боем, блюл достоинство. Но и без того исстрадалась она от него, хоть вой. Иногда по целым седмицам не видала мужа: пропадал то на охоте, то в селе, то с очередной шалавой. А она-то, венчанная, ждала! С тоской на сердце, с затаенной ревностью, с горькой обидой и страхом — ждала! Одно только и утешало, что прочие бабы были кто из черни, кто из холопок, а значит, не соперницы ей, боярской дочери. Да разве ж легче от этого, когда супруг твой богоданный с ублюдками своими возится, а на тебя и не взглянет?

Как помер Нажир, дала Мякуша вольную наложницам его и их детям согласно «Правде» Ярославовой, хоть и подмывало выпороть всех как сидоровых коз, выместить многолетнюю обиду. Перемогла, подавила темное чувство. Да только не отмолились, видать, грехи Нажировы, продолжали долбить из минувшего, будто мало было пережитого.

«К градскому пойду, — снова решила вдова. — Пускай рассудит нас с Нездилой. Боязно, да делать нечего. Авось не забыл еще дружбу, не продал совесть за сирийское вино».

...Переночевав в старостиной избе, спозаранку Мякуша выехала в город с твердым намерением решить свой спор с Нездилой раз и навсегда. Но по возвращении узнала страшную весть: пропал старший сын ее, Аниска. Утаясь от Албыча, ушел второго дня с утра пораньше, прихватив только ржаной каравай да козий сыр.

Завопила Мякуша, вцепившись в волосы, заголосила надсадно. С горя приказала нещадно сечь конюха, что не уследил, всыпала плетей и прочим холопам, бросилась по соседям спрашивать: не видел ли кто ее мальчика? Те лишь разводили руками, пожимали плечами, пока не пришло в голову несчастной матери сходить к отцу Иванко, коего она терпеть не могла, полагая главным источником сыновних причуд. Ворвалась в избу, однако там попа не нашла: он был на службе.

Боярыня, не стесняясь, заявила в Васильевскую церковь, прошла мимо немногих молящихся и, остановившись перед амвоном, громко спросила:

— Где сын мой, ведаешь ли, святой отец?

Тот смешался, изумленно воззрившись на нее, — не ожидал такой дерзости. Губы его задрожали — то ли от ярости, то ли от испуга.

— Литургия идет. Не видишь разве?

— Да что мне твоя литургия? Ты ответь на вопрос. Или хочешь, чтоб по-другому тебя спросила?

Отец Иванко обвел глазами церковь, тихо произнес:

— Потом скажу, как служба завершится.

— Сейчас! — требовательно грянула Нажириха, так что голос ее взвился под самый купол.

Священник опустил взор на лежащий перед ним на крашенном позолотой аналое меднокованный служебник. Промолвил, не поднимая глаз:

— О том, полагаю, отец Андрей из Спасской церкви ведает. Справься у него.

Нажириха засопела, подозревая обман, но ничего не сказала и, развернувшись, широким шагом покинула Божий храм.

Отец Иванко поднял взор, обозрел потрясенных прихожан (несколько отроков да пузатый староста улицы) и вздохнул:

— Вернемся к службе, дети мои.

Аниску с тремя паломниками догнали в трех поприщах от Курска. Не в обычае странников было ходить по Руси на лодьях — они брели пешком в Киев, чтобы оттуда спуститься по Днепру к Царьграду.

Албыч с холопами целый день носился как угорелый из села в село, разыскивая беглеца. Боярыня кричала на него: «Дубина стоеросовая! Чего ж сразу не донес? Зачем ждал, пока вернусь?» И как ответить? Струсил? Надеялся на лучшее? Ах как он был зол! Была б его воля — надрал бы мальчишке уши, всыпал бы так, чтобы мало не показалось. Но он раб, его дело холопское. В первый день прошерстил берега Сейма до самого Берендеева урочища и только вечером напал на след. «Проходили тут такие, — кивали ему бронзоволицые полуголые смерды, везшие на телегах свежесобранные репы. — Три странника и мальчонка с ними. По виду и не скажешь, что из бояр. Одет по-простому, только черевьи получше будут. К Тютюшовому броду шли. Сегодня, должно, уже за Микулинским погостом».

Албыч вихрем промчался через Микулинский погост, обыскал соседнее село, но Аниску нашел почти случайно, на опушке соснового бора, когда тот расположился с богомольцами перекусить.

— Вот он где! — рывкнул взбешенный конюх, подъезжая к нему. — Поднимайся, Анисий Нажирыч, поедешь с нами к мамке.

Аниска метнулся было в лес, однако всадники легко нагнали его, один из них перекинул юного хозяина через седло и подвез, орущего, к Албычу. Тот, отдуваясь, вытер рукавом пот со лба.

— Подумал бы о матери, прежде чем стрекача давать. Ей-то каково? И так одна бьется как рыба об лед, так еще твое озорство терпеть. Ведь родной ты ей сын, не прижитой, не взятый у калик переходжих — а такое паскудство учинил. Ну не срам ли?

— Отпусти, ты, раб, бесовской сын! — верещал Аниска, болтая ногами. — Не хочу обратно в смрад, хочу к свету! Вы все в грязи ходите, истины не знаете. Противно мне с вами. И с матерью противно. Она Сатаной помраченная, в слепоте живет. И ты тоже слепец, и все они. Я с бесами бороться буду, скверну изгонять... Пусти, собака, порося вонючая...

— Не зазорно тебе такие словеса молвить? — покачал головой Албыч. — А еще боярич! Посовестился бы хоть вон странников этих. Божьи люди, а ты при них уста свои юные грязнишь.

Но Аниска не унимался — костерил Албыча последними словами, пробовал вырваться.

Один из богомольцев — рыжевласый скопец с бельмом в левом глазу — вступился за мальчонку. Сказал конюху высоким голоском:

— Отпустил бы ты его, холоп. Видишь, у мальчика душа к Богу рвется. Грешно благому делу препятствовать...

— Ну да, — огрызнулся Албыч. — Я его отпущу, а мне потом за это кнутовищем хребтину переломят. Ополоумел? — Он подхватил висящего поперек лошади Аниску и, поднатужившись, посадил впереди себя. — Ну-ну, не шали, Анисий Нажирыч. Все равно не отпущу. Иначе не сносить мне головы. — И пустил лошадь рысью.

...Нажириха, увидев въезжающих во двор Албыча с Аниской, соколицей налетела на сына — тот едва успел спрыгнуть на влажную после недавнего дождя землю. Принялась хлестать его по щекам, драть вихры да приговаривать:

— Ты что ж удумал, ветрогон? Мать бросить и с этой голью перекаточной по миру бродить? Ничего святого в тебе нет, только блажь и юродство. Ходишь в рванье, ристаний воинских сторонисься, одни молитвы на уме. Посмотрел бы отец на твои нелепицы! Для того ли он тебя родил, чтоб ты теперь шатался с бездельниками? Я из тебя это божедурье выблюю, так и знай. Раньше-то снисходительна была, думала — опомнишься. Но теперь-то возьмусь с полной силой. Посидишь покуда на цепи, бестолочь. Авось туман-то из башки выветрится. — И, держа его за локоть, потащила за собой в сени.

Аниска не сопротивлялся, только шмыгал носом. Младший брат его, тоже выбежавший на крыльцо встречать вернувшуюся погоню, отшатнулся, увидев разъяренную мать.

Нажириха втокнула сына в детскую и захлопнула дверь, сказав напоследок:

— Посиди покуда здесь, неслух. И чтоб из дома ни шагу! Увижу — выпорю у всех на глазах.

Сама же кинулась к иконе Спаса, висевшей в горнице, прямо над полочкой с рушником, на которой стояли маленькие деревянные идола предков.

— Господи Иисусе, — зашептала истово, молитвенно складывая гудящие от ударов ладони. — Чем же прогневала я Тебя, что так караешь меня? Чай не обделяю дарами Твоих храмов... О прошлом лете, когда Спасскую церковь ставили, вспомни — я тоже вложила. Да и на праздники завсегда отец Иванко от меня получает то медовый корж, то корчагу березовицы. Или мало Тебе? Больше хочешь? Буду больше треб класть, присягаю Тебе в том, только верни мне любовь сына.

А Бог спокойно взирал на нее, окруженный золотым сиянием, и вздымал двуперстное благословение, точно насмеялся над несчастной бабой.

...Три дня после этого вдова не выходила со двора — сторожила сына. За это время нашла грамотку, в которой был записан договор ее мужа с Нездилой, перечитала ее и, убедившись в своей правоте, впервые за много дней расслабилась. «Через седмицу еще раз Нездилу навещу. Сличим харатьи».

Покуда собиралась, нагрязнула к ней Неделька — тоже Нажириной вдова, из холопок, получившая свободу после смерти господина. Постучалась робко в калитку — Албыч не пустил, прогнал ее, как было велено.

Тогда баба начала досажать ключнице и стряпухе, ходившим на рынок. Семенила за ними, молила тонким голоском:

— Скажите боярыне, что на все согласна — хоть навоз убирать, только пускай возьмет обратно. Жизни нет никакой: на столе одна репа да брюква, и то не всякий день. Недорого продамся, за три гривны всего. А сынок может за лошадьми приглядывать: чай Албыч-то уже не отрок, скоро подмену ему искать придется. Так вы поговорите, милые, сердце же не камень у боярыни, уж я-то помню...

Так она ходила и зудела, допекая своей назойливостью, а те только отмахивались:

— Иди-иди, попрошайка! Будто и не знаешь, что ты боярыне как заноза.

— А ежели не возьмет, я к Нездиле пойду, — грозила Неделька. — Мне все едино помирать с голодухи.

Нажириха, прознав об этих словах, только усмехнулась:

— Пуцдай идет, убогая. Больно нужна кому!

Так Неделька ничего и не добилась. А Мякуша торжествовала — утерла нос сопернице. Хоть после смерти мужа, а поставила на место проклятую разлучницу.

На третий день она освободила сына из заточения, но велела Албычу сковать его ноги цепями. Сердце кровью обливалось, когда глядела на такое мучительство, да ничего лучше придумать не смогла. Пуще срама страшилась нового бегства отпрыска.

Стояла и, напустив на себя суровый вид, говорила ему:

— Сам виноват! Неча было от матери по кустам прятаться. Вернись — еще поговорю с тобой. А ты крепко подумай, что тебе лучше — быть достойным имени или дальше срамить себя и родителей. Так-то!

И уехала в село.

Нездиловская межа — сырой овражек, утонувший в березовой рощице. Вокруг овражка вспаханные поля: справа — Нажира, слева — Нездиль, разделены межевыми камнями. А в самом овражке, шириной в десять аршин и длиной в десяток сажений, — два ключа. Из-за этих-то ключей и возникло несогласие у Нажирихи с Нездилой.

Окруженные холопами, они ходили вокруг да около овражка, держа каждый свою харатью, и, потрясая ею как свидетельством, самолично отмеряли шагами расстояние до межи.

— Вот глянь-ка, — напирала вдова, — два десятка сажений от ключей. Шульга, встань там. Эвон, проводим черту... Вот ключ, а вот — я. Меряю на полудень: раз, два, три... — Подминая стерню и высоко вскидывая ноги (понева так и взлетала), она отсчитала тридцать пять широких шагов на юг. — Вот где межа должна быть! Не веришь? — Мякуша крикнула старосте, державшему моток веревки с узелками: — А ну-ка, проверь.

Тот вогнал колышек в то место, где раньше стояла Нажириха, и пошел к ней, разматывая на ходу веревку и считая узелки. Дойдя до хозяйки, сообщил:

— Поменьше вышло, боярыня. Десяток и еще восемь сажений.

— Вот как! — возликовала вдова. — Выходит, я еще в ущерб себе считала. Уразумел, Позвиздыч? Вертай межу на место, где была.

— Да как же так, кир Мякуша? — округлил тот глаза. — Ты ведь от дальнего ключа считала. А надо-то — от ближнего. О том у нас был уговор с Нажиром. Да и сажени не сельские, а градские. А по ним-то выходит, что межа стоит на месте, где ей и следует.

Нажириха чуть волчком не завертелась. Подскочила к боярину, завопила:

— Это где ж сказано, что от ближнего? И почему градские? Нет того в договоре!

— О том тебе свидетели скажут, что в харатью вписаны, — невозмутимо ответил Нездила. — Плещей, Мирошкин сын, да Рогожка с Вла-

сьевой улицы. При них договор заключали. При них да при тиуне, кир Мякуша. — Он кротко сложил длинные, сухие ладони на тощем брюхе.

— Не верю я тебе, Нездила. Тем паче что тиуна того уже нет, а Плещей, сам ведаешь, ума лишился, ничего не соображает. Что делать-то будешь? Как доказывать? Или Рогожку умаслишь, как градского? У, живо-глот, чтоб тебе пусто было! — Она повернулась к своему холопу, все так же стоявшему в овражке: — Шульга, вылазь, хватит там стынуть.

С запада стремительно наплывали тучи. Поднялся ветер, зашумели березы. Нажириха запахнулась в плащ.

— Ей-же-ей, у градского встретимся, — пострачала она.

Сизое полотно туч распорол молния, грянул гром, разверзлись хляби небесные. Мякуша накинула колпак и, перескакивая через борозды, торопливо потрусил к возку.

Нездила бухтел сзади:

— Ты не кручинься, соседка! Я ж только правды хочу. Чужого ломтя не беру. Как умолвились мы с Нажиром, так нехай и будет. Ежели кто ввел тебя в облуду, так тут зла нет — кто из нас без греха? А то пойдем к градскому — он тебе то же скажет.

Вдова забралась в мокрый возок, уселась, глянула сверху на Нездилу. Тот истуканом торчал среди пашни, будто обломок сторевшего ствола. С края его колпака обильно падали капли.

Перехватив взгляд Нажирихи, крикнул:

— Ко мне-то не заглянешь на огонек? Всяко ближе будет.

Мякуша отвернулась, нетерпеливо толкнула усевшегося впереди Шульгу:

— Ну поехали уж. — Затем обернулась к Нездилье и крикнула, погрозив кулаком: — У градского встретимся. Он тебя быстро на чистую воду выведет, лукавый бес.

...Тем же вечером, едва переждав у старосты ливень, снова велела Шульге запрягать: не терпелось ей вернуться домой. Тиун обомлел:

— Помилуй, матушка, кто ж на ночь глядя ездит? Лихие люди кругом, да и навьи баламутят, заведут к себе в гнездовище — и поминай как звали.

— Ты мне еще поговори! — недовольно крикнула Мякуша. — Сказано, запрягай, так делай. Ишь, язык распустил, раб!

Тот не посмел ослушаться.

Выехали, когда солнце, налившись багрянцем, уже тронуло нижним краем оком. Раскисшая земля чавкала под колесами. Погруженные в сумрак деревья серебрились каплями. Было холодно, ветер студил намокшую под плащом спину.

Тиун ворчал:

— Воля твоя, матушка, а только далеко мы так не проедем. Все равно придется в поле заночевать.

— Тебя не спросили, — огрызалась боярыня.

Ехали до тех пор, пока не закончились нездиловские пашни. Дальше потянулись тополиные и березовые перелески, утопавшие в кустах дикой малины и шиповника. А за ними, щетинисто топорщась, начинался Поповский лес — недоброе место, полное леших да упырей. Сказывали, что

один поп как-то взялся изгнать оттуда нечисть да и сгинул без следа. С тех пор лес так и величали — Поповский.

Тьма, клубясь, выползала из распадков, заглатывала петляющую колею.

Шульга обернулся:

— Ни зги не видать, матушка. И воз расшибем, и сами убьемся.

Лицо боярыни терялось под платком. Тиун услышал ее недовольный голос:

— Ладно... распрягай, коли так.

В слабом свете ущербного месяца въехали под сень тополей. Колеса с шелестом вминали в землю крапиву и лопухи. Шульга привязал лошадь к дереву, расстелил на холодной сырой траве потник, под голову подложил седло. Боярыня осталась спать в возке.

— Эхма, жаль, посторожить некому, — сокрушенно заметил тиун. — Ежели не сомкну очей, завтра буду как вареный, не доведу.

— Ладно уж, — проворчала Мякуша. — Авось Бог милует.

Она и сама уже жалела, что погнала на ночь глядя: выехали бы завтра, ничего бы не случилось. Но признаваться в этом холопу было зазорно.

Так и переночевали. Утром, дрожа от осенней росы, окостеневший за ночь Шульга долго вытряхивал из потника муравьев и прочую живность.

Мякуша торопила его:

— Скорей! Чего копаешься?

Ей казалось, что если промедлить еще хоть немного, то сын опять удерет, невзирая на цепи. Снова и снова вспоминала, как, уезжая из дома, оборачивалась в сомнениях — не вернуться ли? — и как уже по пути к Нездиле укоряла себя, что не вернулась. Изведенная тревогой, она не разрешила тиуну даже позавтракать и вновь погнала его в дорогу.

Добравшись наконец до дома, спрыгнула с возка и, не дожидаясь, пока ленивый Албыч откроет ворота, забарабанила в калитку:

— Отпирай, балбес!

Албыч, не разобравшись (подумал, забудыга какой ломится: слишком уж мужской голос был у боярыни), рявкнул с той стороны заплота:

— Кто там дверь ломает? Кому-то я сейчас бока намну.

Не успел поднять деревянную щеколду, как калитка распахнулась и Мякуша, оттолкнув его, кинулась в избу.

— Там он? — кричала на ходу. — Там?

— Да там, боярыня, — поспешил за ней опомнившийся конюх. — Где ж ему быть? Глаз с него не спускал, днем и ночью сторожил.

Мякуша чуть сбавила ход. Не останавливаясь, обернулась к конюху, приказала:

— Отопри ворота, валандай. Неча за мной бродить.

Сама же с колотящимся сердцем поднялась в горницу и, увидев там сидящего на рундуке Аниску с книгой в руках, подлетела к нему и начала целовать:

— Милый мой, милый! Прости непутевую мать. Сейчас велю снять с тебя эти цепи проклятые. Ты только обещаешь, что не уйдешь из дому. Большого не прошу — лишь обещаешь.

Раскрасневшийся от объятий и поцелуев Аниска оторопело уставился на нее, затем тихо промолвил, опустив глаза:

— Не уйду.

— Вот и славно! — обрадовалась она. — Пойдем, милый, вниз — там Албыч цепи собьет, пропади они пропадом. Где братик-то твой? С мальчишками забавляется или рыбу удит?

— В мельницу где-то играет, — ответил Аниска, всем видом выражая презрение к детским утехам брата.

— Вот и хорошо, вот и славно. Он — в мельницу, ты здесь книжки читаешь — все рядом, живы и здоровы, — лепетала мать, с умилением глядя на насупленное лицо сына.

Следующие три дня Нажириха провела в доме, боясь отлучиться. То и дело заходила в клеть к сыну, проверяла, на месте ли. О своем споре с Нездилой и не вспоминала. Подумывала даже ворожею пригласить, чтоб уж точно отвадила Аниску от недобрых мыслей.

Но на третий день к ней самой явился человек от градского — звать на суд и расправу. Безмерно удивленная боярыня спросила встревоженно:

— По чьему же это позыву? Кому вдова не угодила?

— По позыву черниговца Вакоры, — важно ответил холоп, сунув большие пальцы за широкий кожаный пояс, сползший под толстое брюхо.

У Мякуши засвербело в груди. Спросила, робея:

— Это кто ж такой?

— О том не ведаю, — осанисто сказал княжой холоп и уплыл.

С камнем на сердце Нажириха поплелась в палаты к градскому, прихватив с собой Албыча.

— Эх, не потолковала я с Рогожкой, — сокрушалась она. — А этот змий небось уже его обласкал, перетянул к себе.

— Ты, матушка, не бойсь, — утешал ее конюх. — Мы, твои холопы, стеной за тебя встанем.

Суд и расправу градской тиун творил в детинце, на широком дворе перед Богородицкой церковью. Дорога туда вела через шумное и тесное торжище.

— А ну, дорогу боярыне! — кричал Албыч, распихивая люд. — Дорогу, морды поросячь!

Он достал из-за пояса плетку, принялся стегать нерасторопных, сдобривая удары крепким словцом. Повернувшись однажды к Мякуше, заметил с легким укором:

— Эх, боярыня, а на возке бы как прытко доехали!

Мякуша смолчала.

По укатанной дороге, обходя лужи, добрались до мостков через ров. Торговый путь уходил к реке. Боярыня с конюхом прошла по бревенчатому настилу и ступила в огороженный частоколом детинец.

На дворище перед церковью рассыпался люд — купцы да мастера. Стояли по двое — по трое, переговаривались, спорили, ругались. Кое-кто приволок корзины с яствами и живыми курами — платить тиуну за справедливость. Иные держали на поводке козу или овцу. Сам тиун сидел на

резном деревянном кресле перед красными воротами церкви и, подперев ладонью жирное, покрытое оспинами лицо, слушал двоих спорщиков, которые, отталкивая друг друга, что-то наперебой лопотали ему. Рядом с тиунном расположился за низким столиком писарь, водивший писалом по пергаменту. По сторонам от наместнического кресла скучали вои с копьями в руках и мечами на кожаных перевязях. Другие вои выстроились полукругом перед храмом Божиим, упираясь краями дуги в его углы. Эти наблюдали за толпой, не пускали к тиуну жалобщиков, хотевших пролезть без очереди. А над деревянными створами церковных ворот, благословляя взыскующих правды, сияла багрянцем и золотом намалеванная на липовой доске Богородица Оранта, заключенная в клеть ковчега.

Албыч растолкал впереди стоящих, пропустил вперед госпожу. Та безотчетно перекрестилась на икону, начала было прислушиваться к спорившим перед посадническим тронном, но тут где-то рядом грянул торжествующий вопль:

— Ага, попался, сучий кот!

Круглолицый приземистый мужичок в жупане схватил Албыча за грудки. Тот замахнулся было, однако опустил кулак и в испуге только отпихивал коротышку за толстые запястья.

— Ты почто моего холопа бьешь? — надвинулась на незнакомца боярыня. — Ополоумел? На глазах-то у градского!

— Не твой это холоп, а мой, — завизжал тот, перекрывая голоса спорщиков.

Мякуша изумленно распахнула глаза, а наместник крикнул, вытянув красную шею:

— А ну, тихо! Кто там бузит?

Возле боярыни откуда ни возьмись вырос Нездила Позвиздыч. Проворковал:

— Каково живется-можется, кир Мякуша? — Затем повернулся к мужичку и примирительно сказал: — Ты покуда оставь этого раба, никуда он от тебя уже не денется.

— Ты о чем таком молвишь? — подозрительно спросила боярыня.

Но ее не слушали. Мужичок неохотно отпустил конюха и проскрежетал, засопев:

— Теперича уж не уйдешь. — И утопал вместе с Нездилой.

Мякуша повернулась к Албычу:

— Это кто ж такой был? Из-за него меня градской и позвал? Не к добру это, видать, особливо ежели Нездила рядом трется.

— Ты, это... не взыщи, боярыня, — промолвил конюх. — Тут дело такое... старое... Откуда он тут взялся середь берендеевых полей? — Конюх встрепенулся, заговорил быстро и с напором: — Позволь, боярыня, отлучусь. На миг один. Сей же час вернусь. Только надо бы мне... отойти.

— Эй, ты куда это? — спросила сбитая с толку Мякуша. — А ну, стой! Стой, тебе говорю!

— Мне... нужно, боярыня, — говорил Албыч, пятась. — Позволь по доброте своей... смилуйся, матушка...

Оторопевшая вдова наблюдала, как он отступает все дальше и дальше, пока, наконец, не пропал в толпе — только его и видели. Рванувшись было за ним, она была остановлена требовательным возгласом:

— Мякуша Воигостовна, вдова по Нажиру Отяевичу, изволь пожаловать!

Это говорил писарь, встав с места и держа перед глазами развернутую харатью. Нездила, потирая клешнятые ладони, уже спешил к тиуну. За ним вышагивал пузатый мужичок, а еще дальше (Мякуша не поверила своим глазам) семенила Неделька, подстилка мужнина. Наместник, потирая одутловатую щеку (старый пьяница!), задумчиво поглядывал на боярыню.

Мякуша пролезла меж воев, подступила к трону:

— Зачем позвал, Перенег?

Посадник не успел ответить — вновь всполошился круглолицый жалобщик, напавший на Албыча:

— Э, а где ж холоп-то мой? Опять дал драпака?

Боярыня непонимающе уставилась на него. Тиун лениво махнул рукой Нездилье:

— Говори что хотел, боярин.

Тот замурлыкал, потирая сухопарые ладони:

— Давеча явилась ко мне баба именем Неделька. Вот она, рядом. По ведала, что бывшая хозяйка ее, Мякуша с Власьевой улицы, держит у себя беглого именем Албыч, который при ней состоит конюхом. А тот беглый, рекла, из Чернигова-града, ходил там в ключарях, да проворовался и утек, а тут проданся кир Мякуше. Послал я вестника в Чернигов, чтобы справился, не кликал ли кто на торжище Албыча? Вестник вчерась вернулся и привез вот этого человека. Имя ему Вакора, в Чернигове подвизался кузнецом.

Боярин отступил и легонько подтолкнул вперед мужичка. Тот быстро поклонился тиуну, закивал:

— Так и есть, посадник. Правду молвит боярин. Три лета тому сбеж от меня Албыч, раб, от торков нанявшийся. Выкликнул я его на торжище, да не сыскал. А как пришел ко мне холоп от градского с известием, что спрашивают про этого Албыча, тут я и собрался наскоро.

— Ну и что, твой это челядин? — лениво спросил наместник.

— Мой! Как есть мой. Только вот что-то опять не вижу его. Как бы снова не утек.

Кузнец забегал глазами по толпе, подозрительно поглядывая на Мякушу. А та стояла как громом пораженная, не в силах вымолвить ни слова.

Посадник сказал:

— Что ж, Мякуша Воигостовна, ведала ты, что холоп твой из беглых?

— Хорсом клянусь и матерью сырой землей... — пролепетала боярыня. — Истинный бог, не ведала.

— А где ж он сам?

— Да только что тут был... — Она растерянно обернулась, но увидела только любопытные рыла толпившихся за цепочкой воев горожан.

— Ведала не ведала, а куны мне за него — вынь да положь! — завопил Вакора. — Да за издержки тоже.

Боярыня покачнулась. Слишком много ударов судьбы обрушилось на нее за последнее время.

Она подняла глаза, уставилась на злорадно ухмыляющуюся Недельку:

— Что ж, радуешься, бессормная баба? Отомстила мне за небрежение?

Тиун погладил короткую черную бороду. Заметил горластому кузнецу:

— Вира положена, если нет возврата. А с возвратом — без виры.

Тот не смутился:

— А хотя бы и так! Только где он, беглый мой? Ведь здесь же был, паршивец.

Наместник сочувственно посмотрел на вдову:

— Его правда, боярыня. Должна ты передать ему беглого. Куда он запропастился-то?

Мякуша мстительно заявила:

— А бог его ведает. Сами и ищите. Что, думаете, ваша взяла? Заклевали вдову? Ишь, петухи какие — втроем на одну курицу. Не стыдно с бабой-то тягаться?

Она в сердцах плюнула и пошла прочь с дворища. Посадник и кузнец с Нездилой возмущенно закричали ей вслед, но боярыня даже не обернулась. Все ей обрыдло: тяжба, село да и город тоже. Хотелось запереться в избе как в затворе и никого не видеть.

...Дома она ожидаемо не застала конюха. Ключница растерянно сидела у холодной печи. При виде хозяйки затараторила:

— Прибежал сюда, матушка, весь в пене, и давай седлать Белолобку. Я к нему: «Что стряслось? Куда собрался?» А он: «Прощевай, Вторка. Больше уж не свидимся». Я его спрашиваю: «Никак в бега собрался?» А он: «Не поминай лихом». Я ему: «А боярыню-то куда дел? Зла не сотворил ли с ней?» А он как зыркнет — аж плохо сделалось. Махнул рукой да и был таков. А я-то выбежала на улицу и давай кричать ему: «Совсем ополоумел, буслай проклятый? Куда погнал?» А он и не обернулся даже...

Мякуша простионала:

— Да и леший с ним. Сыновья-то дома? Аниска здесь?

— Здесь, матушка, здесь. Как не быть?

Боярыня начала подниматься по лестнице. Приказала:

— Вторка, достань-ка березовки. Чтой-то мне нехорошо.

— Я мигом, боярыня.

Приволакивая ноги, добралась до опочивальни и упала на ложе. Задышала глубоко, чтобы унять сердцебиение, приложила ладонь ко лбу. Ох, как бы не залихорадило!

— Вторка, где ты там шляешься?

— Уже иду, боярыня!

Выпив березовицы из большой медной чаши, снова упала на постель, знаком отослала ключницу прочь. «Чего ж меня так жизнь лупит? — думала боярыня. — Вроде и грешила не более других, а колошматит и колошматит. Прямо Иов на гноище». Пребывая в грустных мыслях, незаметно заснула.

Пробудилась от осторожного прикосновения к плечу.

— Боярыня, — тихо молвила Вторка. — Холоп от градского явился. С харатьей к тебе.

— Ох ты боже мой... Пошла вон!

Ключницу как ветром сдуло. Мякуша с трудом поднялась, потеряла глаза и виски. Посидела некоторое время, приходя в себя, затем прошаркала в горницу. Села на лавку возле окна, крикнула зычно:

— Вторка, веди сюда холопа!

Перед боярыней предстал наместнический вестник. Передал Мякуше приговор тиуна.

— Прими, боярыня, без гневу, — сказал он, кладя на стол грамоту с вислой свинцовой печатью. — Да еще новый тебе позыв на завтра — от боярина Нездиль Позвиздыча.

Мякуша сумрачно глядела на него, ничего не говоря. Дождавшись, пока выйдет, пробежала глазами написанное и покачала головой, заскрипев зубами от досады:

— Ишь ты, пять гривен за невозврат холопа. А где ж мне его взять? Да еще за издержки три ногаты. Скоты...

Она спрятала лицо в ладонях и долго сидела так, не двигаясь. Потом крикнула:

— Вторка, позови сыновей!

Те скоро явились — насупленные, недовольные. Мякуша сказала, тыча коротким ногтем в харатью:

— Вот, сыны, запомните: Нездила Позвиздыч — самый главный ваш ворог. Меня не будет — хоть вы расквитайтесь. Если не с ним, то с потомками его. Поклянитесь перед образом Спасителя нашего, что не забудете услышанного сейчас. — Она поднялась на ноги, взяла с углового поставца икону и поднесла сыновьям: — Целуйте.

Аниска с братом по очереди прикоснулись губами к образу.

— Вечно помните: нет для нас ворогов хуже нездиловского рода. С ним отныне — никаких дел. С голоду будете помирать, а к ним не идите. А ежели придут к вам просить помощи, гоните их прочь.

Взяв с сыновей обещание вечно помнить нездиловское зло, отпустила их; после долго думала, как поступить с приговором тиуна: покориться несправедливости или кинуться в ноги князю — авось смируется? Гордость боролась с отчаянием. «Нигде правды нет, — с горечью думала вдова. — Албыч — и тот пройдохой оказался. Как жить-то, Господи?»

Печальные размышления были прерваны жалобщиком Вакорой, который явился вместе с наместническим слугой за своим добром. Вдова не захотела с ними говорить, послала Вторку сказать, чтобы пришли завтра. Слуга заявил: сроку ей на исполнение приговора — день. Если завтра к вечеру не выдаст беглого или не заплатит за него пять гривен, избу возьмут на меч. Пяти гривен у боярыни не оказалось, только три. Пришлось отправить ключницу к знакомому купчине, чтобы дал две гривны в долг. Тот не отказал, хотя и заломил немилосердно — в месяц по ногате с гривны. Делать нечего, пришлось согласиться.

Вечером, укладываясь спать, Мякуша опять истово молилась образу Спаса:

— Господи Исусе Христе, Сыне Божий! Помоги, спаси, избавь от невзгод! Отвадь ворогов! Не допусти сорама, не дай злодеям растащить имение! Не за себя молю — за сыновей. Я свое отжила, а им-то какво придется? У меня все возьми, не жалко, но им оставь долю! Боже святой, спаси и сохрани!..

На следующий день с утра, кряхтя и охая, потащилась к тиуну. С собой взяла Первака — косоглазого бобыля, который рубил для вдовы мясо, колот дрова и убирал снег. Сказала ему: «Пока не найду нового конюха, будешь за лошадыми смотреть и со мной ходить куда велю».

На посадническом дворище расплатилась с черниговским ябедником, заодно объявив, что холоп сбежал. Потом началась тяжба с неумным Нездилой Позвиздычем, который привел с собой обоих свидетелей. Те целовали крест, подтверждали каждое слово боярина. Мякуше только и оставалось, что развести руками.

— Ты уж не гневись на меня, кир Мякуша, — лебезил Нездила. — Я ж токмо за правду. Уж ежели оттяпал твой муж мою землицу, будь добра — верни. А на твое я не зарюсь, упаси боже.

— Да? — горько усмехалась боярыня. — А борти мои кто уволок? Не твои холопы разве?

— Так ведь говорено уже у нас с тобой о том, — удивился Нездила. — Найду борти — верну все до единой, а холопов буду сечь без пощады.

— И думаешь, поверю я тебе? Эвон обыскался, аж тяжко смотреть. То-то под вдову копаешь, ябедников из самого Чернигова вывозишь, вместо чтоб борти искать. Да и к чему тебе их искать? Небось и так знаешь, где они есть.

— Почто напраслину возводишь? — печально спросил Нездила. — Отродясь за чужим не гнался. Любого спроси. Перенег, разве лгу?

Тиун покачал головой, глядя бороду:

— О тебе, Нездила Позвиздыч, худой молвы нет.

Вдова воздела к небу руки:

— Великий Дажьбоже, будет ли конец моим печалям?

Порешили через два дня ехать с человеком от градского в село проводить новую межу. Заодно выяснить судьбу украденных бортей.

Нездила предупредительно спросил у вдовы:

— С кем поедешь-то, кир Мякуша? Конюх твой сбежал. Сядай ко мне в лодью. Вдвоем-то веселее.

— Да я лучше с аспидом в лодью сяду, — огрызнулась боярыня.

— Дело твое, кир Мякуша. Я ведь только по-соседски, по-дружески.

Не все же нам собачиться.

— Езжай, езжай. Там увидимся.

Но хоть спесь и заедала, а все же вскорости пожалела Мякуша, что не приняла нездиловского предложения. Ехать с Перваком — значило оставить дом без мужского пригляда. А если разбойники залезут?

Надеялась за оставшиеся два дня купить нового конюха. Ради этого продала серебряное ожерелье с самоцветами. На торжище после случая с Албычем идти зареклась — послала Вторку по дворам больших людей.

Та обила все пороги, но конюха по приемлемой цене так и не сыскала: все гнули цену в семь-восемь гривен.

— Ладно, — подытожила боярыня, выслушав Вторкины причитания. — Потом найду. А пока оставлю как есть. Авось ничего не случится.

На третий день она отбыла с Перваком в село. На прощание расцеловала сыновей, наставляла их:

— Слушайте Вторку и не перечьте ей. Ты, Аниска, приглядывай за младшим братом. Никого у меня нет, кроме вас. Ежели что с вами случится, не переживу. Так и знайте. — Она еще раз посмотрела на Аниску. — А ты помни, что мне обещал. Опять удерешь — не только мать обидишь, а и перед Богом грех будет. Так-то!

Перекрестила их, дала приложиться к своей деснице и уехала, украдкой смахивая слезы. Душа разрывалась между домом и селом: страшно было и за отпрысков, и за вотчину. Ах, когда же это кончится?

Вторка, проводив боярыню, сказала ее сыновьям:

— Слыхали, господа сорванцы, что мать велела? Слушаться меня и не перечить. Так-то.

Те, хоть и целовали матушкину длань, выполнять ее наказ не собирались. Младший сразу ускакал на Нежатин луг играть в шары и горелки, а старший, посидев денек дома, на следующее утро побежал на пристань, чтобы поспросать, не идет ли какая лодья в стольный град Киев? Заодно принялся подыскивать спутников, чтобы ушлые лодейщики, взяв на судно, не продали в неволю.

Помыкавшись туда-сюда, увидел двух стоящих возле купеческого струга попов в обтерханных рясах, с котомками за плечами. Те о чем-то толковали с кормчим — приземистым и рябым торком в высокой войлочной шапке и свите с закатанными рукавами. Аниска знал, что струг принадлежит яскому гостю, торговавшему мехами и рабами. Не позднее как завтра гость собирался отчаливать в столицу. Боярич сел поодаль и стал наблюдать за попами, ожидая, пока те закончат беседу. Спустя какое-то время кормчего окликнул с лодьи человек в долгополом узорном кафтане и печенежских сапогах. Кормчий утопал, а слуги Божьи побрели, негромко беседуя, с бревенчатой пристани.

Аниска кинулся к ним, заговорил торопливо:

— В Киев идете, святые отцы? Меня возьмите, давно хочу в обитель Христову уйти. Места много не займу, еда у меня також с собой. Я не вру, вот вам крест! Книги люблю читать: и Псалтырь, и шестоднев, и часовник, и Евангелие Марково... Целый короб ими набит. Мать ругает, грозит спалить их... Меня отец Иванко учил, из Васильевской церкви... Вы его спросите, ежели не верите. Возьмите, а? Хочу к Богу стать ближе, бесов хочу побороть. Не могу тут, помру без слова Божия...

Те в удивлении усталились на мальчика, стали расспрашивать его, кто да откуда. Говорили они по-новгородски — цокая и вставляя куда ни попадя «е»: «Асце ся не возвернем», «Мате твоя ся не прогневет?», «Не с руки ся с тиуном нам ссорице». Аниска, услышав такое, возликовал: дед его, дру-

жинник Ярославов, сам был с берегов Ильмень-озера, завсегда потешал местных своим говором.

— Мать со свету сживет, если не уйду, — лопотал. — Хочет меня в вои отдать, а для меня это хуже неволи. Мне бы Господу служить, псалмы петь... ни о чем другом не мечтаю. Помогите мне, святые отцы, избавьте от злой участи. Иначе — вот вам крест! — что-нибудь с собой соделаю. Лучше в омут с камнем на шее, чем с копьцом по полю разъезжать. Не паствой хочу быть, а пастырем. Чую в себе призвание, вижу горний свет...

Смущенные таким напором, попы топтались в нерешительности — хоть и сочувствовали мальчишке, но боялись навлечь на свои головы боярский гнев. Наконец один из них, чернобровый и густовласый, прогудел в бороду:

— Что ж, коле так, споспешествуем тебе в порыве. Завтре ся отправляем, в третьем часе. Дерзай, малце. Учти токме: ежели нагонят нас, мы не при цем. Взяли тебе, поскорбев о сироте, цтоб не сгинул один в Диком поле. Уяснил?

— Уяснил, — закивал боярич.

— Как звать-то тебе? — спросил другой поп, пониже да пожиже.

— Аниской.

— А в крещении?

Мальчишка на миг задумался, вспоминая крестильное имя.

— Федоской... кажись. Ага, Федоской.

— Богоданный, значит. Может, и впряме, Господь нам тебе послал, Федоска?

Тот пожал плечами, широко улыбнулся и рванул домой — собираться в путь. Напоследок еще оглянулся и крикнул:

— Вы, слышьте, без меня не уплывайте! Дождитесь!

Ах как он был счастлив! Будто крылья обрел, взмывая в поднебесье. Что соврал матери — плохо, однако ведь ради благого дела! Бог простит, снимет грех с души. Иначе зачем наполнил Он Аниску рвением? Зачем послал ему паломников, с коими тщился пойти по святым местам?

Хоть и не удалось сбежать тогда от матушки, а все ж не напрасен был поход. Кабы не паломники, не узнал бы Аниска о киевских обителях, где вдали от суеты пребывают немногие черноризцы. Вспоминал теперь, как, подняв заскорузлый палец, тонкоголосо сипел носатый скопец: «Мало их, но каждый сияет будто светоч в нощи. Знаменитейшие из прочих — Павел Антиохиец, да Иоанн Болгарин, да Антоний Любечанин, что подвизался в пещере, выкопанной владыкой Ларионом. У греков нынче монастырей не счесть, уже и за свершение не почитается, а у нас это — дело новое, неизведанное, на чернецов как на волхвов косятся. У нас-то, я тебе скажу, самое раздолье для христианского дерзновения. Эвон пашню видишь? Вот это наша Русь и есть. А мы — пахари, ведем борозду, сеем. Так, помаленьку, и засеем всю страну. Изгоним поганых бесов, не дадим им бесчинствовать, смущать людские души...»

Аниска слушал и таял от умиления. Вот то, ради чего стоило жить! Хватит читать книжки, пора разбить божественный сад!

Голова кружилась от восторга!

Но тут же вспоминалось ему лицо матери — насупленное, грубо вытесанное, с лохматыми бровями и подозрительно прищуренными глазами — лицо беса, одолевшего ее. Это дьявол внушил ей мысль надеть на Аниску цепи. Дьявол заставлял ее драть сыну космы. Дьявол вынуждал мешать сыновьему призванию. Не могла же мать по доброй воле портить ему жизнь. То был дьявол, вселившийся в нее! А раз так, не было греха в Анискином вранье. Ведь не матери он лгал, а Сатане. Кто осудит его за это?

Добраться до Киева оказалось только половиной дела. В стольном граде никто не хотел пускать юного голодранца, пришедшего с котомкой за плечами.

— Иди, иди, мал ишшо, — говорили ему привратники, прогоняя от створ обителей с вырезанными на воротах греческими буквицами.

Кабы не бродячие попы, приютившие Аниску у знакомого понома-ря, пришлось бы ему ночевать на пристани. Пригорюнясь, он ходил по шумным киевским улицам и чувствовал себя голодным котом возле плотно закрытой крынки со сметаной: вот она, рядом, только протяни лапу, но как же добраться до нее?

Тут-то ему и вспомнился рассказ паломника о ските Антония Любечанина на Берестовой горе. Авось хоть там примут?

Идя туда, с трепетом думал о суровости старца: говорили, будто жил тот на хлебе и воде, неустанно молясь и копая пещеру. Людей сторонился, а ежели кто хотел приобщиться святости, того испытывал жестоко, терзая постом и затвором. За все время только один монах и выдержал проверку, остальные бежали от Антония сломя голову, спеша укрыться от мира и сорама в других обителях. А еще молвили, будто в ночи от пещеры исходило сияние и слышен был ангельский хор. А вокруг летали бесы, злобясь, что не могут уязвить крепкого верой.

Страшно было Аниске. Вдруг окажется слаб духом? Твердил, донимаемый сомнениями: «Ах, Господи, не дай опростоволоситься».

Скит Антония — земляная пещера в сквозистой дубовой роще на склоне горы, окруженной частоколом. От пещеры в разные стороны вились усыпанные пожухлой листвой тропинки. Пройди чуть правее — и выйдешь к обрыву над Днепром, на другом берегу которого, среди полей и березовых рощ, чернели избы, бабы стирали в реке одежду, смерды возили сено на телегах, ребятня бегала меж заборов, пугала курей и поросят.

Калитка в частоколе не запиралась. С внешней стороны все было вытоптано, стояли, прислонясь к тыну, какие-то тюки, в корзинах билась птица, повсюду торчали бочонки, один меньше другого, а еще теснились медные ковши, деревянные мисы, греческие зеленые горшки и корчаги, берестяные коробы с железными ножами и ложками — всего и не перечеть. Ко многим дарам прилагалась записка на веревочке — просьба к схимнику молить Бога за дарителей.

Аниска, пораженный, миновал все это роскошество, осторожно открыл калитку и, оглядевшись робко, направился по широкой тропинке вверх по склону. Размышлял: «Увижу старца — брошусь к ногам. Пусть хоть прирежет на месте, но не прогоняет». О возвращении к матери не

думал: с прошлым было порвано навсегда. Образ родительницы изредка мелькал где-то на границе сознания, как солнце в просвете туч, однако мальчик старательно гнал его, вознося молитвы Христу: «Господи Боже, помоги! Господи Боже, не дай оступиться!»

У входа в пещеру — свежерытая глинистая земля, испещренная следами подошв. Вокруг все заросло иван-чаем и крапивой, слева к пещере вплотную подступала старая липа, нависая корявыми ветвями. Аниска остановился под ней, всмотрелся в сумрак вертепа.

— Отец Антоний, — позвал он, вытянув цыплячью шею.

Ответа не последовало. Глаза постепенно привыкли к полутьме, Аниска разглядел стоящее у стены корыто и вставленные в земляные выемки две простые иконы без окладов — одна напротив другой.

Позвал погромче:

— Отец Антоний!

Опять никакого ответа. Он шагнул внутрь, постоял, озираясь, и медленно двинулся вперед. Из темноты вырастали низкие своды, кострище, лопата, воткнутая в землю. На Аниску волнами накатывал страх. Так и подмывало развернуться и кинуться прочь. «А что, если старец отлучился? — подумал он. — Сейчас вернется, а я здесь. Не примет ли за вора?»

Тут-то перед ним и вырос отшельник — непроглядно-черный, только лицо серело во мгле, а в правой руке покачивались веревочные четки с простым деревянным крестиком.

— Кто ты? — спросил хриплым голосом.

Ноги Аниски подогнулись, он упал на колени и, запрокинув голову, как собака, уставился на говорившего. Все слова, которые он готовился произнести, вмиг повывлетали, и осталась лишь молитва: «Господи Иисусе, не оставь в печали!»

Упав лбом на землю, Аниска протянул грязные ладони к стопам старца и прорыдал:

— К тебе пришел... за утешением... не гони... все гонят... на тебя одна надежда, святой отче! Не могу в дому, хочу сюда, к ангелам под крыло... подале от бесов... от скверны житейской... от суеты... Что хочешь буду делать, только не гони. Любо́й обет приму... хоть в затвор... но позволь остаться. Вижу — от тебя сияние исходит, святой отче. Призри убогого и слабого... не дай погаснуть свече...

Тяжелые цепкие руки легли на плечи Аниске.

— Поднимись, отрок. Как звать тебя?

— Анис... Федоской, — быстро поправился мальчишка, вставая на ноги.

Старец долго разглядывал его, будто щупал душу. Размышлял.

— Знаешь ли о правиле моем, Феодосий? Не всякий выдюжит. Много было охочих, да один только и вынес. Осилишь ли?

— Проверь меня, отче! — выкрикнул Аниска. — Все вытерплю, любую тягость приму, только не гони с глаз долой.

Потрясенный, взирал на него старец Антоний. Хоть и пожил немало, всякого навидался, но первый раз встречал такое горение в юнце. Может, бес искушает, подумал в сомнениях. Хочет, лукавый, проникнуть в пеще-

ру под личиной боговдохновенного отрока, чтобы сбивать аскетов со стези праведности.

Он смотрел на Аниску и молчал, а тот, принимая его молчание за суровость, продолжал что-то лепетать.

— Родители твои где? — спросил Антоний, прерывая его. — Какого они чину? Знают ли, что ты здесь?

— Отец скончался, а мать в Курске. Боярыня из младших. Не хотела меня пускать сюда, пришлось уйти отай. Кабы проведала, волосья бы мне выдрала. Сатана ее прельщает, застит взор. Ищет мне мирских выгод и знать не желает, что другим живу. Злой корень в ней, не вырвать.

Антоний нахмурился, будто услышал что-то непотребное. Потом спросил:

— Письму и чтению обучен ли?

— Обучен, отче! Дома все книжки прочел. Страсть как читать люблю.

— Добро. Возьму тебя послушником. А там поглядим, чего стоишь.

— Святой отче...

Голос у Аниски сорвался. Объятый порывом, он схватил руку схимника и, нагнувшись, поцеловал ее.

Антоний усмехнулся, а затем, в противность обычаю, легонько взъерошил мальчишке волосы.

Четыре долгих года искала Мякуша пропавшего сына. Металась по всей Северной земле, сулила награду всякому, кто укажет на него. Толковала с бродягами и гадала с ворожеями, тщаь отыскать сыновий след. Забросила все дела, не думала ни о ком больше, как об Аниске, кляла его и рыдала по нему. А еще ходила к отцу Иванко и честила его на чем свет стоит: «Все ты со своими книжками, святоша! Заморочил голову мальцу, отвадил от дома. Не христианин ты, а еретик! Бес в человеческом обличье. Чтob у тебя чрево сгнило, чтob язык твой поганый распух и вывалился, подлый колomes!»

Кидалась в ноги тиуну, молила, чтob расспросил хорошенько спасского попа, куда исчез Аниска. Тот, сочувствуя бабе, призвал к себе священника, требовал ответа — отец Андрей божился, чтo знать ни о чем не знает, ведать не ведает. Целовал крест и был отпущен с миром.

Мало-помалу боярыня покорилась судьбе — решила для себя, чтo сын ее непутевый, очевидно, сгинул где-то: не мог же он быть так жесток к матери, чтобы уйти и не подавать о себе весточки! Пропал, как пить дать, убили его лихие люди, а может, украли и продали в неволю. Знать, такова судьба у него, и ничего тут не изменишь.

Потеряв одного сына, второго окружила неустанной заботой — из кожи вон лезла, чтобы вывести его в люди и найти невесту, достойную родового имени. Тот не противился, лишь смущался бурного изъяснения материнских чувств. Гудел нарочито низким голосом: «Ну ладно, будя тискать. Не чадо ить уже». Она смотрела на него и думала в ожесточении: «Хоть одного, да поставлю на ноги. А если кто на пути встанет — загрызу».

Непрерывные бедствия не сломили ее, напротив, заставили сжать волю в кулак. Потерпев неудачу в тяжбе с Нездилой, взялась за Бориц-

кую вервь — велела холопам валить в общинном лесу подсеку и ставить в липовых дуплах борти с боярским знаком. Сама же, пользуясь безграмотностью смердов, так составляла договоры, что всегда выходила правой. «У нас так: не урвешь кус — ничего не получишь», — рассуждала она, вспоминая нездиловскую нахрапистость.

Жданка тем временем возмужал, начал тискать клетных девок, ухлестывать за дочкой соседского купчины. Мякуша уже замысливала на Красную горку послать к тому сватов, но тут прошлое напомнило о себе.

Однажды, когда боярыня ткала льняной рушник под икону, сидевшая рядом Вторка, наматывая на веретено шерстяную нить, сказала:

— Что деется-то, матушка! У отца Андрея изограф объявился. Из самого Киева прибыл. Сегодня встречаю его бабу возле лавки Путятиной, думала маслица для светильников прикупить да свечей... Ох уж эти свечи, сколько их уходит — не счесть. И не пойму почему. Вроде и раньше жгли, а поди ж ты... Не то сало нынче, это уж я тебе как есть говорю. Пора уж восковые брать, мне об этом и сама Путятишна талдычит, а она-то плохого не посоветует, ты же знаешь, матушка...

— Ладно трещать-то, — утомленно сказала Мякуша. — О чем хотела мне поведать?

— Так вот об этом изографе. Разговорились мы с ней о том о сем. Спрашиваю: «Как жизнь-то в стольном граде?» А она: «Поветрие на молодняк нашло — в обители просятся, чтоб, не трудясь, не воюя, жить на всем готовом. Особливо чернь к тому склонность имеет. У Антония-схимника, уж на что суров старец, а и там в пещере какой-то хлопец объявился — подвижник и постник. Люд дивится: что за отрок такой? Не иначе ангел. Другой-то у него не выдюжит».

Мякуша перестала ткать, вытаращилась на Вторку:

— Мой это! Сердцем чую, мой!

У той выпало из руки веретено, покатилося под лавку.

— Ох я глупая! И впрямь, не наш ли боярич там подвизался? Ему-то — в самую масть. Ушел в затвор — и вестей не подает. С него станется. Уж не знаю, за что на тебя так взъелся, матушка. Уж ты о нем и заботилась, кормила-поила, а он-то шасть — и ускакал, негодник...

— Ладно болтать, — прервала ее боярыня. — Пойду с этой бабой потолкую. У Андрейки, говоришь, живет?

— Как есть у него.

...На следующее утро, поговорив с женой изографа, Мякуша собралась в путь и вместе с новым конюхом да клетной девкой отправилась на купеческой лодье в Киев.

Хоть сердце и играло, а все же боярыня решила не пороть горячку — прийти к старцу вроде как для благословения и между делом выведать о сыне. Наняла возок, сложила туда подношения монаху и поехала на Берестову гору.

Приехавши, велела холопу выгрузить короб с сушеными яблоками, корчагу с медом да корзину со свечами у входа в скит, сама же, не смея

войти внутрь, послала за схимником старого привратника-варяга, недавно повелением князя приставленного к калитке.

— Скажи ему, дескать, явилась приобщиться святости. Издалека приехала — чуть не с самого Дикого поля. Пусть уж не обидит вдову, почитит вниманием.

Холопам Мякуша велела ждать у возка. Прислонилась боком к молодому дубку, склонила голову и принялась в тревоге ждать монаха. Тот скоро явился — иссушенный постами анахорет в истертой, заштопанной в нескольких местах рясе. Вдова подошла, кланяясь, приложила к черной от въевшейся грязи руке. Принялась сбивчиво говорить о неказистом своем житье-бытье, о многих пережитых бедах, просила благословения.

Антоний сочувственно кивал, затем промолвил, перекрестив вдову:

— Во имя Отца, Сына и Святого Духа — Господь да пребудет с тобой, страдальца!

Мякуша показала на стоявшие рядом дары:

— Вот еще угощение тебе привезла, святой отец. Уж не погнушайся. От чистого сердца, чтоб укрепились силы твои в битвах с нечистым.

— За яства благодарствую. Буду Бога молить за тебя, многотерпеливая жена, — произнес Антоний.

Мякуша наконец решила перейти к главному:

— И вот еще что, святой отче: молвят, сын мой у тебя в пещере обретается. Мне бы хоть взглянуть на него. Истерзалась вся, думала уж, содеялось с ним недоброе.

Антоний оживился, распахнул выпуклые глаза:

— Есть у меня отрок, душой преданный Христу. Твой или нет — того не ведаю. Ежели хочешь, передам, чтобы встретился с тобой.

— Сделай милость, святой отец! Мочи нет, как горюю без него. Четвертое лето пошло, как исчез, ни слуху ни духу.

— Сейчас он в молитве, не смею отвлекать его. Приходи завтра после обедни.

— Дай бог тебе здоровья, отец Антоний!

Вдова с поклонами начала пятиться к возку. Схимник же, ободряюще улыбнувшись ей, отошел к калитке. Там сказал вислоусому привратнику:

— Как явятся сироты, раздай им дары. А я свечи возьму.

— Сделаю, отец Антоний, — кивнул тот.

Подняв корзину, схимник направился к пещере. По дороге вдруг вспомнил, какими словами честил свою мать Федоска, и расстроился: может, и не стоило признаваться? Ах, старый глупец! Не дьявол ли подошл ее, чтобы сбивать отрока с пути истинного?

Но сделанного не исправишь. Коли уж обещал передать иноку просьбу родительницы, надо выполнять.

Прост был Антоний, не ждал от людей худого. Всю жизнь провел по обителям, вблизи от Христа — с житейской суетностью, считай, и не стал кивался. Боялся он мира, что уж там скрывать. Людей боялся, видел в них зверей бессмысленных. И хоть на словах проповедовал любовь к ближнему, на деле думал лишь о собственной душе. Потому и ушел в затвор: в толпе-то не спасешься. А поскольку общался главным образом с Хри-

стом да с ангелами, никогда не умел поставить себя среди смертных — говорил всегда с открытым сердцем, не чуя злого, будто с Богом беседовал. И постоянно попадал впросак.

Войдя в пещеру, прошел низкими земляными переходами в крохотную часовенку, едва освещенную двумя свечами. В часовенке этой, преклонив колени перед багровеющей в выемке стены иконой Спаса в Силах, стоял молящийся инок в клобуке, истертой рясе и сандалиях. Под рясой на его спине угадывались вериги.

Антоний не осмелился нарушить благоговейную отрешенность отрока, направился дальше, к брату Никону, который в самом дальнем ответвлении пещеры усердно работал лопатой, расширяя своды. Антоний взял вторую лопату и присоединился к товарищу.

Лишь вечером, перекусывая ржаным хлебом с молоком и медом, Антоний поведал Анисию о приходе матери.

Тот аж поперхнулся — глянул на старца страшно и замотал головой:

— Не пойду я к ней, отец Антоний. Смердит от нее. Прелестью сатанинской веет. Что я, не ведаю разве? Опять будет ум мой смущать да волосья драть. Нет, не пойду.

— Ты все ж подумай. Мать ведь, — попробовал уломать его монах. — Одна она у тебя. Да и терзается сильно. Пожалел бы ты ее.

— А как в Писании сказано: «Оставьте отца и мать и следуйте за Мною». Нет, отче, не уговаривай даже. Не выйду я к ней. Дьявол вещает ее устами.

Так и не убедил юного монаха.

...На следующий день, получив от привратника известие о приходе Мякуши, Антоний спустился к ней, сказал, вздыхая тяжело:

— Уж не взыщи, боярыня, а только не хочет сын тебя видеть. Говорит, скверна от тебя исходит. Не к добру, мол.

У Мякуши свет померк в глазах. Не помня себя от отчаяния, завопила:

— Ах ты, лицемер негодный! Небось силой захватил моего сына и не выпускаешь его! Знаю я вас, святош! Непотребством живете, коварные змеи, невинных отроков растлеваете! Выведи его мне немедленно, иначе — вот-те крест — убью себя прямо перед калиткой твоей обители! Ни к чему мне жить без него!

Перепуганный Антоний торопливо зашагал обратно в пещеру. Прервал молитву Аниски, сказал строго:

— Вот что, инок, довольно кочевряжиться. Там мать твоя убивается, а ты и ухом не ведешь. Есть ли у тебя сердце? Спустись сейчас же к ней и потолкуй.

Аниска, пораженный суровостью речей обычно кроткого схимника, не посмел ослушаться — отправился к матери. Вышел к ней, бросая исподлобья недружелюбные взоры. Мякуша, увидев его, поначалу опешила — так сильно изменился ее сын: лицо пожелтело, щеки ввалились, обросли жестким волосом, во лбу прочертились морщинки. Но уже в следующий миг она завопила в голос и бросилась его обнимать.

— Аниска, милый мой, паршивец, негодник такой, есть ли у тебя совесть? Я ведь не чужая тебе, не сбоку припеку, а мать! Неужто ж не пойму? Возвращайся, солнце мое, читай свои книги, молись, только не бросай! Как мне жить без тебя? — Она зарыдала и вдруг ударила Аниску по щеке: — Здесь тебе лучше, анахорет несчастный? Мать тебе лютый враг? Для того ли тебя растила, чтобы ты во цвете лет в пустынь ушел? Не обо мне, так о роде нашем подумай! Кто продолжит-то его? Мне одной хомут невоготу тащить! Думала, ты подрастешь, поможешь, а ты вон что удумал! Наплевать тебе и на меня, и на дом, и на род наш! На все тебе наплевать, кроме себя. И в кого ты такой уродился? Будто безумец какой. Пожалей ты меня бога ради, не мучай. И так уж натерпелась — дальше некуда. Если родной сын будет так гвоздить, что же мне останется — в петлю лезть?

Она еще что-то говорила, мешая укоризны с мольбами, однако сын оставался невозмутим. Даже слезы матери не тронули его. Перебирая четки, он смотрел на нее не размыкая губ.

Затем тихо, но непреклонно произнес:

— Пустое, матушка. Я уже Божий, не твой. Иди себе с миром.

Эти скупые слова будто лишили боярыню сил. Изумленная, она взирала на Аниску и не верила своим ушам. Потом промолвила:

— Вот, значит, как ты с матерью? Я тебя кормила-поила, а ты — иди, мол, с миром? Этому тебя Господь учит? Эх, кабы вернулся — вот радость-то была бы! Брат-то знаешь какой вымахал? Небось, не узнаешь его. Село наше разрослось, я на том берегу землицы прикупила. В следующее лето думаю овес посадить, лошадей станем разводить. А у отца-то Иванка жена померла. Постарел отец Иванко. Тоже, небось, не узнаешь его. Тиун у нас новый. Деловой. Решил дорогу к детинцу бревнами выложить, как в столице. У соседа нашего Гордяты скотник погорел. Всеи улицей тушили. А еще третьего лета печенег приходили. До нас не дошли, зато в Берендеевом урочище немало зла сотворили...

Но все эти воспоминания, которыми Мякуша надеялась пробудить у Аниски тоску по родному очагу, не произвели на него никакого впечатления.

Тогда боярыня опять принялась его умолять:

— Не могу я без тебя, сынок! Душа терзается. Все думаю, как ты там, ночами ворочаюсь без сна. Ты бы хоть моей кончины дождался, а там и вернулся бы в свою пещеру, коли так рвешься. А?

Аниска лишь покачал головой:

— Без толку все это, матушка. Не трать сил. Нет мне хода обратно в мир.

Он развернулся и пошел к калитке. Боярыня вскрикнула, бросилась за ним, упала в ноги.

— Без ножа ты меня режешь, Аниска! За что ж мне такая кара?

Тот обернулся, отступил было, но затем смиростивился:

— Если хочешь быть рядом со мной, постригись в монастырь. Эвон Никольская обитель завсегда тебя примет.

— Да как же я постригусь, милый? А Жданка на кого останется?

Аниска пожал плечами и ушел, оставив Мякушу в недоумении: шутил он или правду молвил?

Не раз и не два являлась после этого боярыня к скиту, лелея надежду, что сын переменится, — все было тщетно. Он лишь талдычил в ответ: «Хочешь быть рядом — иди в Николин монастырь». И ничем его было не пронять — ни угрозами, ни слезами. Мякуша думала даже выкрасть сына из Антониевой обители, да испугалась последствий. Так и уехала ни с чем.

В Курск вернулась, клопоча злостью на сына. Жаловалась Жданке:

— Братец-то твой знаться с нами не желает. Гнушается. Грязны мы для него. Подлы. На меня смотрел как на свинью, поганец такой. А от самого-то разит, будто в бане целое лето не был. Усох весь, точно осока по жаре. Смотреть страшно!

Младший недобро усмехался:

— Брезгует, значит, нами? Ну и леший с ним, с отрезанным ломтем. Коли отрекся, сам виноват.

Мать кивала, вроде как довольная словами сына, но в остановившемся взоре ее стыла боль.

Превозмогая себя, вернулась к делам: принялась трясти Шульгу за недостатку яиц и масла, закончила рушник и соткала завеси на оконца, разобралась с холопами, одних отпустив на волю, а других обязав новой кабалой, наконец, провела межу за рекой.

До Масленицы трудилась как муравей, несколько раз навестила село, толковала со старейшинами Борицкой верви, улестила градского, чтоб заставил тех заплатить за кражу девок, нашла Жданке добрую сваху, умолвила с Гордятой и обручила детей в Спасской, дальней, церкви (идти в Васильевскую к отцу Иванко не захотела). Казалось, и думать забыла о старшем сыне, вся погруженная в хлопоты по семье и хозяйству.

Но пришла весна, и боярыня вновь затосковала. Все чаще Вторка замечала, как она, будто потерянная, смотрит куда-то отрешенным взглядом. Ткачество забросила, пробовала вышить плат Ждановой невесте — и это оставила. Все валилось из рук. Казалось, зима вытянула из нее все жилы, и теперь Мякуша тихо угасала.

Вторка однажды подошла к ней, спросила:

— Меду не выпьешь ли, матушка? Или наливочки? Чтой-то ты совсем в кручине, прямо сердце кровью обливается.

Боярыня грубо ответила:

— Тебя не спросили! Иди вон за девками присмотри. Плохо они у тебя пшено перебирают, не следишь.

Ключница захлопала глазами, чувствуя обиду, однако перечить не посмела.

А Мякуша продолжала таять на глазах, особенно после того как приняла в свой дом невестку — Гордятову дочь. Боярыне бы радоваться, что не разорилось гнездо, живет и полнится жизнью, а она по целым дням сидела у оконца или на крыльце, лузгала семечки и читала шестоднев. Иногда покрикивала на сноху, учила ее уму-разуму, смотрела, чтоб любимому сыночку от супруги урону не было.

На русальи стало ей совсем немого. По улицам носили разукрашенное Троицыно дерево, за городом девки в венках водили хороводы,

люди поминали родных, а вдова, вместо того чтобы праздновать со всеми, сидела безвылазно в клетке и тихо лила слезы.

Вторка, заметив это, преодолела страх, вновь подступила к госпоже с заботливым вопросом — та хотела было огрызнуться, но вместо этого простонала:

— Ох, Вторушка, мочи моей нет — тоскую по сыну. Эвон у Гордята поминают, а мне все кажется, будто это по нем, Аниске моем, тризну справляют. Поеду к нему, в монастырь постригусь. Лишь бы видеть его вседневно.

Ключница так и запыхала хвостом:

— Да что ж ты такое говоришь, матушка? Заживо себя в обители похоронить — виданное ли дело? Это вон пускай сироты да убогие там от мира спасаются — тебе-то к чему? Скоро внуки пойдут, а ты — в монастырь. Окстись, матушка боярыня! Выпей квасу, заешь коржом. Глядишь, и отпустит. Он же, сынок твой, сам тебя прогнал, а ты ради него в черницы уйдешь? Да тьфу на него, неблагодарного! А коли и впрямь видеть его хочешь — так съезди в скит, потолкуй с ним, ежели не забыл еще мать в постеле да молитве...

— Цыц, глупая! — одернула ее Мякуша. — Много ты понимаешь! Иди вон лучше собери мне корзину в путь. Завтра же и отправлюсь.

— Ой-ой, покидаешь нас! — заголосила ключница, хватаясь за голову. ...Весть о том, что мать уезжает, поразила Жданку до глубины души. Все время окруженный ее заботой, он не мыслил себе жизни без матери. Та всегда была рядом, как солнце или земля. Хоть и знал, что рано или поздно она уйдет к предкам, да так далеко не заглядывал, жил сегодняшним днем.

Прибежал к матери, бросился в ноги, умолял не уезжать.

— Ничего, — утешала его Мякуша. — Вторка тебе поможет. Она баба оборотистая, с ней не пропадешь. А в селе Шульга подскажет. Выдюжишь, сынок. Не все же тебе за мамкин подол держаться!

— Как знаешь, — бурчал Жданка, успокаиваясь. — Вижу, Аниска тебе дороже меня. С ума по нем сходишь. А он-то и в ус не дует. Будто чужая ты ему. А мне за мою верность — такой вот подарочек? Ладно, бог с тобой. Обещай только не забывать нас там, в обители. А я к тебе за советом буду приезжать, гостинцы привозить...

— Ох, сынок, что ты говоришь-то! Оба вы мне дороги. Оба. Да только... Эх, что уж молвить-то! Ты-то устроен, а Аниска там один, среди чужих людей... Душа болит по нему. Не кори меня, сынок. Сердцу не прикажешь.

Полночи Мякуша, снедаемая волнением, бродила по избе, прощалась с домом. Брала то одну вещь, то другую, рассматривала их, точно грамотку от родных, ставила обратно. Открывала сундуки с одежей и украшениями, копалась там, раздумывая, что взять с собой, а что оставить сыну. Потом решила: «Возьму все. Жданке-то мое барахло без надобности. А мне — память». Наконец ближе к утру сморило ее, прикорнула на ложе не раздеваясь.

На следующий день сын с холопами проводил мать до пристани и посадил на варяжское судно, везшее в Киев княжьих людей с данью. Мякуша долго прощалась, захлебываясь слезами, благословляла Ждана и невестку,

заклинала рабов ходить в послушании у молодого господина. После, когда лодья отчалила, села, прислонясь спиной к набойным доскам, и принялась молиться. «Нет, не зря все было, — размышляла она. — Все ж таки отстояла вотчину, женила сына — чего ж еще? Пора и о душе подумать».

...Она плыла в Киев на встречу с неблагодарным отпрыском, не зная еще, не думая даже, что душа ее, полная суеверий и темных страстей, уже осенена ангельским крылом, ибо подвигом самоотречения искупила все грехи.

СЛОВАРЬ

- Березовица* — брага из березового сока.
Вервь — соседская община, объединенная круговой порукой.
Вертеп — пещера.
Верша — рыболовная ловушка.
Вира — штраф.
Горбуша — небольшая коса с короткой ручкой.
Градскóй — княжеский наместник в городе, городской тиун.
Громовик — разновидность берега.
Деревня — участок земли, очищенный от леса.
Детинец — крепость в городе, кремль.
Жуковина — блестящий камень или стекло в перстне.
Изограф — иконописец.
Кир — господин (*греч.*), обращение к мужчине.
Колыба — хижина.
Комоедицы, русальи — языческие праздники.
Куны — деньги.
Навьи — мертвецы.
Нозата — серебряная монета, 1/20 гривны.
Понёва — домотканая шерстяная юбка.
Поприще — мера длины, имеющая несколько значений; здесь: расстояние, проходимое пахарем от одного края поля до другого (около 750 метров).
Поруб — невысокий нижний этаж (обычно нежилой) деревянного дома.
Поставец — шкаф для посуды.
Прыщ горючий — сибирская язва.
Свита — распашная верхняя одежда.
Сочиво — блюдо из обваренной чечевицы с маковым или ореховым соком и медом.
Тиун — управляющий.
Торки, торчины — кочевой народ, вытесненный печенегами на Русь и осевший к югу от Киева.
Уборок — небольшая мера сыпучих тел.
Убус, рушник — разновидности полотенец.
Укрух — лопать.
Харатья — грамота, документ.
Черевья, поршни — кожаная обувь вроде галош.
Ясы — предки современных осетин.

Ганна ШЕВЧЕНКО

ВЕЧЕРНИЙ ГОРОД

* * *

Пыли дорожной нечистые танцы,
слева подсолнухи, справа картофель,
я позабыла название станций —
помнится шахты египетский профиль.
Помню, что воздух полынный был горек,
простыни в крошечке угольной пыли,
крышу сарая и маленький дворик,
где мы белье по субботам сушили.
Помню подвал и на полках — бутылки,
мусорник, старую каменоломню,
место роддома, который закрыли,
а вот причину рожденья — не помню.
Помню в окне своего кабинета
обруч копра, исполняющий сальто,
щелкали счеты, вращалась планета,
и не сходилось конечное сальдо.
Дальнее время, начало начала,
стертые знаки забытого мига,
необратимость того, что умчалось,
но отразилось в бухгалтерской книге.
Так и живу по привычке, иначе
мир не докажет свое постоянство.
Все мы наполнены космосом, значит,
я говорю не в пустое пространство.

* * *

Дуреет город от духоты,
а в сквере, в его тиши,
стоит скамейка у той черты,
где видно, как хороши
ее металлические бока
и крашеная ламель,
и я на ней посижу, пока
солнце идет на мель.



Вечерний город похож на труп —
не дышит. Но голосит
над ним завод. Из кирпичных труб
сыпется диоксид.
Вечерний город велик, могуч.
Медлительный самолет
летит туда, где обломки туч
сгрудились в кислород.

А я сижу. От чужой ходьбы
город истоптан весь,
и думаю: «Боже, что, если бы
скамейки не было здесь?»
Возможно, тут же до темноты
калужниц расставил строй
закон замещения красоты
правильной красотой.

Спокоен город в яслях своих,
деревья стоят кругом,
дымятся сумерки, будто их
гладили утюгом.
Иду домой. По бокам — кювет,
вымощенный внутри,
и стелют под ноги рваный свет
первые фонари.

* * *

Небо из пропилена, травы из ковролина,
солнце течет акрилом сквозь бледноватый смог,
но к каблукам все так же липнет живая глина,
и рисовал округу, кажется, сам Ван Гог.

Здесь, у подъездов справа, вывеска «Бизнес-ланчи»,
там, на парковке слева, «опель» стоит, разбит,
вшить бы себе в петлицу сорванный одуванчик,
взять бы себе машину и не платить кредит.

Слава всем утонувшим в безднах, на дне кварталов,
всем, получившим ордер, въехавшим в этот мрак,
воздух ножом разрезан, чтобы на всех хватало —
здесь зародилось время с меткою «Доширак».

Солнце уходит в космос. Спи, мой район убогий
менеджеров, кассиров, клинеров, поваров;
боги возвращают Землю с помощью технологий,
вертятся шестеренки пластиковых дворов.

* * *

Главной улице впору
новогодний размах —
и гирлянды на шторах,
и огни на домах.

Праздник куплен в рассрочку,
но теперь посмотри,
как бредет оболочка
без подсветки внутри.

Прохождение ступенек,
продолжение житья —
посмотри, современник,
это, может быть, я

или ты. Нереально
в темноте различить,
кто сейчас из кармана
извлекает ключи.

* * *

Чем время быстрее и выше,
тем крепче его стропила —
жила под дырявой крышей,
своих двойников губила,
стало быть, отрицанье
себя — это все, что было.

Луна выдает мерцаньем
присутствие в медных жилах,
и если она реальна,
то, значит, на самом деле,
я в мире индустриальном
рождалась, потом седела,
о будничном чем-то грезя.

Опомнилась — это повод
признаться, что ночь в разрезе
похожа на голый провод.

* * *

В индустрии погоды рогожа
производится, город рядя,
потому и платформа похожа
на станок для плетенья дождя.

Колокольню и неоднозначно
бухнут выстрелы точных зонтов,
и вплетаются в полупрозрачность
горожане любых возрастов.

А с изнанки, у входа, под крышей,
смотрит в ливень промокший народ,
громоздятся, кто ниже, кто выше,
и в молчании пьют кислород.

Лишь, в волокнах увязший по пояс,
дух железнодорожной сети
повторяет: «Внимание: поезд
на Москву по второму пути».

* * *

У машин золотые глаза
и четыре железных крыла —
я сегодня хочу рассказать,
как по городу зимнему шла.

Я ступала, и огненный след
дорастал до плеча моего,
мне казалось, что города нет
и что я сочинила его.

Я взлетала и видела дом,
этажи и последний пролет,
но под ноги ложились потом
мокрый снег и подтаявший лед.

Обгоняли меня ходоки,
выдувая бесформенный пар,
перламутром цвели огоньки
в сердцевинах несущихся фар.

И посылшался в синей тиши
звук, похожий на шелест весла, —
это мать, сторонясь от машин,
по дороге коляску везла.



* * *

Не так уж много нужно человеку:
квартира, чайник, быстрый Интернет.
В конце зимы достроили аптеку
и сдвинули к палаткам турникет.
Хандра, простуды, авитаминозы —
нам обещали наморозь. Когда
явился март, исполнились прогнозы,
на город опустились холода.
Мы той весной на доли раздробили
привычный быт — внезапно разошлись.
Ругались, ненавидели, грубили,
винили, ненавидели, дрались.
Обида нас на части разрывала,
качала на невидимых весах,
мы были отраженьем коленвала,
вращавшегося где-то в небесах.
А в остальном привычная картина:
месил уборщик снежное желе,
стояла у обочины машина,
бежал сосед домой навеселе,
закат сливался с крышами у кромки,
мгновенно дочка выросла из брюк,
и самолет, медлительный и громкий,
летел из Домодедова на юг.

* * *

Слоняясь по жизни, по тесным квартирам,
таская грешки в багаже,
себя как предмет наблюдений за миром
рассматривать скучно уже.

А дождь интересно рассматривать. Выйдешь,
бывает, и смотришь на дождь,
туда, где водою содеянный кипеж
не выстелешь, не зачерпнешь.

Забуться бы напрочь, предаться бы лени,
все листики перелистать,
зарыться бы носом в охапку сирени
и розовым воздухом стать.

Валерий КОПНИНОВ

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Р а с с к а з

На грядущее утро, очевидно, не очень-то рассчитывая на будильник, Иванов выкрутил регулятор громкости проводного радио на полную, до упора. Метод, испытанный не единожды. В шесть часов радио заиграет на кухне гимн Советского Союза и разбудит не хуже любого звонка. А встать Иванову нужно было как раз в шесть, и то, что под гимн, — даже лучше.

Завтрашний день был не простой — праздничный! В песнях и стихах отмеченный.

День Седьмого ноября —
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно!

Ну и так далее...

И в урочный час, как и задумывалось, под смешанный хор, торжественно доводящий до сведения граждан огромной страны, что «союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», Иванов, и в самом деле, почти проснулся. Вернее, проснулся на короткое время, но был не в силах сразу же вернуться в активный жизненный процесс, который требует от человека немедленных затрат — как физических, так и душевных.

«Вот сейчас досчитаю до пятидесяти, — безвольно зашевелилась мысль в голове Иванова, — и встану». На первом десятке счета на его лице блуждающими морщинками еще отражалась работа мозга, затем морщинки разгладились, чело прояснилось, и на цифре пятнадцать он снова заснул и даже захрапел, так как лег не очень удобно, пытаюсь в момент кратковременного пробуждения подготовить тело для вставания.

Людей, с легким сердцем уходящих из мира реальности в область неконтролируемого подсознания, природа часто одаривает снами. Иванов не стал исключением. Ему приснилось море, бескрайнее от горизонта до горизонта. А он — посередине, на дефицитном надувном матрасе. И хотя Иванов ни разу на море не был, ему показалось, что он находится в своей стихии.

Но вот сама стихия, невзирая на симпатию со стороны спящего, была неласкова и весьма ощутимо раскачивала надувной матрас с распростертым

телом. Несмотря на изысканно-оранжевое солнце и безупречно-голубое небо, волнующаяся под Ивановым морская гладь по цвету сильно напоминала свежесвыбритые щеки Максима Максимовича Федяева — начальника отдела финансового планирования при КБ научно-производственного предприятия АНИТИМ (отдела, где наш герой сознательно трудился уже почти что десяток лет, по мере способностей как раз и сопрягая науку с производством), а начальника своего Иванов крепко уважал и, пожалуй, даже немного побаивался.

Блаженно потянувшись на плывущем матрасе, Иванов проследил за стайкой серебристых рыбок и с ужасом обнаружил, что на приличной глубине, в синеватых, как щеки упомянутого выше Федяева, водах, в полном составе собрались его коллеги, чтобы приступить к ежедневной работе. А его пустующий стул практически покрывался льдом под холодным взглядом руководства.

Ни закричать, ни позвонить, ни тем более нырнуть...

От группы сослуживцев отделилась какая-то смутная фигура, и по мере приближения Иванов начал узнавать в ней вахтершу тетю Пашу. Она загребала роскошным русалочьим хвостом, каковым ранее не обладала, да и все остальное в ней было иное: покатые бедра, небольшая крепкая грудь образцового рельефа, обширно открывающаяся под очень даже откровенным декольте, волосы, выющиеся порочными цыганскими прядями, — все это в совокупности заставило его как следует вспотеть от невероятно смелых эротических предположений, которые прервала сама же тетя Паша, вдруг заговорив красивым мужским баритоном:

— Московское время — четыре часа!

И от тех слов Иванов проснулся почти полноценно.

Радио всю голосило, сбиваясь порою на песни. Диктор, возбужденный немного больше обычного, вклиниваясь между «Встречным маршем» и «Смело, товарищи, в ногу», рассказывал нечто позитивное, призывая в союзники то газету «Правда», то последнюю сессию Верховного Совета.

И после диктора — снова революционные песни! Одна другой боевитее. Иванов в полудреме заслушался даже... «Мама дорогая, праздник-то уже идет! — вдруг резко, как шприц медсестры из районной поликлиники, кольнула мысль, на этот раз пробуждая его окончательно. — Демонстрация, а я сплю!»

Сердце бешено заколотилось от ужаса. Ему показалось, что вся страна с надувными шариками и портретами лидеров партии и государства в руках празднично шествует по своим центральным улицам и площадям и только он один посреди земель необъятной Родины лежит на своем стареньком диване, можно сказать, на обочине истории.

«Так, так, так... — откидывая одеяло, начал рассуждать Иванов, — тетя Паша объявила, что в Москве четыре часа. Значит, у нас — восемь!» Он быстро вскочил и побежал в ванную, придерживая на бегу вместительные трусы пятьдесят четвертого размера, на коих по задорному зеленому полю были симметрично расположены алые розы. Выдавлив схватившуюся как камень зубную пасту «Жемчуг» на щетку, Иванов стал торопливо чистить зубы, подгоняя себя песенкой: «Фа-фу-фо фе-фа-фэф фа-фа-



фоф...», что без щетки, скорее всего, означало: «Нас утро встречает прохладой...»

Через пятнадцать минут он стоял в прихожей, одетый в темно-серый мешковатый костюм (практически все, что осталось ему от неудавшейся семейной жизни), и с некоторым удовольствием наблюдал свое еще не старое и не располневшее от сидячей работы отражение. Кроме самого Иванова зеркало скрытно отразило, но при этом деликатно не выдало пару маленьких тайн, состоящих из десяти рублей, загодя припрятанных в левом внутреннем кармане пиджака (на всякий пожарный случай), и завернутой в газетку бутылочки «Пшеничной».

Заговорщически подмигнув самому себе, Иванов продолжил сборы. «Эх, ботинки не почистил, — запоздало спохватился он, торопливо завязывая шнурки. — Ну ладно, где-нибудь снежком потру...» Демисезонное пальто и кроличья шапка-ушанка завершили гардероб: денек, судя по мельтешащей за окном снежной крупе, обещал быть холодным.

Он выскочил на площадку и захлопнул за собой дверь. Дверь глухо стукнула, и звук, отраженный унылыми стенами, выкрашенными синей краской, одиноко метнулся в общей тишине подъезда, как запоздалый шлепок аплодисментов.

Минут через двадцать, серьезно помятый в битком набитом салоне трамвая № 8, Иванов выбрался на белый свет из новенькой краснобокой «Татры» на остановке «Северо-Западная». Дальше нужно было идти пешкодралом по проспекту Ленина в направлении площади Октября, потому как транспорт в ту сторону по случаю праздничной демонстрации не следовал.

По проезжей части проспекта плавно двигались еще нестройные и разномастные колонны, основой которых являлись тематически украшенные грузовики. Одна из машин была с фанерной ракетой, устремленной в космос, другая — с объемными буквами «Слава КПСС», третья — с орденами комсомола высотой почти в человеческий рост... Был еще такой автомобиль, где на фоне сильно уменьшенного Зимнего дворца солдаты, матросы и вооруженный пролетариат сидели, свесив ноги с платформы, видимо в ожидании сигнала, чтобы перед «правительственной» трибуной этот маленький Зимний дворец окончательно отбить у буржуев и помещиков.

Снежная крупа, та, что приметилась Иванову еще из окна дома, время от времени крепла совсем настоящими хлопьями снега. А снег, невольно чертя под ощутимым ветром кривую траекторию, падал под ноги идущих людей и, затоптанный массами, нехотя таял, превращаясь в кашу. Разноцветное буйство шаров, флагов и другой праздничной атрибутики заметно прибавляло в яркости на фоне плотно летящего снега.

Но снеговая интервенция стихла так же быстро, как и началась. Иванов к тому моменту добрался до ДК «Сибэнергомаш», Дворца котельщиков проще говоря, площадку перед которым густо украсили красные флаги, вставленные в металлические стойки, сваренные из труб. Да и сам ДК был гармонично увенчан портретами родоначальников мировой революции — Маркса, Энгельса и Ленина, дружно смотрящих куда-то в сторону (очевидно, в место расположения коммунизма), и еще транспарантом,

художественно выполненным на широкой полосе кумачовой ткани и гласившим: «Котлостроители Барнаула, посвятим свой ударный труд Великой Октябрьской социалистической революции!»

Бумкнул басовый барабан, звякнули медные тарелки, и на крыльце ДК появились музыканты духового оркестра. Оркестр быстренько распределился на ступеньках и, повинуясь энергичной жестикуляции дирижера, грянул марш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Иванов, под воздействием оркестра невольно перейдя на маршевый шаг, двигался в колонне улыбающихся людей и сам чувствовал, что и с его лица не сходит улыбка. Вряд ли он смог бы объяснить это ощущение какого-то особенного, радостного единения не только с теми, кто шагал рядом, а фактически со всей страной и еще с зарубежными странами, выбравшими социалистический путь развития. Да он и не задумывался никогда над этими «что?» да «почему?» — просто принял в себя, и все. Так сложилось еще в детстве, наверное со строчек стихотворения: «Я поведу тебя в музей! — сказала мне сестра», заученных во втором классе.

...Октябрь! Навеки свергли власть
 Буржуев и дворян.
 Так в Октябре мечта сбылась
 Рабочих и крестьян...

А может быть, с чего-то более раннего.

Но тут иное... Нет, с точки зрения истории все было понятно: выстрел «Авроры», конечно же штурм Зимнего дворца, потом триумфальное шествие советской власти, лампочка Ильича... Это да. Но именно единение людей было в празднике главным!

Однажды, когда Иванов еще учился в школе, их 8-й «в» должен был первый раз в составе школьной колонны пойти на ноябрьскую демонстрацию, а он накануне допоздна болтался с друзьями по своему райончику и, неосторожно поскользнувшись на окрепшем к ночи снежку, подвигнул ногу. Приковыляв утром к школе, он отпросился у классной руководительницы, по-честному ссылаясь на хромоту, и был с демонстрации отпущен домой. Однако, оставшись в одиночестве, с возникшей вдруг тоской наблюдая спины уходящих одноклассников, Иванов не выдержал и, прихрамывая, заторопился следом. Видимо, тогда он впервые уловил это сладкое чувство единения и не захотел его ни на что менять. Зачем лишаться того, что приносит радость?

...В восторженном блаженстве Иванов миновал уходящую вправо улицу Матросова, пятнистую от мокрого снега коробку Дома быта на четной стороне Ленинского и вышел на мост перед Новым рынком. Внизу грациозно, как большая зеленая змея, подтягивалась к остановке электричка. А через минуту из ее распахнувшихся дверей повалил приехавший из пригородов народ — рабочие барнаульских заводов, тоже спешащие на демонстрацию.

Спустившись с моста, Иванов прибавил шагу: уже где-то рядом должны были располагаться его коллеги по отделу финансового планирования при КБ научно-производственного предприятия АНИТИМ.



Он быстро разыскал своих и несколько минут до изнеможения жал руки, автоматически повторяя всеобъемлющую фразу: «Спасибо, и тебя (вас) с праздником!»

Затем, собрав всю волю в кулак, он поймал руководящую руку Федяева и долго ее тряс, в самых высокопарных выражениях признаваясь в искренней привязанности к их отделу (возглавляемому Федяевым) вообще и к самому Федяеву в частности. Начальник тоже отозвался в адрес Иванова встречным комплиментом. Обмен любезностями мог затянуться до неприличия, но его за рукав увел Мишка Кукушкин — коллега, друг, отец трех дочерей, выпивоха и неисправимый бабник.

— Здорово! — проорал Мишка, перекрикивая громкую «Каховку» в исполнении старающегося всю баяниста и косясь на газетный цилиндр, зажатый в правой руке товарища. — С праздником тебя, с Октябрем!

— Спасибо, и тебя с праздником! — все еще блаженно улыбаясь, отозвался Иванов.

— Что это у тебя? — процедил Мишка, вопросительно щелкнув по газете, давая понять, что и в тесном дружеском коллективе конспирация в некоторых вопросах не может быть излишней.

— Свежая пресса! — многозначительно ответил Иванов.

— Это правильно! — подытожил Миша. — Без прессы в современном мире никуда! Пойдем ознакомимся с передовицей и обсудим в узком кругу.

Глаза друга красиво горели, и он, не ожидая ответа, увлек Иванова в ближайший дворик, где вольготно расположились три розовых трехэтажных домика, дающих начало так называемому «Еврейскому кварталу». Не задерживаясь во дворе, они направились внутрь крайнего дома, стоящего к остальным перпендикулярно.

В подъезде, который облюбовал Мишка, народу оказалось не меньше, чем на улице. По крайней мере, такое создавалось впечатление. На площадке между первым и вторым этажами большая группа мужчин, увешанная лентами и медалями, в уютном окружении бархатных знамен пила армянский коньяк и заедала его пирожками.

Выше, на втором этаже, Мишку (с признаками явного нетерпения на лице) дожидались его друзья, сервировавшие аккуратно покрытый газетой подоконник парочкой плавяных сырков «Дружба», тремя бумажными стаканчиками и традиционной в среднеинтеллигентских кругах бутылочкой «Пшеничной». Судя по всему, то, что Иванов называл «прессой», находилось уже в приличной стадии прочтения, и бутылочка самого Иванова оказалась, как говорится, кстати, вызвав оживление в рядах.

Сразу разлили и выпили за праздник Октября. Мишка, за неимением четвертого стакана, добродушно согласился хлебнуть «из горла». Иванов вытер слезы, выдавленные из него ста пятьюдесятью граммами водки, и огляделся.

Немного повыше хозяйничали спортсмены в синих болоньевых костюмах, на которые они то и дело проливали пиво, потому что пили его по очереди прямо из двадцатилитровой капроновой канистры. Закусывали

вяленой килькой, глотая ее целиком, вместе с головой и хвостом. На самой верхней площадке расположились студенты. Те пили что-то невразумительное, ничем не закусывали и время от времени парни звучно целовались с девчонками, очевидно разминаясь перед предстоящим вечером.

Между этажами курсировала бабушка, «посланец божий». На спине у бабули располагался внушительный рюкзак, на лямках штормовке угадывалась надпись: «Стройотряд “Сударушка” — 1978». В одной руке она держала пирамидку бумажных стаканчиков, в другой — зеленую эмалированную тарелку, где аппетитно возлежали пирожки с луком и яйцами домашнего приготовления. В ее необъятном рюкзаке позвякивала законная добыча — опустошенные более ранними демонстрантами бутылки, в краткосрочной перспективе готовые стать для бабушки доходом, в размере двенадцати копеек за штуку, в приемном пункте стеклотары.

Разговоры, как и бабушка, на все этажи распространялись одни и те же — о политике. И даже тосты звучали с политически грамотной окраской, наподобие: «Ну, выпьем за явное преимущество социализма над капитализмом!»

«Эх, не можем мы даже в праздник отвлечься!» — подумал Иванов и только открыл рот, чтобы в русле разговора покатить бочку на Рейгана, как внизу открылась дверь и кто-то крикнул:

— Пошли, товарищи!

— Товарищи, пошли! Пошли!.. — загомонили все сверху донизу.

— Смело, товарищи, в ногу! — вывел Мишка, устанавливая во внутренний карман бутылку с остатками «Пшеничной».

Песню тут же подхватили, она зазвучала на всех этажах, и обитатели подъезда, закручиваясь в воронку на лестничных пролетах, стекли с шумом вниз, как стекает вода после дерганья за веревочку.

...Духом окрепнем в борьбе,
 В царство свободы дорогу
 Грудью проложим себе...

Оставшаяся бабушка, ошеломленная таким энтузиазмом, перекрестила дверь, закрывшуюся за народными массами, потом перекрестила себя и продолжила собирать пустые бутылки.

...Вышли мы все из народа,
 Дети семьи трудовой.
 «Братский союз и свобода» —
 Вот наш девиз боевой!

Толпа вывалилась во двор, и спортсмены, одолевшие канистру в двадцать литров и жаждущие от лишней жидкости избавиться, сразу выстроились в ярко-синюю нарядную шеренгу вдоль гаражей. К ним двинулся и Мишка, на ходу распуская ремень.

Иванов немного замешкался, сознавая неловкость ситуации, однако затем, решив, что на центральной улице это сделать будет еще труднее,

прилепился к одиноко стоящему дереву, всем видом стараясь показать, что он внимательно рассматривает изысканный рисунок коры.

Проходящая дамочка отшатнулась, и от вдарившего по ушам женского визга ему вдруг пришла в голову уже несколько кособокая хмельная мысль, что мир все-таки делится на мужчин и женщин. Он от мысли этой сконфузился, но, так как остановить процесс уже не мог, еще плотнее, насколько это было возможно, прижался к дереву, выразительно намекая гражданке на ее неделикатное поведение.

В это время колонна двинулась. Иванов, на ходу застегивая брюки, бросился бежать, стараясь не упустить из виду широкую Мишкину спину. Влившись вместе с сослуживцами в праздничную колонну, постоянно сбивающуюся с ритма и по каким-то неизвестным причинам то идущую скорым шагом, а то по-цыплячьи семенящую, Иванов пересек площадь Октября. И, находясь там, внутри колонны, направляющейся к площади Советов — главной точке торжественного шествия, он невольно почувствовал невероятный восторг, распирающий его изнутри, и еще гордость за себя и свой народ.

Ему сунули в руки древко, и он, решив, что держит знамя, уверенно поднял его над головой и устремился вперед, справедливо считая, что со знаменем нужно быть в авангарде. Так он, пожалуй, и ушел бы на командирское место, но что-то его удерживало, не давая возглавить шествие. Поборовшись с невидимым противником какое-то время, Иванов осмотрелся и понял, что несет не знамя, а только правую часть большого транспаранта. Получалось, что он и неведомый ему сотоварищ, находящийся на другой стороне колонны, несут вместе какую-то умную мысль, выведенную белой краской на кумаче.

«Вот как нужно, — застыдился Иванов своего нескромного поведения, — не рваться вперед, а вместе с кем-то, по-братски, в одном строю, общими усилиями...» Ему так и не удалось окончательно выразить мысль внутри себя, зато очень захотелось узнать, какую мысль он выражал снаружи, то есть что он нес на праздничном полотнище. Иванов снова попытался забежать вперед, чтобы прочитать надпись, однако далеко забежать не смог и разобрал только начало фразы: «Экономика должна быть...» С этим утверждением он, в принципе, был согласен.

— Слава работникам советской науки! — зычным баритоном крикнул динамик, и все ответили дружно, на длинном выдохе:

— Ур-р-ра-а-а-а!

Иванов, замешкавшись, подхватить не успел, поэтому повернулся туда, где только что призывно звучал голос, в надежде услышать что-то еще и увидел трибуну, на которой стояло все городское и краевое начальство и приветливо махало рукой как будто лично Иванову.

«Какие милые, заботливые лица», — подумал он, и комок умиления неожиданно подступил к горлу. Ему хотелось крикнуть трибуне: «Товарищи, экономика должна быть...», но он не мог: во-первых, из-за комка в горле, а во-вторых, он не знал, чем заканчивается надпись на лозунге, а кричать про экономику не всё посчитал неудобным.



Прошли трибуну. Самый важный момент в демонстрации завершился. Люди понемногу освобождались от маршевого возбуждения, хотя по инерции продолжали идти рядами по восемь человек, желая продлить еще немного свое счастливое состояние.

Потом, постепенно, небольшими группами и поодиночке, в разрывы между милиционерами оцепления, колонна начала распадаться. Федяев, окруженный сподвижниками из руководства КБ, свернул на Димитрова у ЦУМа, сослуживцы растворялись во дворах, и даже Мишка как сквозь землю провалился. И вот уже буквально через квартал Иванов оказался в разреженном окружении напирающих сзади незнакомых людей, видимо с других предприятий, тоже спешно покидающих колонну в разных направлениях.

Гул маршей и зычные голоса дикторов понемногу стихали, и он вдруг разобрал, что его преследует какое-то размеренное шуршание. Обернувшись, увидел волочащуюся за ним левую часть транспаранта, уже успевшую нацеплять на себя грязи. Тот неведомый Иванову сотоварищ, с которым он в мыслях духовно породнился, по какой-то причине больше не разделял ответственности за общее дело, за общую для них экономику.

Иванов, в расчете на добрых людей из городских служб, аккуратно наматал полотнище на рукоятки, прислонил транспарант к телефону-автомату с выбитыми стеклами, а затем, свернув с проспекта Ленина, отправился в обратный путь — домой. Пройдя метров сто, он вспомнил, что так и не прочитал второй половины лозунга, а значит, и не узнал, какой же должна быть экономика. Эта мысль на секунду заставила его остановиться, но возвращаться не хотелось и, недолго поколебавшись, он двинулся дальше.

Прямой и широкий Комсомольский проспект продувал довольно-таки студеный ветерок, легонько подгоняя Иванова в спину. Он опустил уши у кроличьей шапки, поднял воротник пальто, натянул теплые перчатки и, довольный тем, что погода, а вернее говоря непогода, не застала его врасплох, пошагал в заданном направлении.

По пути Иванову то и дело встречались радостные люди: некоторые обгоняли его, другие двигались навстречу. И настроение у него присутствовало под стать настроению коллективному. Тем более что вот уже целых пять минут он шел по пятам миловидной девушки, не обращая внимания на снеговую кашу, что на этой, теневой стороне Комсомольского лежала на асфальте в большом количестве.

Он сразу выделил эту девушку из толпы прохожих по броской манере одеваться. Действительно, своим внешним ярким видом она сильно напоминала детскую карусель в летнем парке отдыха. И душа Иванова, жаждущая продолжения яркого праздничного действия, невольно потянулась к этому воплощению всех цветов радуги в девичьем обличье.

Несмотря на то что Иванов тщательно повторял все повороты маршрута незнакомки, в нем зрело опасение потерять ее из виду или каким-нибудь иным образом лишиться ее ненавязчивого, им придуманного общества. И в самом деле, вскоре девушка свернула на улицу Советскую и, немного не доходя до магазина «Детский мир», вошла во двор, раскинутый меж просторно стоящих пятиэтажек.



Он бросился ей практически наперерез и, не зная, как начать разговор, немножко помялся, а затем глупо пробормотал:

— Вы не подскажите, какое сейчас... время в Москве? — И тут же осекся, вспомнив утренний сон, прервавшийся на эротических мечтаниях как раз объявлением московского времени.

Девушка молчала, с плохо скрытой неприязнью рассматривая Иванова.

Ситуация становилась нелепой. Иванов разом взмок, и в его голове прошмыгнула мысль, неведомым образом туда попавшая: «А Фрейд, оказывается, не такой уж и дурак», хотя Фрейда он отродясь не читал и поэтому считать его умным или каким-нибудь иным не имел оснований.

Пауза затягивалась, незадачливый кавалер в глубине души понимал, что все пропало, что сейчас она обойдет его как ничего не значащий объект и исчезнет в подъезде пятиэтажки, но девушка вдруг расплылась в улыбке и неожиданно спросила:

— Ой, а вы меня не узнаете?

— Нет, — уже тихонько радуясь, ответил Иванов.

— А я вас — да! Вы Виталий Павлович Иванов!

Быстро выяснилось, что в прошлом году девушка (ее звали Олей) была на практике вместе с сокурсниками, студентами политеха, в отделе КБ, где двигал науку Иванов, и он даже читал им познавательную лекцию о методах научного планирования. В дальнейшем разговоре стало очевидным немаловажное обстоятельство: им обоим необходимо было пристроить себя на сегодняшний вечер, и Оля предложила Виталию Павловичу (нет-нет, какие могут быть отчества — для вас просто Виталий!), то есть Виталию, пойти к ее друзьям, которые как раз и живут в этом доме, а зовут их Гена и Света, на самом деле живет здесь только Света, а Гена — ее друг (ну, вы понимаете!), у него с женой все плохо, а Света его любит, и они тайно встречаются (ой-ой, только никому, пожалуйста, никому).

— Так что будет две дружеские пары! — несколько игриво заключила Оля, беря Иванова под руку, отчего забытый им холодок волнения, что случается от доверительного касания женщиной мужчины, пробежал по позвоночнику, расшатывая каждый позвонок и создавая угрозу обрушения скелета Иванова к Олиным ногам.

И он пошел без всякого сопротивления. И даже наоборот...

Поднявшись на третий этаж, они, уже как старые добрые знакомые, заговорщически подмигнули друг другу, и Оля нажала кнопку звонка. Ожидаемый звонок не последовал. Повторное нажатие и еще одно тоже результата не возымели. Тогда Иванов попробовал постучать, но дверь оказалась незапертой.

В узеньком коридоре хрущевки они сразу же наткнулись на хозяев квартиры. Гена хмуро выставлял из спортивной сумки бутылки сухого вина ркацителю и, проклиная всех и вся, сетовал на то, что народ, дескать, стал слишком подвержен влиянию крепких алкогольных напитков и в связи с революционными праздниками (уже не в первый раз!) водку в магазинах купить невозможно, поэтому пришлось брать эту «кислую мочу». Услышав грубое слово, дамы хихикнули, а затем, просмеявшись, Света сказала, что,

рассчитывая на водку, готовила соответствующую закуску и теперь с вином придется сочетать копченое сало, вареную картошку и маринованные помидоры.

— Главное — хорошая компания, а в остальном разберемся! — философски рассудил Иванов, давая понять, что все они, тут собравшиеся, по большому счету люди простые и неискушенные.

Сказал и сам себе удивился, как это у него получилось — спокойно, убедительно. И это с людьми, о существовании которых он еще десять минут назад и не подозревал. Однако Иванову здесь было легко, ему представлялся чудесный вечер, и он, скосив глаза, быстро пересчитал выставленные Геной бутылки сухого вина. Бутылок оказалось двадцать штук.

Оля представила Иванова как старого знакомого (не такой уж я и старый, резонно подумал он, но, понятное дело, промолчал), и девушки убежали на кухню. Как только за ними закрылась кухонная дверь, Гена предложил новому товарищу выйти на балкон покурить. На балконе он достал из кармана неочищенную луковицу и плоский пузырек.

Иванов вопросительным взглядом посмотрел сначала на пузырек, а потом на Гену.

— Спирт! — объяснил тот. — Вино еще успеется, пусть его бабы пьют, а мне от него ни в голове, ни в...

Договорить Гена не успел, потому что, жестикулируя, резко поднял руку (очевидно, желая показать, где у него голова и где все остальное) и выпустил из пальцев скользкую луковицу, которая, совершив непродолжительный дугообразный полет, глухо шлепнулась в кучу рыхлого снега, наметенного перед подъездом.

— Придется без закуски, — на выдохе сказал Гена и сделал большой глоток.

Затем он приложил к носу свой внушительный кулак, сложенный в кукиш, и шумно втянул в себя воздух.

Иванов пить опасался (не было у него никакого опыта употребления неразведенного спирта, даже в теории), но отказаться — значит ударить в грязь лицом перед новым знакомым. Выдохнув так же, как только что выдохнул Гена, он сделал глоток и...

Мама дорогая, роди меня обратно! Ему показалось, что огненный шар прокатился по горлу вниз, оставляя после себя жжение и засуху. Воздух весь куда-то вышел, а глаза склеились от брызнувших слез. Когда зрение частично вернулось, он увидел маячивший перед ним большой Генин кукиш и жадно припал к нему носом. Шибануло резким луковым запахом, но потом полегчало и даже как-то стало веселее.

— Молоток! — одобрил товарищ, допивая остатки из пузырька.

В это время их позвали, и они шагнули с балкона в комнату. Стол был накрыт, фужеры расставлены, закуски разложены, и женщины, тщательно поправившие праздничный макияж, в совокупности со столом производили неплохое впечатление.

По телевизору как раз началась трансляция демонстрации на Красной площади. Коренные москвичи и гости столицы шли мимо Мавзолея Ленина, где на правительственной трибуне стоял Генеральный секретарь



ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и другие видные члены Политбюро и ЦК.

— Слава советскому народу, народу-труженику, народу-созидателю! Ура, товарищи! — торжественно продекламировал диктор, и над Красной площадью разнеслось дружное «ур-ра-а-а!», а Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и другие видные члены Политбюро и ЦК приветливо помахали с трибуны всей огромной стране — СССР.

«Какие милые, заботливые лица!» — по хорошо накатанному маршруту нынешнего дня пошла у Иванова сентиментальная мысль, но далеко не дошла, так как Света пригласила всех к столу, обещая легкую выпивку, скромную закуску и другие приятные вещи.

— Действительно, легкая выпивка, — подхватил Гена, — всего по пять бутылок на брата!

— А если быть точным, то по пять бутылок на брата и по пять на сестру! — влез со своим замечанием Иванов, дивясь невероятной легкости мыслей в голове, и легкость эта, постепенно становясь простой легкомысленностью, заслоняла все, и даже некоторые признаки тошноты, тихо щекотавшей горло с момента недавнего алкогольного приключения на балконе.

Гена не сразу понял шутку про сестер, после, с трудом доперев, долго хохотал, расплескивая вино из фужера на окружающих. Впрочем, весело было всем, и вечер развивался по вполне понятным законам. И тосты следовали один за другим...

— Предлагаю выпить, — загорячился Иванов, когда до него дошла очередь произносить тост, — за взятие Зимнего дворца! Хотя неизвестно, что сложнее — идти на приступ царских апартаментов или на штурм умной, гордой и неприступной женщины!

— А на кой ляд нам такие? — резонно спросил Гена. — Пусть особо умные, а тем более гордые и неприступные, дома сидят!

— Ой, а вы знаете, — закричала Света, — что никакого штурма Зимнего дворца не было! Его для кино придумал режиссер Эйзенштейн!

— Ну... — не согласился со Светой Иванов, — это спорный вопрос! Есть очевидцы, которые утверждают...

— Так это что? — заржал Гена. — С Зимним вся фигня была для кино? Типа: «Казань брал, Астрахань брал, а Шпака не брал!»

Иванов тоже где-то слышал краем уха байки на эту тему. И у себя на работе тоже. Была у них в КБ пара-тройка диссидентствующих мэнэ-эсов, что втихушку Булгакова копировали, роман «Мастер и Маргарита», про Солженицына рассуждали, говорят, что и «Голос Америки» слушали. Видимо, оттуда, с этих «голосов», и шли подобные слухи про исторические ляпы, но сам Иванов считал иначе. Потому что в его семье все верили в штурм Зимнего дворца, и в школе, где он учился, тоже, и в институте все знали... Да все про Зимний знали, все! А обмануть всех сразу — это же невозможно...

— Давайте выпьем за присутствующих здесь прекрасных дам! Мужчины пьют стоя! — дипломатично уклонился он от продолжения разговора на скользкую тему.

И как только компания в очередной раз осушила бокалы, Света выключила у телевизора звук, где симфоническим оркестром начался праздничный концерт, и врубила кассету с «Boney M»:

...Ra-Ra-Rasputin,
 Lover of the Russian queen...

Под это дело засидевшаяся за столом компания решила взбодриться и потанцевать. Иванов, не готовый еще к сближению, старался скрыть смущение за активностью и, не очень четко попадая в ритм, пытался изобразить то шейк, то упомянутый в песне казачок, однако Оля, словно уловив в универсальном стиле диско лирическую тему, в какой-то момент притянула его к себе, обняла, положила голову Иванову на плечо, и тот сдался.

Нужно заметить, что пустых бутылок к тому времени стало уже больше, чем полных, и, видимо, поэтому Иванов неожиданно почувствовал прилив огромной нежности к своим новым друзьям. Даже Гена перестал казаться ему мрачным и грубоватым. Он вдруг увидел в нем милейшего, немножко невезучего парня, которого замучил семейный быт, и как раз поэтому Гене приходится временами убегать сюда, к одинокой и по-своему несчастной женщине, чтобы найти здесь нечто вроде отдушины. И даже к Гениной жене, неизвестно как встречающей сейчас праздник, заочно он испытывал любовь и сочувствие.

— Ты пойми, Генка, ей ведь тоже не сладко! — пытался он втолковать, но сбивался с мысли и только с добродушной укоризной повторял: — Дурак ты, Генка! А дай-ка я тебя поцелую!

Этот призыв вызвал истерический хохот у обеих девушек, чуть погодя вдогонку заржал и Гена, загодя поставив фужер с вином на краешек стола, чтобы никого не облить, и в итоге, размахивая руками в конвульсиях от смеха, все-таки умудрился опрокинуть этот фужер себе на брюки. Затем Гена со Светой, предварительно посыпав (на предварительно снятых с Гены штанах) пятно от вина солью, отправились то ли что-то сушить, то ли что-то гладить и долго не возвращались, а Иванов вдруг обнаружил Олю сидящей у него на коленях.

Его красноречивый рассказ о перспективах научного планирования, возникший по инициативе Иванова, похоже, в память той лекции, что судьбоносно свела их вместе, пару раз прерывала Света, которая как привидение, закутанная в простыню, пробегала в ванную и обратно. Ему казалось, что Оле очень интересен его рассказ, он все говорил и говорил, и его импровизированной лекции не видно было конца. Вдруг Иванов, мгновенно почувствовав, как колени у него теряют твердость, разглядел, что глаза Олины влажно заблестели, грудь высоко поднялась от томного вздоха, и она закрыла ему рот длинным поцелуем на очень важном месте, касающемся расчета предполагаемой прибыли.

Когда Оля ослабила на мгновение нежные объятия и Иванов, вынырнув из омута поцелуя, смог добрать воздуха, он, глядя в распахнутые женские глаза, понял, что нужно раздеваться. Голова его была как в тумане,



в висках стучало, а во рту мгновенно пересохло — точно так же, как от глотка спирта. Иванов полез правой рукой Оле за шиворот, под кофточку, боясь и желая одновременно этого сладкого касания своей мужской ладонью нежного женского тела, обязывающего к дальнейшему. В это же время левой рукой он успокаивающе гладил Олю по голове, как ребенка, целуя в макушку. После затянувшихся поисков под Олиной кофточкой всяких там застежек и ляпочек Иванов догадался, что искомая им интимная часть женского туалета, бюстгальтер, просто отсутствует. Почему-то факт этот сбил его с толку, и он даже замер от ощущения неловкости, как будто перескочил какую-то нужную стадию развития отношений между мужчиной и женщиной.

— Давай я сама.

Оля через голову потянула кофточку, выпуская на простор молодую упругую грудь, молочно засветившуюся под мерцающим приглушенным светом телевизионного кинескопа. Красота тела в его неприкрытой нагоде вышибла все посторонние мысли из сознания Иванова, впрочем, вышибла, наверное, и само сознание, заменив его инстинктами, знакомыми человеку со времен изгнания из рая. Кольхание Олиной груди, рождаемое даже от небольшого движения, волнами проникало в естество Иванова, заставляя ток крови ускорить свое привычное движение.

— Я сейчас... — сдавленным голосом прошептал он, враз ослепший от свечения всего этого молодого, манящего, теперь очевидно доступного, и начал расстегивать на себе рубашку, безотчетно отрывая пуговицы одну за другой и отбрасывая их в разные стороны.

Когда он дошел до штанов, вдруг вспомнил про то, что находилось под ними. А под штанами у него находились трусы пятьдесят четвертого размера, живописно украшенные розами и такой своей колоритностью способные вдохновить любого поэта-песенника на создание шедевра, подобного народно-любимому шлягеру «Миллион алых роз».

Но Иванову в тот важный момент стало не до песен: великая сила природы вела его по пути, с которого сойти по своей воле он был не в силах, да и Оля уже ждала его, едва прикрытая легкой простынькой.

«Засмеет! — подумал он, и какая-то лихорадочно пульсирующая в некстати опустевшей черепной коробке одинокая клеточка серого мозгового вещества вдруг выдала спасительный и такой элементарный выход из положения: — Нужно снять штаны вместе с трусами! Как все просто, елки-палки!»

Для храбрости он решил пропустить еще стаканчик. Обостренным котячьим зрением Иванов выхватывал из полутьмы стола недопитые бутылки и быстро сливал оставшееся там добро в первый попавшийся фужер. Набралось довольно много, и он недолго думая выпил все залпом.

А делать этого было категорически не нужно.

Видимо, все, что мог нынче выпить, он уже выпил, а финальная порция оказалась лишней. Зажимая рот рукой, Иванов метнулся в туалет и, ткнувшись лицом в овальную чашу унитаза, по закону сообщающихся сосудов отправил содержимое желудка в долгий путь по запутанной системе канализационных труб.

В дверь туалета стучали, но он не открывал: ему было стыдно, и особенно стыдно оттого, что за дверью находились совершенно незнакомые и чужие для него люди. Потом шпингалет все-таки не выдержал и дверь распахнулась. Иванова взяли под руки, приподняли и сунули головой под кран с холодной водой. Он потихоньку очухался, не глядя ни на кого, прошел в комнату и принялся одеваться.

Все демонстративно молчали. Гена зевал во весь рот, Оля беззвучно плакала. Света убирала со стола. Пора было расходиться.

Оля собралась быстро и уже стояла, нетерпеливо вжикая молнией на курточке, а Иванов все еще пытался застегнуть фантомы оторванных им в порыве страсти пуговиц на рубашке. Подгоняемый выразительными взглядами, он как-то справился с непокорной одеждой; они вместе с Олей спустились вниз и двором вышли на улицу Советскую.

Иванов хотел взять Олю под руку, но она отстранилась и, перейдя на нечетную сторону улицы, зацокала каблучками по направлению к гастроному «Под шпилем», где находилась стоянка такси. В это время такси оставалось для них единственным вариантом, чтобы добраться домой.

К ночи заметно похолодало. Снег, не растаявший днем, схватился ледяными буграми. Там, где были лужицы, хрустел тонкий ледок. Мелкая снежная крупа, подгоняемая ветром, кружила, налетая со всех сторон, заставляя щуриться и ежиться.

На стоянке никаких такси не наблюдалось. Минут через пятнадцать — двадцать ожидания они начали замерзать. Несмотря на то что Иванов облачился в демисезонное пальто и шапку-ушанку, противостоять ощутимому морозцу, да еще с ветерком, он не мог. А Оля — в курточке, короткой юбке и капроновых колготках — и подавно.

Решили идти пешком по Ленинскому проспекту в сторону улицы Северо-Западной и по дороге голосовать попуткам. Иванов немного приободрился, ведь Оля откликнулась на его вопрос: «Ну, что будем делать? Дальше мерзнуть или пойдем потихоньку?» Однако радость оказалась преждевременной. Оля хоть и позволила взять себя под руку (у ДК БМК еще сопротивлялась, а перед улицей Профинтерна сдалась), но разговор поддерживала неохотно, отвечая односложно — «да» или «нет», а больше молчала. И руку вновь отняла возле салона новобрачных.

Машин, двигающихся в их направлении, было мало, и те, что попадались, ехали мимо. Какое-то время, сбавив скорость, параллельно следовал милицейский уазик, видимо, пытаясь определить степень опьянения поздних пешеходов, и, чего-то про себя решив, газанул и уехал в ночь. Да и в самом деле, даже под пристальными взглядами милиционеров шансов загреметь в медвытрезвитель практически не оставалось: на холоде хмель выветрился напрочь.

Иванов глянул на часы: натикало вполне ночное время — четверть третьего. «Поздно уже, — подумал он, — для машин. И холодно для людей! Скорей бы домой, в тепло...»

И немного погодя эти потаенные мысли будто попали в нужные уши — пешеходы увидели катящуюся «Волгу» со спасительным зеленым огоньком. Иванов, отчаянно размахивая руками, бросился наперерез так-

си, сигнализируя о своем бедственном положении. Машина остановилась, опустилось стекло, и запыхавшийся Иванов назвал водителю адреса.

Водитель — здоровенный детина, сжимавший руль примерно так, как ребенок держит бублик, — подозрительно оглядел ночных пассажиров. Иванов почувствовал на спине холодок. «Ну и рожа, — подумал он, — бандитская. Сейчас выйдет и прибьет!» Под взглядом таксиста он готов был провалиться сквозь землю и даже пожалел о том, что остановил эту машину (хотя другой-то и не было!), и тут детина везти согласился. За десять рублей. А они-то как раз были — лежали, припрятанные на всякий пожарный случай, во внутреннем кармане пиджака.

Поехали по Северо-Западной. Оля села с Ивановым на заднее сиденье, подчеркнуто держась от него на расстоянии. Но этот жест не имел для него уже никакого значения. В теплом салоне «Волги» он потихонечку начал отогреваться и успокаиваться.

Оля вышла на пересечении с улицей Георгия Исакова и попрощалась, что-то невнятно пробормотав на ходу. Он даже не рискнул предложить ей себя в качестве провожатого.

...Поднимаясь по ступенькам к своей квартире, Иванов вдруг почувствовал себя бесконечно уставшим, как будто с момента его ухода прошел не день, а год. Открыв дверь, он ощутил запах застоявшегося воздуха и пожалел, что не оставил форточку открытой. «Хотя, — рассудил он, — зима скоро, пора забывать летние привычки!»

В квартире стояла тишина, удивительная после дневного шума. И в той тишине, может быть от усталости, навалившейся на Иванова, быстро начали растворяться звуки, сопутствующие ему весь день. И песни по радио, и духовой оркестр, а также тосты в подъезде, голоса дикторов на площади, «Каховка» баяниста, «Вопей М»...

И даже сама демонстрация всплыла в памяти кратко и без звука. «Как там, на транспаранте?.. Экономика должна быть...» Этим обрывочным воспоминанием Иванов и подытожил суматошный день.

Потом он уснул. И надо сказать, ему повезло. Спал он в эту ночь глубоко. И без всяких снов. Лег — и провалился.

Провалился, правда, ненадолго — на три часа с минутами. И ровно в шесть утра ему суждено было возвратиться в обычную жизнь, подчиняясь четкой работе беспристрастной радиоточки с регулятором громкости, вывернутым накануне им же на всю катушку. Вывернутым — и в таком положении забытым. И проснуться Иванову предстояло с обновленной уверенностью в завтрашнем дне, под оптимистичное пение смешанного хора, от всей своей многоголосой души желающего, чтобы здравствовал «созданный волей народов единый, могучий Советский Союз».

Мария КОЗЛОВА

ОТ ЯУЗЫ ДО СХОДНИ

* * *

Горит от Яузы до Сходни
Неопалимая земля,
Еще смелей, еще свободней
Взлетают в небо тополя.
И голос мой, уже не важный,
С твоим, как прежде, несравним,
Как ветер с веером бумажным
И ангел с Господом своим.

* * *

На небе, может быть, на звездах,
Как говорят, в сиянье тьмы,
Но ты и там почти как воздух,
Которым здесь не дышим мы.

И нам и весело, и страшно,
Одним, на родине, на дне,
На той единственной, вчерашней,
Уже сегодняшней войне.

В крови воздушная тревога,
В груди бунтует космос весь.
Так много музыки у Бога,
Что мы почти оглохли здесь.

* * *

Перечислил все слова...

А. Блок

Выхожу я на дорогу,
Ни звезды на небе нет.
Ночь тиха, и слава — Богу,
Как сказал один поэт.

Выйдет месяц из тумана,
Будет резать, будет бить.
У кого на сердце рана,
Тот вообще не может быть.

Мы читали, мы писали,
Мы устали наконец.
Но слова — прочнее стали
И нежнее, чем свинец.

* * *

Наши разговоры о свободе —
Листьев под ногами болтовня.
Музыка в подземном переходе,
Милая, заслушалась меня.

Господи, ну что ты, в самом деле,
Смотришь, ничего не говоря?
Это просто листья облетели
Ближе к середине сентября.

Что-то отцвело и отболело.
Что-то до сих пор еще болит.
Господи, тебе какое дело,
Кто с тобой об этом говорит?

Может, так устроена природа —
(Господи, опять ты за свое!)
Музыка, молчание, свобода,
Вечное отчаянье ее.



* * *

Зима, зимою, о зиме.
О бесконечном, беспредельном.
И о тебе, и обо мне,
И ни о ком из нас отдельно.

На крышах тюрем и больниц
Искрится снег, сухой и колкий,
Как бы рассеянных частиц
Элементарные осколки.

Как бы глядишь в калейдоскоп,
А там — звезда, а там — комета.
Развоплощение предмета,
Пожар всемирный и потоп.

* * *

Я выхожу из Интернета,
А ты заходишь в Интернет.
К Земле приблизится комета,
И на Земле погаснет свет.

Мы все умрем, как это грустно.
Нам не поможет ничего —
Ни умирание искусства,
Ни воскресение его.

От берегов туманной Леты
Белесый тянется дымок.
Ты, как поэт, придумал это
И лучше выдумать не мог.

Теперь стоишь, больной и бледный,
Еще не там, уже не здесь,
Совсем один, как Пушкин бедный,
Который стал из бронзы весь.

* * *

Это я не тебе говорю,
Что ты, милый, — поэзия? — что ты.
Дай-то бог, зазвучат к январю
Необъятные наши широты.

Дай-то бог, доживем до весны
И тогда непременно ответим
Переулочкам этим лесным,
Перелесочкам уличным этим.

Что поэзия, милый? Старо!
Мы обычные люди живые,
Пассажиры ночного метро,
Радиальные и кольцевые.

* * *

Но в этом я тебе ручаюсь —
Еще светло, еще не поздно —
С одним тобой, не разлучаясь,
Стоим и дышим небом звездным.

Где все слова твои как воздух
Мой, а не чей-нибудь заемный,
Земной, настоящий на звездах,
Непобедимый, неподъемный.

Ручаюсь северным сияньем,
Москвой у церкви Вознесенья,
Войной, оконченной стояньем
На берегу реки осенней,

На берегу реки глубокой,
Под нашим небом многословным,
В пустыне Пушкина и Блока,
Влюбленным голосом любовным.

С одним тобой, ты слышишь если,
И в этом я тебе ручаюсь,
Как будто мы уже воскресли
И говорить не разучались.

Ольга ПОЛЯНИНА

**«ЧЕРЕМУХА
В ЗАТОПЛЕННОМ ЛЕСУ...»**

* * *

...об этом же, но по-другому, но
с таким трудом, который легкость.
Чего уж там. Ну, было. Ну, давно,
с другим объемом памяти и легких,

в дописьменную эру — без чернил,
подчисток и позднейшей вставки.
Вот черепки разложишь — видно: хоронил
один другого, кто кого оставил,

кому был кто в охотничий сезон,
куда попятилось, где затвердело море
(ты амфору сложил, и я уже не спорю),
кто, как ресница, вышел со слезой,
с водой проточной горя и не горя.

* * *

Но дерево на камне и песке,
Песком давясь, обгладывая камень,
Растет не вверх — как будто на листке
Ветвится род под умными руками.

Все увлеченнее, все ближе до воды,
Все явленнее корни — и все реже
Выстреливает вдруг из череды
Просторный лист; ладонь ребенок держит

И тянется за ней... Не ты ли, гул
Умолкшего? Не ты ли это, корень,
В своем труде и ветвь к земле пригнул,
И под землей течение ускорил?

* * *

Черемуха в затопленном лесу
Кипит, и крышка темно-голубая
То дребезжит скворчонком на весу,
То осторожно ветки пригибает.

Наломана — вот так, ни для кого,
Ни дачнице в охапку, ни движеньем
Фотографа, а качкой боковой,
А, как душа, своим отображеньем.

И впитывает медленно овраг
Лохматую сереющую пену.
Никто не видел, как скипела, как
Вода ушла — по пояс, по колено.



Кристина КАРМАЛИТА

ОБРЯД РАЗВЕНЧАНИЯ

Комедия в двух местах

Действующие лица:

Семен
Зинаида
Отец Дмитрий
Князь
Косой
Гавриил

Место первое. Церковный приход

Кабинет настоятеля, отца Дмитрия.

В кабинете отец Дмитрий, Семен и его жена Зинаида.

Семен. Развенчивайте нас! Немедленно!

Отец Дмитрий. Святушки! Да чем это я уши сегодня мыл? Черт-те что слышится. Господи помилуй!

Семен. Вы мне тут концертов не устраивайте! Давайте все обратно, не могу я больше!

Зинаида. Посмотрите-ка! Я не могу, отец Дмитрий, понятно? Но я-то человек адекватный. Во-первых, я бы и венчаться не стала, что за глупости такие? Во-вторых, я хоть не такая верующая, как он, но соображаю: раз повенчались — обратного хода нет. Но мало ли там что. Все-таки таинство было, надо с этим что-то делать. Мне еще дальше жить, зачем лишние дыры в астральном теле?

Семен. Язычница!

Отец Дмитрий. А как сиял, как сиял! Года не прошло!

Семен. Приворот это был, как пить дать!

Зинаида. С чьей стороны еще приворот — разобраться надо!

Отец Дмитрий. Лебедушкой называл, к сердцу прижимал.

Семен. Вот и забирайте свою лебедушку, никакого сердца с ней не хватит! Сами подсунули, сами живите!

Зинаида. Как это «подсунули»? Как это меня можно взять и подсунуть?

Семен. А вот так! Видишь, говорит, девица стоит? Вот и шлепай за ней. Я тогда благословения просил — жену хотел найти. (*Отцу Дмитрию.*) Так я жену хотел, а не камень на шею!

Зинаида. А сам он просто принц в шапке-невидимке! Целыми днями не вижу, шляется по барам, по борделям.

Семен. Мы с пацанами в сауну ходим, сколько раз говорить! Люблю я сауну, мне нужен пар, отдых, пиво...

Зинаида. Девочки!

Семен. Девочки? Какие девочки? Вы слышали? Она опять! Медея! Крокодилиха болотная!

Зинаида. Так, батюшка. Раз уж выяснилось, что вы мне этот подарочек вручили, так сделайте что-нибудь: это же истеричка! Я крикнуть не могу, он в ответ такой гром поднимает — уши закладывает! (*Постепенно переходит на крик.*) Мне как жить? Мне нужно пары выпускать, а я — молчи?! Я так шизоидом стану! А я стерва, я не могу быть шизоидом!

Пауза.

Отец Дмитрий (*крестит Зинаиду*). Пойди, детка, попей водички.

Зинаида. Какой еще водички?

Отец Дмитрий. В лавке, святой. Попроси, скажи, отец Дмитрий благословил. И побольше.

Зинаида. Не хочу я ничего пить!

Отец Дмитрий. Надо, голубушка! А мы тут покалякаем. Зачем женщине слушать двух небритых мужчин?

Зинаида. И послушала бы, чего замышляете. От вас что хорошего ждать?

Отец Дмитрий. А мы потом и с тобой побеседуем. Наедине. И спокойнее, и вернее.

Зинаида. Сговаривайтесь, шут с вами. Но учти, воробушек, машина — моя!

Семен. Закатай губу, ласточка! Платья забирай и устраивай свое астральное тело на чьей-нибудь другой шее!

Зинаида. Вот они, какие у вас прихожане, отец Дмитрий — ни Бога, ни попа не боятся. Стыдло!

Зинаида выходит. Отец Дмитрий и Семен некоторое время молчат.

Отец Дмитрий. Что-то я тебя, Семенушка, на исповеди никак не угляжу. Или слепой стал батюшка, или другое место облюбовал добрый христианин?

Семен. Опять? Перед свадьбой же исповедовался!

Отец Дмитрий. С тех пор, значит, и не грешил?

Семен. Отец Дмитрий, вы же знаете, я человек дела. Если чего надо — крышу покрыть, забор покрасить — без проблем. Вы сами говорили — это как молитва. А о всякой ерунде — и так позорно, еще болтать. Накопится хорошенько, тогда пойду.



Отец Дмитрий. И когда же у тебя, душенька святая, накопится? Семен. Лет через пять, думаю, будет.

Отец Дмитрий. Господи помилуй! *(Вдруг резко открывает дверь, за дверью Зинаида.)*

Семен. Вот, полюбуйтеесь! Я дома по телефону поговорить не могу: уши из трубки торчат!

Зинаида. Очень нужно мне ваши богомольные беседы слушать! Я спросить вернулась. Где у вас тут лавка? Горло иссохлось.

Отец Дмитрий *(кричит куда-то за дверь)*. Матвеевна! Проводи ласковую, напои водичкой! Да почирикайте минут двадцать о жизни святых угодников! Иди, хорошая, иди. *(Закрывает дверь. Пауза.)* Дальше будет хуже.

Семен. Вы думаете?

Отец Дмитрий. Шибко злобная баба.

Семен. Я как-то не сразу разглядел...

Отец Дмитрий. Побледнел, осунулся.

Семен. Что, заметно?

Отец Дмитрий. Охота ведь и покутить, и позабавляться...

Семен. Работа нервная, отец Дмитрий.

Отец Дмитрий. А жена мешает, звонит, карманы трясет.

Семен. Представляет! Не дом, а сыскное агентство!

Отец Дмитрий. Девочка-то есть?

Семен. Батюшка! Помилуйте!

Отец Дмитрий. Милую. А девочка все-таки есть.

Семен. Да какая она девочка!

Отец Дмитрий. И то слава богу!

Семен. Ну, завел шуры-муры небольшие. Так то — с тоски! Если бы не говорила все время про девочек, я бы и не посмотрел, а так — долдонит одно целыми днями. Отец Дмитрий, вы же знаете: скажи человеку пятьдесят раз «свинья», на пятьдесят первый — захрюкает! А она по сто раз на дню — бабник и бабник! Запрограммировала!

Отец Дмитрий. Так не одна девочка?

Семен. Я, отец Дмитрий, мужчина со средствами. Могу позволить.

Отец Дмитрий. На все воля Божья! А машину, значит, не отдашь?

Семен. Из принципа! Мне так-то не жалко, но знаете что я понял? Это ведь она специально: замужество для обогащения. Колец, платьев купила, машину мою забрала. Погодите, еще и хату, и на бизнес позарится.

Отец Дмитрий. Змея, да и только.

Семен. Отец Дмитрий, я все читал, все знаю: кто просит у тебя верхнюю одежду, отдай и нижнее белье! Но надо же с умом подходить! Какой ей будет прок? Ну, отдам, голый уйду, а она будет думать, что все так и надо, что она невинная овца, страдальца... Гордыня зацветет махровым цветом, и какое тогда ей будет добро? Надо же думать о ближних, а не просто так швырять деньгами.

Отец Дмитрий. Благоразумно.

Семен. Всегда радовала ваша рассудительность! Если б не вы, никогда бы в храм не зашел.

Отец Дмитрий. Так ведь и не заходишь.

Семен. Дела же, говорю. Но если что надо...

Отец Дмитрий. А все-таки права твоя лебедушка: повенчались — обратной дороги нет. Увы! (*Открывает Евангелие.*) Написано четко: оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене.

Семен. Видите, отец Дмитрий, даже в Библии сказано, что жена — не человек! Как же от нее нельзя отлепиться?

Отец Дмитрий. А вот еще: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Матфей, глава девятнадцатая, стих девятый. Изменяла тебе Зинаидушка?

Семен. Испытывал, было дело, подослал кое-кого, так она его поддых! Верна, как королева!

Отец Дмитрий. Ну все, миленький, теперь только дыры в астральном теле. Астральное тело, душа, карма, жизнь — называй как хочешь — огромное пятно на ней поставишь, если просто так разойдешься.

Семен. Вот я и пришел, чтобы не просто так. Ну, помахайте венником своим, что вам, трудно, что ли? Должен же быть какой-нибудь обряд!

Отец Дмитрий. Одна из девочек сильно глянулась?.. Да ты не тупи очи, понимаю. Уже сорок лет как с матушкой воюю — детей всех из дому повыгнал, а ее никак не могу. Крепок женский род, крепок и хитер! Зачем тебе шило на мыло менять? Уж лучше в монахи пойдешь, опять же апостол Павел благословил: хорошо человеку не касаться женщины.

Семен. Апостол Павел уже в возрасте был, когда писал, ему уже хорошо было не касаться. Ну, епитимью наложите! Могу полгода мясо не есть! На службу каждое воскресенье, молитвы читать буду, да что угодно! Материально я вас всегда поддерживал, и больше могу. У меня ж вместе с женой жирная статья расходов освободится. Отец Дмитрий, не может быть, чтобы что-то было бесповоротно, на все есть свой договор. Еще в средневековье индульгенцию заплатил — и свободен, а тут вдруг двадцать первый век — и невозможно!

Отец Дмитрий. Да есть тут один договор...

Семен. Так в чем дело? Доставайте, подпишу!

Отец Дмитрий. Другое у этого договора свойство, милочка. Тут подписи не нужны, нужна только добрая воля.

Семен. Тем проще!

Отец Дмитрий. Проще! Все бы вам проще! А последствия?

Семен. А какие последствия?

Отец Дмитрий. Всегда есть какие-нибудь последствия. Вот если вы просто так разойдетесь, последствия вполне ясны: никакого счастья и вечные муки.

Семен. А с договором?

Отец Дмитрий. А с договором — черт его знает! Господи помилуй! Может, и пронесет. А может, еще хуже станет. Хотя куда уж хуже...

Семен. Вот именно!

Отец Дмитрий. А так — шанс все-таки есть.



Семен. Так мне то и надо! Попробовать хоть!

Отец Дмитрий. Да, может, и пронесут ангелы.

Семен. Какие ангелы?

Отец Дмитрий. Небесные, какие еще?

Семен. Куда пронесут?

Отец Дмитрий. Да ты не волнуйся раньше времени. Рискнуть готов?

Семен. Всегда!

Отец Дмитрий. Горячий ты, Семенушка, за то тебя и полюбил. Думал, правда, в храм ходить будешь, исповедоваться, заповеди чтить.

Семен. Чту! Отец Дмитрий, ну зачем мне эти ваши прибабасы для простого люда: чтоб боялись, не забывали, под присмотром сидели. Я ничего не забываю, десятину отстегиваю, «Отче наш» как от зубов.

Отец Дмитрий. Сговариваться будем али язычками чесать?

Опаздываю уже.

Семен. А что надо?

Отец Дмитрий. А что всем на свете надо, господи помилуй!

Пятьсот.

Семен. Что, так мало?

Отец Дмитрий. А чего добрых людей разорять, еще самим пригодится.

Семен. Давайте еще хоть триста накинута.

Отец Дмитрий. Пятьсот, голубчик, не гневи Господа.

Семен отсчитывает пятьсот долларов, протягивает отцу Дмитрию, тот берет, рассматривает.

Отец Дмитрий. Это что?

Семен. Евро надо? Я что-то сгупил. Но у меня сейчас нет.

Отец Дмитрий. Пятьсот тысяч рублевочек. С курсами вечная беда — скажут как ненормальные. Давай наши — маленькие, но родные. *(Возвращает банкноты.)*

Семен. Вот те храм Божий. Я столько за венчание не платил.

Отец Дмитрий. Игры с Богом, родной мой, всегда дороже выходят. С женой надо будет прийти. Но сначала оплата, наличкой. Ребята иначе не берут.

Семен. Какие еще ребята?

Отец Дмитрий. Там узнаешь.

Семен. Где там?

Отец Дмитрий. Потом скажу.

Семен. Что-то не нравится мне все это.

Отец Дмитрий. Так, может, ну его? Жену под ручку и домой на послушание?

Семен. Манипулятор.

Отец Дмитрий. Так сколько лет в храме Божьем!

Семен. Не настолько я крут, отец Дмитрий, давайте сговоримся на двести.

Отец Дмитрий. Четыреста. Издержки большие.

Семен. Какие там издержки, двух человек развенчать? Сделочка!
 Отец Дмитрий. Так я же настаиваю.
 Семен. Батюшка, ну двести пятьдесят, побойтесь бога.
 Отец Дмитрий. Твоя правда, Семенушка, совсем народ окаянный стал. Триста...
 Семен. Куда ни шло!
 Отец Дмитрий. ...пятьдесят.
 Семен. На что издержки-то?
 Отец Дмитрий. Почему я знаю? Это же не я, товарищи устраивают. Я только соблю.
 Семен. Не в первый раз?
 Отец Дмитрий. Ох, не в первый, господи прости!
 Семен. И как? Результат надежный?
 Отец Дмитрий. Жалоб не поступало.
 Семен. А последствия?
 Отец Дмитрий. Проносило. Но я всех предупреждаю.
 Семен. Надо было мне венчаться!
 Отец Дмитрий. Скорее думай, Семен, время у меня, а еще с лебедушкой твоей лясы точить.
 Семен. А ей-то что? Платить, чай, не она будет.
 Отец Дмитрий. А как ты ее темной ночью за город на заброшку заманишь, чтобы поехала сама, а не связанная в багажнике?
 Семен. А никак. Ни в жизнь не поедет, решит, что убивать повез. А зачем это вообще?
 Отец Дмитрий. Надо так. Ты же не спрашивал, зачем тебя вокруг аналая водили.
 Семен. Разводка какая-то. Приезжай на пустырь ночью с женой и тремя сотками.
 Отец Дмитрий. С тремястами пятьюдесятью. И деньги заранее. Семенушка, я же никого не неволю! Самому не хочется, только из сострадания. Слаб человек!
 Семен. Чтоб я еще раз под венец... Хорошо вы тут зарабатываете, смотрю... А чего храм такой разваленный?
 Отец Дмитрий. Так то не мы, то товарищи. Из одной руки беру, в другую перекладываю. Мы ведь кто? Посреднички. Грехи не мы отпускаем, а Боженька, от болезни не мы исцеляем, а Святой Дух, вот и этим делом не мы занимаемся, а товарищи. А товарищи бесплатно не работают.
 Семен. Ладно... Убалтывайте ее. Это же надо было так влететь.
 Отец Дмитрий. Зови давай! Шибче, Семен, по требам еще бежать!

Семен открывает дверь, там Зинаида.

Семен. Наслушалась?
 Зинаида (*входит в кабинет*). Еле вырвалась от Матвеевны вашей.
 Отец Дмитрий. Вырвалась от Матвеевны? Сильна!
 Зинаида. По ночам теперь эта Ксения Петербургская будет снится! Все уши прогудела!



Отец Дмитрий. Хоть какой-то толк от старухи.

Зинаида. Чего хотели, говорите, я тороплюсь. А ты, ненаглядный, что рот раскрыл? Пить хочешь? Иди, там еще осталось. Скажите, чтобы ваша Матвеевна ему про Петра и Февронию рассказала. Пусть образовывается, христианская душа.

Семен. Удачи, отец Дмитрий.

Семен выходит, закрывает дверь.

Отец Дмитрий. А муж-то твой глуп.

Зинаида. Что, так заметно?

Отец Дмитрий. Глуп и буен. Не побивает?

Зинаида. Пусть только попробует!

Отец Дмитрий. Попробует, обязательно попробует. Через какое-то время.

Зинаида. С чего вы взяли?

Отец Дмитрий. Сам сказал. Еле сдерживаюсь, говорит, в спортзал хожу, чтобы разряжаться, а так давно бы уже приложил.

Зинаида. Посмотрим еще, кто кого приложит!

Отец Дмитрий. Говорит, повезу ее убивать темной ночью за город. Развенчаюсь и буду свободен, как заяц в степи.

Зинаида. Что значит убивать?

Отец Дмитрий. Душить, кажется, собрался. Последние, говорит, объятия, чтобы навсегда запомнила. Романтик!

Зинаида. Отец Дмитрий, вы же сейчас шутите?

Отец Дмитрий. До шуток ли мне, детка? Места себе не нахожу, думаю, как спасти невинную душу.

Зинаида. Это чью?

Отец Дмитрий. Да твою, голубушка, твою же! Или не невинная она?

Зинаида. Какая б ни была, спасти надо любую. И что надумали?

Отец Дмитрий. Если ты в полицию пойдешь — узнает. Он и сейчас уже слезку установил — все слушает, смотрит. Ищет, за что зацепиться. Думал в измене обвинить, так ты верна, как корова. Не смотри на меня так, это его слова. Подсылал, говорит, к ней, а она ему под дых. Не вышло.

Зинаида. Было такое! Правда было! Отец Дмитрий, как же это, неужели правда собрался убивать?

Отец Дмитрий. План разработал. Скажу, говорит, что на обряд развенчания поедем, договорился, мол, с батюшкой, а там порешу. Вот меня и попросил тебя уболтать, чтобы ты согласилась. В доме мокрушничать не хочет, а за городом... (*Звонит телефон отца Дмитрия.*) Прости, детка. Да! Еду уже, еду, в пробке стою! Опоздаю чуток, не взыщите! Ну, вы там попросите покойничка подождать, пусть еще потерпит, родимый. Спаси господи! (*Прячет телефон.*) Отпевание у меня, все одно к одному.

Зинаида. Что одно к одному?

Отец Дмитрий. Супруг твой — убийца, да и этот товарищ не своей смертью отошел.

Зинаида. Семен еще никого не убил!

Отец Дмитрий. Грех в душе делается. Кто его в душу впустил, уже отчасти и совершил. Читала ты Евангелие-то, милая моя?

Зинаида. У меня жизнь под вопросом стоит, а вы мне про какое-то Евангелие! Отец Дмитрий, что делать-то?

Отец Дмитрий. Не волнуйся, голубушка, я все обдумал, надо только твое согласие.

Зинаида. Ну?

Отец Дмитрий. Предложение его принимай. Поедешь в ночь, там будет засада.

Зинаида. А если не будет?

Отец Дмитрий. Будет, я договорюсь. У меня с армии ребята дослужились, генералы теперь в друзьях. Видишь ли, детка, за умысел у нас не берут. Если сейчас пойти и заявить — ничего не будет. Да и доказательств никаких. Мало ли что наговорил человек в кабинете у священника, да и кто такой этот священник? Да и кто ты такая? Жена, которая хочет состояние мужа заграбастать?

Зинаида. Напел он тут вам, а вы и заслушались! Отец Дмитрий, я женщина честная, машину он мне подарил, документы только не оформил, но оно и понятно — свое не упустит! Остальное чего — не зарилась. Конечно, могла бы, но вообще-то у меня чувство было, когда под венец шла. Не до такой степени у меня душа темна, как вам всем представляется!

Отец Дмитрий. Бог с тобой, милая! Никак мне не представляется, я же описал, как все выглядит с точки зрения следователя. Батюшка ваш дольше пожил, разного видел. В общем, от заявления такого толку нет. Надо брать с поличным. А поличное только на месте. Поедете, за вами следить будут. В машине — жучки, в телефоне — жучки, на нем — жучки. Будут. На месте группа захвата. А потом ты — жертва обстоятельств, владелица всего бизнеса, единственная. Он-то сядет надолго. Успеешь в другую страну перебраться, кавалера достойного найти. Давай, детка, думай быстрее, заждался меня Петр Савельич.

Зинаида. Покойник, что ли?

Отец Дмитрий. Он, родимый. Можешь ни капельки мне не верить, пойти домой и посмотреть, что будет. Сам не верю: такой человек был Семен, такие надежды подавал. Пришел ко мне сам, глаза горят, хочу, говорит, жить по-человечески. Вот и дожил. На все воля Божья!

Зинаида. А почему в другую страну?

Отец Дмитрий. А чего здесь сидеть? Другие страны как страны, а в нашей, видишь, мужья жен за городом душат. И ведь ничего ему за это не будет! Не найдут тебя даже. Да и кому искать надо? А он еще будет убитого мужа изображать. В Интернете страницу поиска создаст. Ох, и чуден мир Твой, Господи! Все, детка, побежал я. Не упокоится без меня душа Петра, греховодца. Договорились мы с тобой или как?

Зинаида. Как будто есть выбор!

Отец Дмитрий. Вот и славненько. Матвеевна! Ушел!

Уходят.



Место второе. Заброшка

Помещение заброшенного дома. Семен и Зинаида в центре. Их руки привязаны к веревкам, свисающим с потолка, ноги — к веревкам, пристегнутым к полу.

Князь и Косой приводят супругов в чувство.

Косой. Просыпайся, птичка!

Семен. Это лебедушка.

Князь. Один есть.

Семен. Я вас всех угорю в бане.

Князь. Строптивый.

Косой. Лебедушка, ау!

Семен. А где отец Дмитрий?

Князь. Дома твой отец.

Косой. Жену бьет.

Семен. А он ее бьет?

Косой. Очухалась вроде.

Зинаида. Вы кто такие?

Косой. Вот, конкретная дама. А этот — балабол.

Семен. Да! Вы кто такие?

Косой. Черти мы, чего непонятного?

Князь. Косой! Вперед батьки в пекло?

Косой. Да ты сейчас опять начнешь!

Князь. Раз начну, значит, надо!

Косой. Пусть сразу врубаются!

Семен. Дорогая, ты сразу врубаешься?

Зинаида. Почему мы связаны?

Косой. Говорю, женщины умней мужчин.

Князь. Часть обряда.

Зинаида. Вы хотели сказать «плана»?

Косой. Какого плана?

Семен. Какого обряда?

Князь. А ты зачем сюда шел?

Семен. Я женщину погулять повез.

Зинаида. Знаю я твое «погулять» темной ночью черт знает где!

Вы зачем меня-то связали? Вы в каком звании?

Косой (*переглянувшись с Князем*). Вас как зовут?

Зинаида. Сначала я хочу услышать ваши звания и объяснения.

Что за чертовщину устроили?

Князь. Чертовщину, Зинаида Михайловна! Совершенно верно!

Семен. Откуда они знают твое имя?

Зинаида. Они все знают, это их работа. Развяжите меня сейчас же!

Косой. Властная.

Князь. Понятно теперь.

Зинаида. Что-то мне ничего не понятно.

Семен. Так это вы нас так развенчиваете? Муть какая-то в голове,

еле-еле вспомнил.

Зинаида. Ничего ты больше не вспомнил?
 Семен. Ты лучше прямо скажи, я твои намеки и в нормальном состоянии не понимаю.

Зинаида. Зачем потащил меня сюда?

Семен. Развенчаться. А что такого?

Зинаида. Не признаётся. Ничего, они разберутся, что такого.

Семен. А они — кто?

Зинаида. Полицейские, кто еще-то?

Семен. С чего ты взяла, что они полицейские?

Князь. Да, Зинаида Михайловна, с чего вы взяли, что мы полицейские?

Пауза.

Зинаида. Так ведь... Отец Дмитрий... Он же сказал... Чтобы я поехала... Засада...

Семен. Какая засада?

Зинаида. Семен... Ты же не собираешься?

Семен. Чего не собираюсь?

Зинаида. Убивать...

Пауза.

Семен. Вот это отец Дмитрий уговорил! Так и что получается... Ты ехала сдавать меня ментам? На живца? С поличным? Ничего себе в горе и в радости... Развяжите меня, после такого никакой обряд не нужен! Думаю, с этой минуты я свободен от всех обязательств.

Зинаида (плача). Но ты же ему сказал, что собираешься... Он меня запугал!

Семен. Да ты только повода искала!

Зинаида. Я с ним спорила! Я говорила, что ты не можешь, я не верила, но он же просто дьявол! Он совершенно меня запугал!

Семен. Теперь все понятно: отец Дмитрий просто хотел открыть мне глаза. Экстравагантный способ! Наслушаешься всяких откровений на исповеди, еще не такого нафантажируешь. Видать, щелкает что-то в голове. Бедный поп! Эй, вы! Больше ничего не надо! Деньги оставьте себе, договор есть договор.

Зинаида. Деньги?

Семен. А ты думала, это все задарма? Чем-то нас усыпили, веревки эти, работа людей — нервная, между прочим. Хотя, честно говоря, многовато. Вот какие траты у меня, ласточка, только на то, чтобы оставить целым твое астральное тело!

Зинаида. Да ты о себе в первую очередь переживал! Забыл уже? Кто меня в храм затащил? Сюда привез? Не надо на меня тут всех собак спускать! Оправдание он нашел! Да вы все это с отцом Дмитрием и устроили, специально, чтобы тебя чистеньким выгородить! Сексисты! Мужлань! Да развяжут меня, наконец?

Семен. Да, действительно, сколько можно? Спектакль закончен!

К о с о й. Слышал?

К н я з ь. Мы, дорогой, еще, собственно, и не начинали.

Пауза.

К н я з ь. Договор есть договор. Договор заключен и должен быть исполнен. Все будет сделано строго в соответствии — по всем нормам и канонам. Результат — девяносто пять процентов.

С е м е н. Не нужен мне ваш результат! Давайте, кончайте.

К н я з ь. Зря спешишь. Впереди совсем другая жизнь, подумал бы, потосковал.

З и н а и д а. Семен, а отец Дмитрий тебе говорил что-нибудь? Как это будет?

С е м е н. Никак это не будет! Развязывайте, я приказываю!

Косой подходит к Семену, ударяет его в живот.

З и н а и д а. Вы что, сдурели?! Семен!

К о с о й. Женщин не трогаю, не пиши.

К н я з ь. Те-те-те. Груб ты, Косой, твердолюб и прямолинеен.

К о с о й. Для равновесия. Хватит одного философа на пару.

К н я з ь. Учиться тебе надо, а ты только мускулатуру целыми днями тренируешь.

К о с о й. Я здесь не беседы вести, а для дела.

С е м е н. Слушайте, парни. Давайте я сделаю вид, что ничего этого не было, и разойдемся с миром.

К о с о й. Ты сюда пришел?

С е м е н. Ну пришел...

К о с о й. Ты сам сюда пришел?

С е м е н. Ну сам.

К о с о й. Так вот, то, что ты пришел, и пришел сам, значит, что договор подписан и обратной силы не имеет.

К н я з ь. А раз подписан, надо исполнять. Мы черти честные, мы договоры блюдем.

С е м е н. Какие черти? Что за бред вообще?

К о с о й. А с кем, ты думал, отец Дмитрий такие дела ведет? Сообрази головой своей: если венчание от Бога, то развенчание от кого?

З и н а и д а. Дорогой, я хоть не такая верующая, как ты, но логику улавливаю.

С е м е н. Да ты дура потому что! Какие черти? Нет никаких чертей!

К н я з ь. Нет, нет, и за сестричками в бане никто никогда не подглядывал.

Пауза.

С е м е н. Вы кто такие?

К н я з ь. Ну что, малыш Косоглаз, приступим душить?

С е м е н. Как так — душить?

Князь. Аккуратно, в специальных перчатках. А иначе как ты Божий Дух вытравишь?

Зинаида. Семен!

Семен. Погодите, пацаны, такого уговора не было.

Косо́й. К нам приходишь — уговор один: развенчать — и баста. А как его сделать — это нам виднее.

Зинаида. Семенушка!

Семен. Давай другой способ, я не согласен!

Князь. А какой тебе другой способ? Божий Дух надо убрать, который во время венчания сошел. А убрать Его никак нельзя. Он цепляется насмерть. То есть до смерти. А в мертвом теле Божий Дух не живет — улетает.

Косо́й. Вместе с душой.

Князь. Но душу можно успеть схватить и на место поставить. Тут дело тонкое: кровь пускать нельзя, с кровью душу легко проворонить — непонятно, когда ее, грешную, ловить. А газом или ядом — опять же можно упустить момент. Руками — оно чувствуется, а сторонними веществами — проморгаешь только так.

Косо́й. Были случаи.

Князь. Тогда ни Духа, ни души. Но ты не бойсь. Мы черти опытные, поймаем.

Зинаида. Сеня! Не нужны мне ни платья, ничего! Голая уйду! Ни слова обо мне не услышишь!

Князь. Да ты не переживай, лебедушка, в обиде не останешься. Вместе задушим!

Семен. То есть как вместе?

Князь. Ну ты же пришел?

Семен. Ну пришел.

Князь. Сам пришел?

Семен. Мужики, тут какая-то подстава.

Косо́й. Все время так. Надо уже договориться с бородатым, пусть хоть готовит их, намекает.

Князь. Еще картинки покажет. Саботируешь?

Косо́й. Да надоело — каждый раз мусолить. Не, а на что они рассчитывают?

Князь. Так ведь люди же.

Косо́й. Вот в Германии нормально все было — пришел, увидел, задушил. Сослали нас в эту Сибирь.

Князь. Ты мне тут политику не разводи. Где сказали, там и гадь. Раз работа тяжелая, значит, особо нужная. А если особо нужная, значит, мы с тобой, на нее посланные, особо котирujemyся. Понял?

Косо́й. Женщина — моя.

Зинаида. Семен, ты же ничего мужик, ну сделай что-нибудь, я тебя умоляю!

Семен. Пацаны. У меня там дом. Драгоценности. Счет в банке.

Косо́й. В одном банке?



Семен. В одном.

Косой. Мелковата стала птица у отца Дмитрия.

Князь. Кризис!

Семен. У меня друзья есть. Родственники.

Князь. Да ты не напрягайся, родненький, не поможет. Я ж тебе уже сказал: мы черти честные, договор для нас — как для вас... Э-э... А что для них?

Косой. Что ты с ним церемонишься? Давай начинать! Кончатъ то есть.

Семен. Будь ты проклята, нечистая сила!

Князь. Поосторожней со словечками. Нам-то это ничего, но в жизни — следы. Это я тебе по-товарищески.

Косой. Ты его еще отпусти по-товарищески. Много болтаешь!

Князь. Цыц, мелкотня!

Косой. Мелкотня, а доложить могу.

Князь. Бардак, суший бардак! Никакого мира не разрушишь с такими работниками. Все друг за другом следят, друг на друга пишут. Одна цель у нас должна быть, охломон, и командный дух! А иначе нас пересветят по одному. Понял?

Косой. Что ты меня жить постоянно учишь? Я без тебя павший, все знаю, чего и как. Болтать вы, старики, любите, вот и не получается ничего. Пока болтаете, сопли размазываете, тонкие ваши искусы разводите, они уже десять раз передумывают и так грех втуне и пропадает — в одной душе пасется.

Князь. Глуп ты, Косой. Одно утешенье, что молод. Чем дольше грех будет в ней пастись, тем более изведет. Человек, как согрешит, сразу раскаивается. Если грех в душе не вызрел, с ним поспешать не надо. Поспешешь — праведника родишь. А когда душа вся грехом затоптана, его совершение — простая формальность. Человек даже не замечает содеянного и дальше идет, к новому обрыву. Понял, малявка?

Косой. Мы дело делать будем?

Семен. Пацаны, вы так хорошо сейчас базарили. Я бы еще послушал.

Князь. Приступай.

Зинаида. Мама! Мамочка! *(Теряет сознание.)*

Семен. Зинка!

Князь. Чего это с ней?

Косой *(осматривает)*. Вроде в обмороке. Если не придуривается.

Семен. Да я вас из-под земли достану! Размажу, как клопов! Усекли? У меня такие связи, вас на том свете найдут!

Князь. На том свете нас искать не понадобится, на том тебя к нам так приведут.

Косой. Как мне ее душисть-то теперь? Голова висит, как черт-те что!

Семен. Только тронь ее, урою!

Косой. Ладно, давай, пристроился как-то. Поехали, что ли?

Князь сзади обхватывает шею Семена, переглядывается с Косым.

Князь. Давай на три.
 Косой. Давай.
 Семен. Пацаны!
 Князь. Ра-аз!
 Семен. Пацаны, ну что-нибудь же вам нужно? Я все что угодно!
 Я дом продам! Машину! Дачу!
 Косой. Два-а!
 Семен. Да что это за договор такой? Давайте другой подпишу!
 Какой скажете! Ну дайте хоть немного еще времени!
 Князь. Три!

Внезапно раздается громовой раскат, свет мигает, гаснет, потом зажигается с большей яркостью, чем было до этого. Слышится громкий голос, как будто через микрофон: «Чего творите, охальники?» Входит Гавриил.

Косой. Агас, Божий прихвостень!
 Князь. Не шухерись. У нас все по закону! Сам пришел!
 Семен. Брат! Брат, помогай, век не забуду! Душегубцы! Звониментам!
 Князь. Ох и люди пошли.
 Косой. Вообще не сечет.
 Князь. Ты с кем говорить удумал, тварь дрожащая?
 Косой. Голову склонил!
 Семен. Господи! Господи, прости грешного!
 Гавриил. Хорош резвиться. (Семену.) Гавриил.
 Семен. Семен.
 Гавриил. Симеона Богоприимца знаешь?
 Семен. Не встречал. Но могу поспрашивать.
 Гавриил. Поспрашивай.
 Косой (с усмешкой). Ну, рыба!
 Князь. Ты, Гавриил, закон знаешь. Все по доброй воле. Махай отсюда.

Косой. И что это архангелы стали за грешников заступаться?
 Напуталось что-то в святейшем королевстве.
 Гавриил. Прищепи ему язык чем-нибудь, а то рукой махну.
 Князь. Цыц, Косой!
 Косой. Смотри, как бы руку не отшибло! Здесь наша территория, неча тут светиться!

Гавриил делает взмах рукой. Ничего не происходит, все переглядываются. Гавриил снова делает взмах — раздается раскат грома. Косой хватается за рот, начинает мычать и кататься по полу.

Князь. Неофит, запал еще не прошел. Оставь мальчика.
 Гавриил делает еще один взмах. Косой успокаивается, стонет, пытается подняться.
 Гавриил (Семену). Жинку любишь?
 Семен. Ага.



Гавриил (*Князю*). Переведи.

Князь. Так вот и любит — «ага»!

Семен. Люблю! Честное слово, люблю!

Гавриил. Не вижу.

Семен. А как показать-то?

Косой. Развяжи его, светлячок, пусть покажет!

Гавриил. Разговорчивый у тебя новобранец. Где взял такого?

Князь. Полгода как свалился.

Гавриил. Сильно стукнулся?

Косой. Высоко сидел!

Князь. В светлицу захотел? Цыц, говорю! Гавриил, валяй назад, тут делать нечего.

Гавриил. Тоскливо мне.

Князь. Так за чем дело стало? Давно зову!

Косой. Заждались!

Князь. Закуси язык, мелюзга! Гаврюша! Давай к нам, примем как родного! А как весело будет, не представляешь! Это ж ты только изредка появляешься, многого не знаешь. Такие дела ворочаем! Минуты не будет задуматься! А где думы нет, там и тоска не пройди! Праздничным станешь, заулыбаешься. А то что-то у тебя пепел на голове, взор долу поник, ая-йй. Аж грудь заходится — так смотреть больно.

Гавриил (*Семену*). Спасти вас, что ли?

Семен. Спаси, Гаврила! Богом молю!

Князь. Те-те-те.

Косой. Беспредел намечается или я чего не знаю?

Князь. Напрасно летал. Безнадежный он.

Гавриил. Что б ты видел. (*Косому.*) Расстегни его.

Косой. Ага, аж с ног сбился!

Князь (*Гавриилу, который уже приподнимает руку*). Да не махай ты лапами своими, видишь, дурной пацан! (*Косому.*) Давай. Я подсоблю. (*Достает пистолет.*)

Семен. А мне, знаете, и так ничего... Мне, в общем-то, даже удобно...

Косой (*бьет Семена в живот, развязывает*). Никакого закона на них нет, творят, что хотят, везде, где хотят. Мафия!

Пока Косой занимается Семеном, Зинаида приходит в себя.

Князь. Лебедушка оживает.

Зинаида. Нас уже задушили? А это кто?

Гавриил. Гаврила.

Зинаида. Зиночка.

Пауза.

Гавриил. Так вот. Есть только два выхода. Или за все платишь ты. Или жинка.

Семен. А много платить? Я уже три сотни выложил. Я не Рокфеллер, мужики, мне хоть время на собрать надо.

Князь. Ну кого, кого ты прилетел сюда спасать?!

Гавриил. Ее.

Семен. Я что-то не понял.

Гавриил. Ее расстегни. И вообще, кончайте ваши штучки. Надругательств не потерплю.

Князь. Так для надежности, Гаврюша, чего сердиться? Давай, Косой. Живенько. Сейчас самое интересное начнется.

Косой развязывает Зинаиду.

Гавриил. Луп ты, Семен, как посмотрю. Объясняю. Черти договариваются только в одном случае: если на кону душа. Больше им, сволочам, ничего не интересно.

Косой. Мы почему это терпим?

Князь. Цыц!

Гавриил. Пройдете обряд — души станут их. А этим только одна радость — смотреть, как двое грызут друг друга.

Косой. Да уж не перед вами поклоны бьют!

Гавриил. Взять и отменить договор — дудки. Тем, что ты по доброй воле пришел, ты всю свою жизнь в этот договор вписал. Свободны вы — как распорядитесь своей свободой, так и будет. Ты пожелал распорядиться так, чтобы ее у тебя не стало. Ты и жинка твоя.

Зинаида. Я вообще не за этим шла!

Князь. Лучше и не говорить, за чем ты шла, лебедушка.

Гавриил. То, что они обратно в тело поставят, будет уже мертвое. Так всю жизнь и проживете — с мертвыми душами.

Князь. Те-те-те. Ты, Гаврюша, не передергивай. Ничего мертвого жить не может, раз живут, значит, живые, но с некоторыми оговорочками.

Гавриил. С такими оговорочками ничего живого быть не может.

Князь. Ой, завел шарманку! Слушай ты его! Ну, чего от тебя требуется? Соврать где, посквалыжничать, дорогу кому перейти, охолодить — а чтобы не лезли, не мешали, не думали себе! Ну и чего ты, Семенишка, из этого не делаешь?

Семен. Так еще и поболее...

Князь. А теперь на это у тебя будет санкция! Сечешь? Раньше ты вроде как какие-то там законы совести нарушал, а теперь с тебя все взятки гладки, теперь за все отвечаем мы и законы устанавливаем — мы. А у нас какой закон самый главный? Чтобы тебе и лебедушке твоей хорошо было, чтобы вам всегда жилось сладко и с достатком, чтобы сердце ваше ни о чем не кручинилось, не болело. Ну какое же от нас зло, Семен? Стал бы отец Дмитрий с нами водиться, если бы что худое было?

Гавриил. Не добил я тебя в свое время, Князь.

Князь. Так я же и благодарен! Что нас не добивает — делает сильнее. Ты продолжай, Гаврюша, продолжай.



Г а в р и и л. Воля волей побеждается. Но нельзя просто взять и захотеть обратного. Нужно искупить. А искупает жертва. А самая большая жертва какая?

Пауза.

С е м е н. А почему нельзя-то? Что тут такого? Все осознал, во всем раскаиваюсь, чего еще нужно?

Г а в р и и л. Нужно, значит, нужно. Заварил кашу — расхлебывай.

К н я з ь. Вот все у них так, никакого уважения. Сказано — надо выполнять! А почему выполнять, зачем? Сказано «в храм ходить» — встал с утра и пошел! Отстоял три часа — сонный, измочаленный — ничего не понял, но то — на-адо! Сказано «исповедайся» — пришел, отчитался. Но при том же сказано: «Несть человек, иже жив будет и не согрешит». Это что ж получается? Сколько бы ни исповедовался — только от священника отошел — эть! Во грех вляпался! И чего тогда эта исповедь? Зачем? Долго ль ты, Семенушка, праведно пожил после отпущения грехов отцом Дмитрием?

С е м е н. Да не помню уже...

Г а в р и и л. Поговори с ним! Язык хорошо висит, да поет на один мотив.

К н я з ь. Между прочим, ничего не нарушаю. Ни к чему не принуждаю, ничего не навязываю!

Г а в р и и л. Только подводишь куда надо.

К н я з ь. А куда я подвожу? Пожалуйста, Семен, воля твоя! Лебедушку отпустим с миром, с Гавриилом то есть, а ты тут останешься. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна. Глава пятнадцатая, стих тринадцать. *(Наставляет на него пистолет.)* Зато у нее все в порядке будет. Встретит другого, детей ему нарожает. Давай, говори свое слово, вмиг все решим! Ну! Быстрее, быстрее говори!

Г а в р и и л. Стерва рогатая.

К н я з ь. Не имеешь права! Ничего не нарушаю! Ну! Ну же!

С е м е н. Да убери ты дуло свое, думать мешаешь!

К н я з ь *(опускает пистолет)*. Думать так думать, дело хорошее.

Г а в р и и л. Ведет он тебя, как собачку!

К н я з ь. Псиной обозвал! Вы для них что шестерки. «Пшел туда», «сделал это», «тебя не спросили». Дедовщина!

С е м е н. Ты мне тоже зубы не заговаривай. Твоим рабом, что ли, быть?

К н я з ь. Рабом? Это ж он так сказал, а что на самом деле? Уже говорил тебе, Семенушка, нет больше для нас радости, как та, чтобы вам довольно жилось. Поел ты сыто — хорошо, оделся тепло — хорошо, съездил куда, отдохнул на славу — замечательно! Ну? И кто здесь кому раб?

С е м е н. А другие?

К н я з ь. А чего другие? Кто тебе не враг, тот тебе друг. А «другу помоги» — и для черта закон!

Г а в р и и л. Все он верно говорит, Семен. Все так: твои желания для него закон. Но только твои желания. Чуть кто посягнул на твое, сейчас

же стал неугоден. А «твоим» при такой жизни делается все. Вот и сообрази.

Князь. Те-те-те. На лету схватывает, светелочка! А все-таки лукавишь. О покаянии разбойничка — что, умалчиваешь?

Семен. Какое еще покаяние?

Гаврил. Ведет он тебя, идиот ты этакий!

Князь. Видишь, заволновался. Тайну сейчас расскажу, а тебе знать не положено. Ты же кто такой? Да никто. Клади себе поклоны, десятиночку отстегивай — аккуратненько!

Гаврил. О раскаявшемся на кресте разбойнике речь.

Князь. Покаялся, и был принят, и уже завтра амброзий с нектаром пил, и с Боженкой в дурака валял.

Гаврил. Пошути!

Князь. Ладно, ладно, про дурака — это для контрапункта. Подумаешь, душу продал! Ну, продал! Сегодня продал, завтра на кресте покался, и вот она, душа, у Господа за пазухой. Все возможно верующему, Семенушка. Обряд совершим, вдоволь поживешь, перед смертью молитвочку прочитаешь и — здрастье, Святы́й Душе!

Гаврил. Языком-то молоть — не грехи отпускать.

Князь. А грехи отпускать — не ко греху склонять! Правду тебе говорю: ко греху тебя склоняю. Видишь, честно все. Мы черти честные, души ваши бессмертные уважаем, высоко ценим, потому и роги обиваем. А он почему тебя отговаривает? Спроси у него!

Семен. Ну?

Гаврил. Да на здоровье! Живи в свое удовольствие, авось покаяться успеешь. Во-первых, не знаешь, когда приберет — глазом не моргнешь, не то что молитву прочесть, во-вторых, никаких гарантий нет, что твоя душа сможет совершить такой разворот.

Князь. Не верит в тебя! Думает, дрянь ты, Семенушка, такая, что ни за что раскаться не захочешь! Вот тебе отношение!

Семен (*Гаврилу*). Так и что, правда это, про разбойничье покаяние?

Гаврил. Его не проведешь — вот тебе правда.

Семен. Да ладно! (*Подходит к Зинаиде, берет ее за руку.*) Удалось же одному, чем другие хуже? Давай свой обряд, поживем еще!

Косой (*Князю*). Признаю: есть чему поучиться.

Зинаида. Я не хочу!

Семен. Кто тебя спрашивает? Душите!

Зинаида. Я сказала!

Семен. Все зло от баб! Разбежался из-за тебя пропадать! Давайте скорее!

Зинаида. Уходи, Семен. Я остаюсь.

Пауза.

Семен. Только что обсудили всё, тебе уши заложило?



Зинаида. Я, дорогой мой, конечно, не такая верующая, как ты, но чтобы душу продавать... Давайте меня в жертву, пусть живет. Ненаглядный.

Семен. Брось, Зинка! Все нормально можно устроить!

Князь. Мужу голова — Бог, а жене голова — муж. Нечего тебе беспокоиться, лебедушка, за все с Семена спросят.

Зинаида. Гаврила, можно этого как-нибудь замолчать? Уж больно он на отца Дмитрия похож. Сразу мне этот старый плут не понравился. Сколько взял-то?

Семен. Триста... пятьдесят.

Зинаида. Вышла замуж за идиотика.

Семен. Сама ты дура! Так, а в чем дело? Раз муж — голова, почему жена права качает? Быстренько взяли и задушили, я сказал!

Князь. Те-те-те. Проблема.

Косой. Нигде, нигде от нее не скрыться! Я зачем сюда падал? Давай хоть просто так задушим! Надоело смотреть!

Князь. Истерика у ребенка, неуравновешен. Так что, Семенушка, с ненаглядной останешься или жить пойдешь?

Пауза.

Семен. Слушай, Зинаида, ты же знаешь, я у матери один остался. Шутка ли — потерять двоих детей, а еще последнего — что с ней будет?.. Я же предлагаю нормальный расклад!

Зинаида. Чеши, милый. Передай маме привет.

Семен. О себе только думаешь... На здоровье! *(Гавриилу.)* Уводи.

Гавриил. Хорошо подумал?

Семен. Ты на меня моргала свои не таращ! Это у вас все просто, а у нас — обстоятельства. По шею. *(Уходя, Зинаиде.)* Дура.

Гавриил и Семен уходят.

Зинаида. Покурить хоть дайте.

Князь. Здоровый образ жизни, лебедушка — не курим! Вот выпить — это всегда. Тащи, Косой!

Косой. Прямо с ней?

Князь. Жалко тебе, что ли? Пускай погрешит в последний раз!

Косой уходит.

Зинаида. Какие-то вы черти ненастоящие.

Князь. Пожалуйста!

Князь щелкает пальцами, но ничего не происходит. Подождав, щелкает снова. Лампочки начинают мигать.

Зинаида. Таких фокусов я еще в детстве насмотрелась.

Косой входит с большой сумкой и бутылкой, сумку ставит в угол.

К о с о й. Что ты перед ней выстилаешься? *(Щелкает пальцами, свет перестает мигать.)* Кружок нет. Глотай так или обойдешься?

З и н а и д а. Не очень-то вежливо.

К о с о й. Нам с тобой не вместе жить.

К н я з ь. Женоненавистник!

З и н а и д а *(делает глоток)*. А что, черти живут вместе с женщинами?

К н я з ь. И чертихи вместе с мужчинами — все бывает на свете! *(Выпивает.)*

З и н а и д а. Ничего не понимаю... Как-то все у вас запутано.

К н я з ь. Это у вас все запутано, а у нас все просто — пал и пропал.

З и н а и д а. А если назад захочется?

К о с о й. А не хочется. Ну их в пень, всех этих ангелов с огненными мечами. *(Выпивает.)*

К н я з ь. Горячится. Недавно оттуда, память еще свежа. Я-то уж давно все забыл.

З и н а и д а. Не очень это вас радует, смотрю.

К о с о й. Напилась?

Косой ставит бутылку на пол. Встает позади Зинаиды.

К н я з ь. Молитвочку хоть бы прочла.

З и н а и д а. Не знаю я никаких молитвочек, откуда?

К н я з ь. Повторяй за мной.

К о с о й. Донесу, старик.

К н я з ь. Господи.

З и н а и д а. Господи.

К н я з ь. Помилуй!

З и н а и д а. Помилуй!

Раздается удар грома, мигает свет, Косой резко хватает Зинаиду, сдавливает ей горло, она вскрикивает и обмякает. Он оттаскивает ее в угол. Князь достает сигареты, закуривает. Косой подходит к бутылке, выпивает. Всю последующую сцену он между делом собирает вещи — веревки, лампы, провода.

К о с о й *(куда-то вверх)*. Петрович! Аппаратуру почини! Клоунада какая-то выходит.

Входит о т е ц Д м и т р и й. Осматривает Зинаиду.

О т е ц Д м и т р и й. Не передавил?

К о с о й. В следующий раз сам делай.

О т е ц Д м и т р и й. Что-то ты сегодня не в настроении, милый. Что так?

К о с о й. Петрович, прекрати, не люблю! Давай плати и сворачиваемся, устал я, еще на его тарантайке трястись четыре часа. *(Князю.)* Амортизаторы замени наконец, деньги есть!

Отец Дмитрий достает пачки денег, дает Косому и Князю. Князь не глядя убирает в карман, Косой пересчитывает.

К о с о й. Маловато!
 О т е ц Д м и т р и й. Куполочек обновить надо, совсем золотишко облезло.

К о с о й. В прошлый раз свой куполочек обновлял!
 О т е ц Д м и т р и й. Значит, осталось еще.
 К о с о й. В карманах у тебя еще осталось, хитрая борода.
 О т е ц Д м и т р и й. Анафемку захотел?
 К о с о й. Полтину не принесу — жена похлеще анафемку устроит.
 О т е ц Д м и т р и й. Женатый заботится о мирском... *(Дает ему деньги.)* Голубушке привет. Подкаблучник.
 К н я з ь *(отцу Дмитрию)*. И что теперь с ним будет?
 О т е ц Д м и т р и й. Неисповедимы пути Господни.

Входит Г а в р и и л.

О т е ц Д м и т р и й. Твоя доля, Гаврюша. *(Протягивает деньги.)*
 Г а в р и и л *(не берет, Князю)*. Заслуженный наш... Ты что натворил? Мне тебя не переиграть, ты ж знал! Зачем давил?

К н я з ь. В раж вошел.
 Г а в р и и л. В раж?!
 О т е ц Д м и т р и й. Не кричи, дуралей, очнется еще!
 Г а в р и и л. А вы как это всё допустили?
 О т е ц Д м и т р и й. А я что? Я ж только приблизительно набросал, остальное — экспромт. *(Князю.)* А хорошо отработал! Истинный бес! Дай-ка покрещу тебя. *(Крестит.)*

Г а в р и и л. Вы что, не понимаете? Вы ж ему всю жизнь испортили!

О т е ц Д м и т р и й. И тебя, благой ты наш. *(Крестит.)* А ты что там с бутылочкой спрятался? *(Крестит Косого.)* Ай, женушка устроит разнос.

К о с о й. Ладно уж, пару капель!
 Г а в р и и л. Циркач! Трепло! Только бабки рубить! С меня хватит! Подавитесь!

О т е ц Д м и т р и й *(перебивает)*. Тс-с!

Гавриил вдруг резко замолкает.

О т е ц Д м и т р и й. Возьми лебедушку и иди. Очнется, скажи: Бог милостив, чеши к Семену и не грехи больше. Отпустишь с миром. Уяснил?

Гавриил кивает, осторожно берет Зинаиду на руки.

О т е ц Д м и т р и й. И запомни, ангел мой, девушка — замужем.

Г а в р и и л молча уносит З и н а и д у.

К о с о й *(навеселе)*. Хорошо вас там по гипнозу натаскивают! Меня не надо, я чертяка смиренный!

О т е ц Д м и т р и й. Забери ты у него бутылку, ради Христа!

К о с о й (нехотя отдает бутылку Князю). Я только понять не могу — чего он на сестричек в бане так среагировал?

О т е ц Д м и т р и й. Так ведь не рассказывал никому и на исповеди утаил. Нехорошо.

К о с о й. Если утаил, откуда знаешь?

О т е ц Д м и т р и й. Все Богу ведомо, мы лишь посреднички.

К о с о й. Хитришь, борода! Агентуру, видать, развел!

К н я з ь. А все-таки прав он. Я ведь соблазнил.

О т е ц Д м и т р и й. Соблазнил, дорогой, ты соблазнил, а он с удовольствием соблазнился. Не переживай, родимый! Чем ниже человек падает, тем сильнее стучается, чем сильнее стучается, тем дольше болит. Давайте по домам, с ног валюсь.

К о с о й. А я бы на его месте тоже сбег. Подумал бы, дурь какая-то, и сбег.

К н я з ь. Глуп ты, Косой.

К о с о й (Князю). Отмер! Давай лучше «Дядю Ваню», я завтра за барона. Петрович, рабочий загаси! (Уходят.)

Звонит мобильный отца Дмитрия.

О т е ц Д м и т р и й. Да, матушка, цветочек аленький!.. Да что, просто так сказал, захотелось. Просто так захотелось, без повода... Где надо, там и есть, скоро буду, картошки свари... Матвеевна, не закладывай мне уши!.. Вообще не приду, лопай одна свой картофан! Все! (Кладет трубку.) Господи помилуй!

Оглядывается, делает щелчок пальцами, свет гаснет. Уходит.

З а н а в е с .



Виктор РОЖКОВ

НАСЛЕДНИКИ КИПРИАНА

П о в е с т ь *

Глава 12

Примерно через неделю после прибытия Авксентьева в Мангазею об этом стало известно в обители игуменьи Марфы, а поведал о том не кто иной, как Викентий.

Появился он здесь неожиданно-негаданно, переполошил, как водится, всех, и надо сказать, что появлению этому сопутствовали некоторые весьма интересные события.

С первых дней лесной жизни Аглая пристрастилась к прогулкам — начала все дальше и дальше уходить от обители, а когда вдоль и поперек исходила остров, где они жили, решила побывать и в соседних лесах.

Марфа эту затею не одобрила:

— Ох, душа непоседлива, куды еще несет тебя, каки таки грибы-ягоды?.. Ведь чащоба вокруг едина — зверье разно... Девичье ли дело там толкаться одной?

— Отпусти ее, мати Марфа, — неожиданно вступился Дионисий. — Пригляделся я к ней: ловка и в делах разных разумна. Лес, ежели по нему с толком ходить, не супротивник, а защитник доброму человеку. Ей жить здесь, добро основывать — пусть идет.

Твердо пообещав вернуться к вечеру, Аглая с небольшой продолговатой котомкой за плечами уселась в приготовленную ею лодку и, покинув остров, скрылась вскоре в камышах на противоположном берегу.

Даже нельзя себе представить, что бы подумала, а тем паче изрекла Марфа, узнав о том, что находится в котомке, которую прихватила с собой Аглая. Она оставила лодку в камышах, покрепче привязав ее к огромной коряге, и по песчаной косе вышла на прибрежную тропинку. Из рассказов Викентия она знала, что тропинка эта здесь одна-единственная среди окружающей чащобы и что именно по ней можно выйти к многоверстной прогалине, выводящей в свою очередь путника на дорогу к Мангазее.

«Подале, подале мне отойти надобно, — размышляла Аглая, — в лесу эхо прилипчивое: по деревьям, по вершинкам так и покатится вдоль, не дай бог, наши услышат...»

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 7, 8, 9.

Она шла еще полчаса и наконец выбрала себе подходящее место. Прогалина здесь круто сворачивала влево, образуя узкую поляну, плотно окруженную высокими елями.

«Дядюшка, дядюшка, царствие тебе небесное, — думала Аглая, доставая из котомки ловко сработанную ручную пищаль и должный к ней огненный и иной запас: пули, порох, пыжи, шомпола-щетки. — Помню словеса-поучения твои, дядюшка, — продолжала размышлять Аглая, изготовив пищаль к бою. — “В сиротском твоём положении, когда ты при живом еще отце сирота, — говаривал ты не раз, — надеяться тебе не на кого, сама себе и оборона, и защита”. Вот и пригодилось твое стрелецкое поучение. Теперь, когда Викентий с Саввой в дальние пределы Югры намерились, неужто я от них отстану? Да ни в жизнь!..» Аглая еще раз осмотрела пищаль, тайно прихваченную ей у Викентия, и стала взглядом отыскивать цель — место на деревьях, где ее выстрел был бы заметен.

Можно назвать это как угодно: стечением обстоятельств, случаем, но именно в это время Аглая услышала неподалеку треск сучьев и чьи-то возбужденные голоса. Она тут же смахнула в котомку весь оружейный запас и с пищалью наизготовку затаилась в кустах. Вскоре на поляне появились два человека. Один из них был уже знакомый нам старшина мангазейской городской стражи Федот Курбатов. Другой, видимо, его помощник — шустрый быстроглазый детина с щедрым посевом веснушек на глуповатом лице. Он же и предложил, первым глянув на солнце, а потом и указывая на него:

— Вона оно еще где, родимое, и по всему выходит, што мы на полдня, не менее, опередили того гилевщика. Подкрепиться да отдохнуть малость бы надобно.

— Давай подкрепимся, — опускаясь на траву, сказал Федот и, устроившись поудобнее, спросил парня: — Знаю, што тебе сии места лесные добро знакомы, бродил ты тут с охотниками не раз, но пошто считаешь, будто тот гилевщик, первый Игнашкин друг и подручник, именно здесь пройти должен?

— А потому, што на сем многоверстье иных путей и не свидишь: справа по переду озеро, слева топи болотные с чащобой непролазной, только тут и пойдет, коль придется.

— Куды ж его несет поспешно столь? — растягивая в злобе слова, промолвил Федот. — Вот бы о чем поспрошать его надобно. Так не скажет, поди...

— Это у меня-то? — Помощник даже удивился, и на лице его промелькнуло что-то похожее на обиду. — Да меня сам мангазейский воевода князь Домашин не раз хвалил за умельство мое по делам расспросным да пытошным.

Упоминание имени воеводы тут же вызвало у Федота взрыв негодования.

— За мою-то верную беспорочную службу — и тако меня в руганье да позорище ввести!.. Ну упустил я того Игнашку-злodelьца, всяко бывает, так неужто теперь я к службе государевой не гож?!

Он снова вспомнил, как распоследними словами ругал его воевода да кричал, размахивая у носа кулаками: «Последнее тебе дельце, адов сын. Иди лови где хошь Игнашку тово, и покуль не схватишь — штоб на глаза мне не попадался, вот и весь сказ!»

Даже вздрогнул невольно Федот, вспоминая этот разговор, и тут же вновь обратился к своему спутнику:

— Значит, будем здесь ждать, пуццай по-твоему станется — словом, расспросим как следует, ну а там уж видно будет...

Весь этот разговор Аглая слышала полностью, так как место у нее за кустами было удобное да и расположились они совсем неподалеку.

«Кого это они имать собрались? — тревожно размышляла Аглая, не зная, как ей поступить далее. — Может, вернуться, предупредить наших в обители, а с другой стороны, может, здесь мое место? Тому, кого ждут злодеюки эти, может, и я снадоблюсь, помогу чем...»

Свежий ветер, раскачивающий ветви деревьев, к полудню сник, и в лесу неожиданно установилась редкая тишина, когда лишь где-то далеко-далеко едва слышно звучат то ли отголоски дальнего эха, то ли вовсе непонятные звуки вперемежку со скрипами, шорохами, раскатистыми потрескиваниями ломких сухих сучьев.

Человек, которого, затаившись, с нетерпением поджидали мангазейские стражники, появился неожиданно. Он шел не торопясь, беспечно посвистывая, закинув пиццаль за плечи, размахивая на ходу зажатым в руке охотничьим колпаком и подставив солнцу копну пышных светло-сомоленных волос.

«Викентий, господи! — тут же узнала его Аглая. — Куды же это он? Как же оберечь его, подсказать? Аль крикнуть погромче?»

Она просунула меж сучьев пиццаль, но в этот момент произошло то, что было страшнее страшного для Аглаи. Федот, видать, был мастак в своем деле. Как тень возник он за спиной Викентия, играючи ударил его прикладом пиццали по голове и, подхватив под руки, уложил на краю поляны.

Аглая никогда ранее не ощущала боли в сердце, да в ее годы это было бы смешным, а тут, как жалуются старики, подступило, будто тонкая игла сломалась в груди и концы ее уперлись ей в сердце так, что минуточку-другую она и вздохнуть-то как следует не могла. Боль тут же ушла, но тревога усилилась. Раньше ей бы и в голову не пришло выстрелить в человека. Этому не было бы ни оправдания, ни названия, а теперь она, не раздумывая долго, решила: «Ежели еще раз злодеец этот Викентия тронет, я его приутишу...»

Увалень, коего Федот называл Семкой, быстро соорудил костер, подтащил крепко связанного уже по рукам и ногам Викентия и, поскольку тот пришел уже в себя, сказал ему с мрачноватой ухмылкой:

— Хороводиться нам с тобой, гилевщик проклятуций, часу нет. Скажешь без лжи, куды и пошто шел, леший с тобой, отпустим враз. А станешь лжу изъяснять, поджаривать будем шомполишками от пиццалей. Зришь, вона шомполишки те в огне добела раскаляются.

Не пробовал еще? Мясо-то человечье от шомполишек тех так и расползается.

Он рассмеялся, ехидно щура глаза и довольно почмокивая губами. И тогда Викентий как мог приподнялся на связанных локтях и плюнул изо всех сил в его сияющие самодовольством глаза. Тем же ответил он и Федоту. Тот вскинулся, ругнулся забористо и, выхватив из огня раскаленный шомпол, только вознамерился провести им по груди Викентия, как из-за кустов ударил выстрел. Выпустив шомпол из рук, уже за свою грудь схватился Федот, зажимая набухшую кровью рану. Он еще успел крикнуть побелевшими губами: «Кто это, кто?!» — но тут же сник, упал на траву, безжизненно раскинув руки.

Семка, сидевший чуть в стороне, попытался было встать, но ноги отказывались повиноваться. Когда он наконец привстал и боязливо распрямился, из-за кустов вновь ударил выстрел и властный молодой голос приказал:

— Садись!

Пуля вырвала траву у самых ног Семки, и он, понимая, что невидимый и оттого вдвойне страшный стрелок мог бы шутя убить его, но пока требует лишь повинования, тут же ткнулся в землю и уселся, втянув плечи.

Но, пожалуй, больше всех удивлен был случившимся Викентий. Удивление его достигло крайнего предела, когда он увидел, как из-за кустов показалась Аглая с короткой пищалью в руке.

— Господь всемилостивый! Чудо зрю али вправду сие есть перед глазами? — только и сказал он, пока Аглая развязывала его.

Держа пищаль под рукой, она ни на минуту не спускала глаз с тупо и непонимающе смотревших на нее мангазейских стражников.

...Разговор, который состоялся вечером того же дня в келье игуменьи Марфы, стоит того, чтобы привести его полностью. Марфа, сбоку от нее — Дионисий и чуть поодаль — Викентий расположились под иконами в чистом углу кельи. Сразу у порога, низко опустив голову, стояла на коленях Аглая. Четки ее, крепко зажатые в руке и касавшиеся пола, шевелились, постукивая, так как Аглая никак не могла унять дрожь, охватившую ее с самого начала «монастырского вопроса».

Давно уже был опрошен Викентий, сказал свое слово Дионисий, и, наконец, подошло время держать ответ Аглае. Глядя на нее с неприступной холодностью, Марфа, спрашивая, не говорила, а цедила слова сквозь зубы.

— Како же ты, путь свой служению Господу посвятить намерившись, могла в человека стрелить? Богопротивно сие естеству и душе людской.

— В человека стрелить у меня рука бы николи не поднялась, а то не человек был: изверг-злопыхатель адов, — неуступчиво ответствовала Аглая.

— Матушка, я же говорил, толковал тебе, што и как, — попытался вступить за Аглаю Викентий.

— А ты молчком сиди-посиживай, коли я спрос веду. Сам девку на тако дело вынул. Охотник!.. Доброго охотника злодеи в лесу николи не схватят.

Викентий покраснел, привстал было от возмущения, но сдержался, смолчал.

— Вот я и говорю, — уже не глядя на него, продолжала Марфа. — Не ведаю, каку епитимью наложить на тебя. Или, может, совсем удалить от дел монастырских? Смирения не вижу в тебе. Кака ж монахиня из тебя получится в таком разе?

— Служить Господу по-разному можно, лишь бы от души, от сердца самого та служба исходила, — с заметной непокорностью и обидой отвечала Аглая. — А что касасемо вины моей, матушка, то не прими во грех, дозволю уж напомнить тебе, како ты сама, еще во миру будучи, злодеев неких из пищали извела во благо добру. Так уж и мой грех не суди мерою тяжкой, хоть и ее приму безропотно...

— Шествуй с богом покуль, — оборвала ее Марфа и, когда Аглая, поднявшись с колен и поклонившись присутствующим, вышла, повернулась к Дионисию: — Вижу, вижу, отче, сколь благоприятен ты к любимице своей, а то не дело...

— Так ведь умна, умна девка, — с гордостью ответил Дионисий, — умна и душой чиста, истая воительница за веру Господню!

— То неизвестно, — все еще хмурясь, произнесла Марфа, — будет аль нет воительницей истинной.

— Будет! — заключил разговор Дионисий. — Уж такие от своо не отступят, истинно реку, и в душе ты со мной согласна.

После ухода Аглаи в келье на некоторое время установилась тишина, так как каждый из присутствующих здесь по-своему переживал случившееся да и разговор на эту тему вроде бы был исчерпан.

Как бы подчеркивая это, Викентий не к месту покашлял и сказал, обращаясь к Марфе:

— Значится, о другом, не менее важном, я тебе, матушка, все поведал: и о думном дворянине том, што по наши души в Мангазею явился, и о том, што злодея того, стражника мангазейского, коего я покуль связанным недалече от озера держу, вновь намерен во град Мангазейский представить.

— Его уж отпустили однажды, а он вновь сюды явился. Явится и в третий раз!

— Э, нет. Воевода ему последнюю уступку дал, а теперь даст лишь кнута доброго. Забить, думаю, не забьет, а будет все равно держать при себе. Таковы исчадники ему вот как уж потребны.

— Тебе-то тут какова забота?

— Забота не забота, а прибыток, хоть и малый, тут есть, он ноне у меня на крепкой узде... Ведь стоит узнать воеводе, што он дважды опростоволосился, нас с Игнатием хватаячи, то исчаднику сему верна кончина будет.

— Смотри сам, — как-то неопределенно ответила Марфа.



Чем больше проходило времени со дня основания обители на острове, тем больше убеждались здешние паломники, что место они выбрали куда как удачное. Наиболее подходящего строевого леса — лиственницы — было тут более чем вдоволь. Да и камней от малых до валунов матерых, серебристой гальки и песка хватало. Дружно, на одном дыхании возвели фундаменты двух просторных домов с кельями, а как взялись за возведение стен, дело застопорилось.

Все знали, что у Марфы издавна были припрятаны два греческих многоцветных альбома с чертежами монастырских сооружений, но как их в дело пустить-приспособить — никто толком объяснить не мог.

Дионисий, знавший греческий язык, попробовал было разобраться в чертежах-рисунках и хитроумных объяснениях альбомов, но спустя малое время лишь развел в бессилии руками.

— Весьма мудроно, ох мудроно до чего же! — в сердцах воскликнул он. — Все вокруг да около, а главного смысла сего строения, основу его ухватить невозможно... Думаю, тут только один человек, ведомый нам, помочь может, это отец Арефий, возводитель храмов мангазейских, Троицкой крепостной церкви и храма на посаде.

— Прости, отче Дионисий, но я, грешным делом, уже подумывала об этом. Ноне все дела откладываем, надобно к отцу Арефию посла налаживать, и, думаю, в образе таковом никто лучше Игнатия нашего быть не может.

— Мати Марфа! — От неожиданности стоящий неподалеку Игнатий даже покраснел. — С таким делом... Да к такому человеку... Недостоин я есть.

— Достоин, достоин! — как можно более убедительно произнесла Марфа. — В честны руки вручаю дело сие, так аль нет? — обратилась она к Дионисию.

Тот только низко склонил голову.

Надобно заметить, что в Мангазею Арефий прибыл не так давно вместе с группой паломников. Пришел по обету, как он однажды упомянул в разговоре, и, пожалуй, это было единственное, что о нем знали, так как, несмотря на добрый покладистый нрав, был он не больно-то расположен к беседам, так или иначе затрагивающим его прошлое.

Отличался он весьма и весьма высокой по тем временам грамотностью: знал древнегреческий и латынь, а также иные заморские языки, был знаком с трудами стародревних философов и строителей.

Деньгами и прочими благами он не интересовался, жил просто, крайне бедно, питался тем, что приносили ему благодарные мангазейцы. Многие считали его едва ли не юродивым, а потому называли про себя «божьим человеком» и при встречах низко кланялись.

Арефий в таких случаях всегда краснел, можно сказать терялся, стараясь поскорее разминуться с встретившимся ему человеком, при этом на продолговатом, болезненно бледном лице его с голубыми глазами всегда появлялось страдальческое выражение.



Игнатий долго ломал голову над тем, как подступиться к Арефию, как уговорить его на поездку в будущую островную обитель, и, так ничего и не придумав стоящего, решил действовать напрямик.

Придя к Арефию, он после уважительного поклона заявил:

— Просьбица есть к тебе, отче Арефий, и от меня, и от богомольцев вновь возводимой обители, не столь уж далекой от Мангазеи: не дашь ли согласие потрудиться там во славу Божию? Сразу оповестить тебя хочу: богомольцы туда из дальних российских мест прибыли тайно, от гнева набольших государевых людей спасаючись, и воеводе мангазейскому они покуль неведомы. Так как, отче Арефий, надеяться мне на согласие твое или ино слово у тебя будет?

Размывчатая синева в глазах Арефия словно бы отошла куда-то на время, уступив место проникновенной пронизательности взгляда.

— Дивно мне, — смущенно покашливая, проговорил он, — што ты, молодец, в заглавных мангазейских гилевщиках числящийся или называемый так, в хлопоты по делу Божьему пустился. Аль у тех богомольцев в обители островной никого иного нет?

Игнатия не только задели, но даже обидели эти слова.

— Пошто же ты, отче, не зная, за мной ничего доброго и мыслить не желаешь? Я ежели грешен в чем, то грех творю не для себя, а на пользу сырым малым людям, и то известно всем и друзьям, и недругам моим.

Арефий еще раз столь же проникновенно посмотрел в глаза Игнатия и неожиданно склонился в низком, едва что не в земном поклоне:

— Прости, брате Игнатий, прости за речения мои неместные. Я согласен, согласен, конечно же, чего тут размышлять излишне, дело то воистину Божье. У меня к тебе только один спрос малый есть: кто ты сам, из каких будешь, ежели не тайна сие?

По лицу Игнатия можно было понять, что вопрос этот не больно-то пришелся ему по душе, но он сдержался, ответил подчеркнуто спокойно:

— Буду я опальный дворянский сын Игнатий Воротынской. Доводилось, может, о фамилии нашей слышать?

— Как же, как же, — заторопился, виновато опуская глаза, Арефий, — слышали не раз, и в основном от людей добрых, кои на опалу деду вашему глядят как на зло преподлое. Тем паче что на Руси в опале сколь перебивало честнейших, достойных людей! К горю нашему, и сегодня таковых немало, помоги им Господи!

— Господи, помоги, — едва слышно повторил Игнатий и тут же спросил осторожно: — Завтра как, выйти сможем поутру?

— Сборы мои коротки: поторопимся — и в путь-дорогу. Так?

— Так, — низко склонил голову Игнатий.

Памятен Игнатию был и тот день, когда он привел Арефия в островную обитель и стал представлять его Марфе. Та приняла его достойно, приветливо повела беседу, но Арефий, видимо стеснясь новой для него обстановки, отвечал односложно, а то и невпопад. Но вдруг взгляд его задержался на висевшей в простенке иконе, найденной Дионисием и Викентием в разрушенной часовне.

Арефий приподнялся с колен, подошел было совсем близко к иконе, потом отступил, потоптался почему-то на месте, вновь сделал несколько неверных шагов вперед и тут же как подкошенный бросился на колени, припал лбом к полу, вздрагивая спиной то ли от боли какой, то ли от едва сдерживаемых рыданий.

— Отче Арефий, што это с тобой, — забеспокоилась Марфа, — аль недужен ты?

Арефий тут же затих на какое-то время, продолжая лишь изредка всхлипывать, и только потом уже поднялся, низко, виновато опустив голову, быстро вышел из кельи.

Почти сутки он ничего не ел, ни с кем не разговаривал, бродил как неприкаянный по острову, и Марфа велела не трогать, не беспокоить его, понимая, что с ним происходит что-то необычное и что надо дать ему время прийти в себя.

Так и получилось. Примерно через сутки он сам подошел к Марфе, низко поклонился ей и каким-то опустошенным, вялым голосом произнес:

— Прости, бога ради, за метания и безделие мое. Ноне же благослови на работу, ибо я присмотрел уже место, где храму головному обители нашей стояти.

— Пойдем в келью, обговорим все как надобно, — предложила Марфа.

— Нет-нет! — встрепенулся Арефий. — Недостоин я быти возле иконы той, столь благостного творения...

Слова эти удивили Марфу, но она, не подавая виду, повела разговор подчеркнуто спокойно:

— Может, ты и прав, отче, но я-то в этом деле пока ни начал, ни основ не ведаю. Ежели не секрет тут какой, то, может, расскажешь, что и как? Давай-ка вот присядем тут. — Она указала на ствол недавно срубленной лиственницы.

Некоторое время они молчали, и Марфа, видя, что Арефий опять заволновался, не зная, как начать разговор, произнесла:

— Ежели што не так, то отложим покуль?

— Нет, счас! Прости, матушка... По свету я ох немало годочков скитался в местностях разных и даже удостоился Гробу Господню поклониться... И везде, где ни носило меня, листу осеннему подобно, тщился я более всего иконы зреть. То дело с Божьей помощью велось в семействе нашем издавна, от прадедов еще. Была и у меня приверженность немалая к иконописному умению, и хвалили меня не раз знающие в этом люди за умение мое, но сам-то я со временем понял, што это не то, не то...

Пускай и лепота, и гладко все и красно, но души-то в иконах моих самая малость, а то и вовсе нет, нет ее, голубушки, не удостоил меня Господь хоть в малой доле ее к делу жизни моей приложить. С тех пор, как увижу творение которо, сему великому подобно, сердце мое будто ветром из пустынь дальних холодит, иссушает. Видно, Отцу небесному ведомо, сколь ценна, а правильное сказать — бесценна, икона сия. Думаю, што,



когда была она в государевом большом храме, о подлинном величии ее и там толком не знали.

О сем образе Георгия Победоносца я не раз слыхивал от умельцев дела иконописного, как и о том, што сподобился создать сие творение инок византийский именем Корнилий — мастер, коему равных не было да и не могло быть в мире христианском.

Больши и малы властелины наперебой старались залучить к себе Корнилия, взять его на службу, но он все посулы и даения отвергал, за што и поплатился вскоре. Было ему всего три десятка лет, когда он исчез внезапно, пропал будто ветром его сдуло, и с тех пор о нем никто и никогда и слыхом не слыхивал...

Будучи в скитаниях своих в храме Никольском на Афоне, зрил я трактат греческого философа Ликия, который творения иконописны Корнилия — и в том числе сию икону — видел не единожды и описал, восхищаясь безмерно.

Тако же год спустя, уже в Иерусалиме, мнихи тамошни свели меня с аббатом латынянским Федерико Боллем, который в доме своем показал мне тож трактат, называемый «О цветах мудрости и творениях духа и рук человеческих», отпечатанный во граде Вероне. Создала же трактат тот настоятельница монастыря урсулинок — Джания Коро. В трактате рассуждала она тако: «Люди, отмеченные благодатью свыше, могут вознестись на толпой деяниями рук своих, яко сие доступно благостному создателю божественных ликов, великому мастеру живописцу Корнилию».

Порой, когда гляжу на творения его, одолевают меня грешные мысли: возможно ли иметь умение такое человеку простому, где грани таланта, считай неземного, которым щедро одарен он небом?

Арефий, окончив рассказ, вновь вздохнул и тут же промолвил, задумчиво глядя вдаль:

— Воздавая дань иконе сей, ни на миг единый забывать нельзя, што хранить ее надо не единожды, а трижды бережно. Не ныне, так потом, пусть через год-другой, проведаят люди об этой иконе и потекут к ней ручьи народны, в которых окромя богомольцев истинных и стяжатели-завистники попадаться будут. Оберечь от них лик сей надобно, ох оберечь!..

— Правда твоя, отец Арефий, оберегем, и в том сумление не держи, — строго поджав губы, проговорила Марфа.

Затем, поблагодарив Арефия, она будто замешкалась чуть, ожидая, что, может быть, он еще что-нибудь добавит к их разговору. Но Арефий лишь поклонился Марфе и пошел неторопо по лесу, время от времени ласково касаясь ладонями ветвей низко склонившихся берез.

Еще и еще раз с душевным трепетом и в молениях горячих благодарила Господа игуменья Марфа за то, что Он, не иначе, подсказал ей, чтоб приобщила к делу возведения островного храма инока Арефия. Недаром старые монахини, глядя на то, как трудится он и сколь добротню проявляются результаты этого труда, шептали: «Вот уж, истинно, силы небесные, считай, всегда рядом с нами...»



Чтобы отдыхал Арефий — никто не видел, всегда он был при деле. И самое главное, что умел он приобщить к делу этому всех, кто трудился рядом, будто владел секретом находить и пробуждать в душах людей скрытые до этого силы, когда каждый начинал понимать, что труд этот в радость людям и служить им будет на редкость долго.

Рядом с площадкой, где возводился храм, у подножья одной из самых высоких и могучих елей, соорудил себе Арефий нечто вроде временной мастерской. В первой половине ее был устроен маленький очаг и койка из искусно сплетенных ветвей ельника, во второй было два стола с листами чертежей, наброски деталей будущих строений, а по стенам — полки глиняных мисок и кувшинов с разведенными красками и наборами кистей и скребков. Здесь же, заботливо укрытые чистой холстиной, стояли несколько икон, к писанию которых Арефий возвращался время от времени.

Перед тем как положить на место первый камень фундамента будущего храма, Арефий отслужил молебен и, с разрешения игуменьи Марфы, представил ей и всем собравшимся на торжество тайно хранимый им до этого рисунок, где красочно, в щедром многоцветии предстало перед ними невиданное сооружение.

Храмом его можно было назвать только относительно: на главах его и особенно на ажурной, как бы невесомой многоступенчатой колокольне, почти утопая в резных деревянных кружевах, вздымались кресты; двери, окна, переходы поражали изгибами невиданных очертаний, вызывая удивление и трепет, а то и растерянность.

Растерянной выглядела и Марфа: так и эдак вглядываясь в творение Арефия, отступила назад, покачала головой и, со вздохом перекрестившись, промолвила:

— Надо же тако вот измыслить, отец Арефий! Не ведаю, што и молвить тебе, уж больно мудрено все и красочно беспредельно!

Высказывание это не только не смутило Арефия, а, видимо, пришлось ему по душе, потому что он тут же, как бы подхватив последние слова Марфы, воодушевленно воскликнул:

— Именно так, матушка, именно! Ведь храм православный, по разумению моему, не только прибежищем слезных молений, жалоб и просьб к Богу должен быть, а и местом, ежели надо, отдохновения душевного в радостном общении с благостью Господней.

Удивление Марфы после этих слов было столь велико, что она, побледнев, произнесла едва слышно:

— Твори с богом, коли так... — И пошла, спотыкаясь и низко опустив голову, будто вовсе не разбирала лежащей перед ней дороги.

Глава 13

Игнатий и Дионисий шли налегке, шагали, как говорится, в охотку по лесу среди буро-золотистой, начинающей опадать листвы, щедро подсвеченной лучами непривычно яркого и теплого в эту пору осеннего солнца. Может, оттого и город, открывшийся перед ними, когда они под-

нялись на косогор, выглядел веселым, светлым, будто умытым только что закончившимся кратким озорным дождем. Мангазея радовала взор хаотическим смешением красок, линий, массивными изломами крепостных стен на фоне празднично раскинувшегося разнотравья.

Видя это, Дионисий удивленно произнес:

— Сколь ни смотри, ни приглядывайся ко граду сему — всегда он взору людскому дивен есть: и добра-ласковости в нем хватает, и духа разбойного немало, и молитвенных, и бунташных дел скопление здесь, и народ ох как привержен — привычное многолюдье, зри-кость, еще боле возросло.

— Помню, ты молвил, што бывать тебе, отче, здесь и ранее доводилось?

— Доводилось... — неопределенно ответил Дионисий, — по делам разным — явно, а вот ноне тайно пробираюсь, яко тать в ночи...

— Таки слова от тебя, отче, слышать более чем странно, — заявил Игнатий.

— Мы ж ради дела доброго сюды пришли, может, обитель, к созданию которой нам руку предстоит приложить, со временем края мангазейские украсит и видом, и деяниями людей своих.

...Туманы, удивляющие многоступенчатой стойкой непроглядностью, что в тундре, что на побережье Мангазейского моря — дело обычное, но вот в самом граде Мангазейском с туманами и вовсе неладное творилось. Старики самоеды еще от прадедов своих толкуют об этом так: «Это дело рук Нглики* — он тут себе место облюбывал: резвится, народ пугает, силу кажет, вот, мол, каков я!..» Русские люди, что вокруг живут, к сему свои суждения добавляют: «Раньше тако вот, неожиданно, неслыханно, особливо в ночи лунны, когда всполохи свои плясы небесны творят, тут и предтуманью, и туманам самим раздолье...»

Предтуманье здесь первая статья. Ни дымка, ни пара от тундровых промерзших кочек да осыпей земли стылой, а вот ползут откуда ни возьмись в инее игольчатом тяжкие шуршащие струи поземки, шупают, будто примеряясь да выбирая место, откуль предтуманью начало вести...

И в этот вечер все так же было: на улицах тишь, безмолвье, воздух будто придавлен к земле, мороз малый, а дышать тяжело — в груди сей же час хлад влажный оседает... А вот за предтуманьем вслед, вместе с быстро бегущими тенями, и сам туман обозначился, да не просто пеленой там какой, а лентой широкой у земли, с жгутами тугими, перекрученными; то узоры плетут те жгуты замысловатые, то, распадаясь, многослойностью своей удивляют, то радугами встают, и все это на фоне пронизанного до самых глубин лунного, в серебристой изморози, неба.

От этой круговерти теней не только в глазах рябит, но и контуры домов и амбаров знакомых меняются ежеминутно. Где уж тут усмотреть:

* Нглика — черт, злой дух (ненецкий).

или отблеск мелькнул какой рядом, или человек проскользнул, прячась от чужого взора, а за ним, глядишь, и другой, и третий в лунной зыбкости.

В настоженной до предела тишине лишь изредка проскрипит снег под ногами крадущихся справа и слева людей да прошуршит, осыпаясь с крыш, сухой иней. И вдруг — как удар неожиданной волны о звонкую каменную стену: крики, ругань, стоны, всхлипы — с пеной кровавой на губах, с хрипотой, со словами из глубин самых темных души, смысл которых не то что страшен, а дичью первородной обуян, так что едва не сбивает с ног.

Вот в такое предтуманье и произошло событие, грозившее не только изменить, перевернуть весь уклад привычной мангазейской жизни, но и, возможно, направить ее течение совсем по иному руслу. И, конечно же, никто в городе не мог предугадать, что главным возмутителем здесь выступит неведомо где обитавший до этого времени Федот Курбатов.

Недаром так искренне, что с ним бывало редко, удивился мангазейский воевода, когда ему доложили, что дозволения просит перед ним явиться бывший старшина городской стражи Федот Курбатов, выгнанный прежде с шумом и непотребной бранью самим воеводою.

— Федотка! — рассмеявшись и даже заморгав глазами, воскликнул воевода, тут же приподнялся с постели и, как бы размышляя вслух, докончил: — Битый, драный, за бороду тасканный, а явился, и это с его-то гонором! Сие неспроста, а ну, зови супостата сего!..

Ожидавший увидеть изничтоженного, смятого невзгодами и горькой судьбой Федота, воевода был поражен: и одет был тот на редкость изрядно, и повадкою, как и ранее, смелый да умелый, а самое главное, в лице его — ну ни малейшей черточки страха иль вины не примечалось.

«Каков выглядень*, а? — еще более удивившись, ругнулся про себя воевода. — Альбо ендова с отравой — не менее того!»

Федот, чего с ним не бывало ранее, повел речь первым:

— Хоть и вверх ты меня, князь воевода, в разор и бесчестье, но я от слова свою неотступен есть: через неделю приволоку в светлицу твою и Игнашку, злодея бунташного, и Дионисия, злодея беглого!

— Зарекалась кума-мать в ночь у кума не бывать! — присказкой ответил воевода. — Я обещаний твоих вдосталь наслушался и сыт ими по горло! — презрительно скривил он губы.

— Приволоку, приволоку на сей раз! — побледнев и едва сдерживаясь, чтобы не выкрикнуть чего покрепче, повторил Федот и, решительно шагнув к воеводе, докончил: — А не будет того, сам на плаху лягу, сам!

— А ну, утишь, утишь нрав-то свой некмestный! — опасливо отодвинулся от него воевода. — Если по-настоящему творить сговор весомый в деле сем, то поведай, с чем ты подошел к нему, какова готовность у тебя, чтоб нам не оступиться где... Игнашкин нрав распреподлый ведом тебе.

— Ну, ноне я супротив нрава того куды как крепок, и людишки подходящи готовы, ждут, и уплачено им немало, и обещано еще боле, ежели спроворят дельце шустро.

* Выглядень — выглядящий вызывающе, наглец.

То ли особенное что послышалось воеводе в голосе Федота, то ли первый раз в жизни он по-настоящему поверил такому, прости господи, хмырю, лгуну и раззлодею, но только князь, многословной бранью обложив всех и вся, трижды плюнув по старой тундровой привычке, крикнул, едва не срывая голос:

— Сторожевого сотника ко мне! Дрыхнете всё, сучье племя!.. Ну, Федотка, гляди! Я смотровиков за тобой дюжину поставлю, ежели сглупишь хоть раз — в мелкий лоскут порубить велю, ты-то уж меня знаешь!..

— Да уж знаю, воевода князь, храни тебя Господь в оборонении врагов государевых!..

Услышав слова Федота, воевода, внимательно посмотрев на него, ухмыльнулся недобро, хотел, видно, сказать что-то, но, вновь плюнув трижды, заспешил к дверям опочивальни.

И все же гилевщики Игнатия, всегда собранные, настороженные, готовые в любую секунду к малой и большой схватке, особенно находясь на улицах Мангазеи, чего-то недосмотрели аль по привычке на отчаянность свою понадеялись, но угодили-таки в западню-засаду, ловко устроенную Федотом Курбатовым.

Уж в каких переделках довелось побывать Игнатию — как говорится, по самой меже между жизнью и смертью ходил не единожды, а все вольным гулял по свету, а тут пришел наконец и его горький час. Только и успел крикнуть молодцам своим Игнатий: «Отца Дионисия берегите!» — как навалились скопом стражники, стрельцы и прочие псы воеводские во главе с Федоткой Курбатовым. Сбили с ног, упеленали, как оленя сноровистого, волосяным тынзяном* да еще и рот перетянули.

Радость от выпавшей на их долю удачи была столь велика, что поначалу воевода Домашин и московский посланец Авксентьев почти и не говорили вовсе: облобызались трижды, будто похристосовались на Пасху, выпили по одной, другой и по третьей стопке меду и, поблагодарив Отца небесного за доброе к ним расположение, направились в пытошную избу, куда уже были доставлены Дионисий, Игнатий и двое из семи оставшихся в живых их сотоварищей. Лишь Дионисию, посчитавшись, видно, с его саном, освободили руки, остальные же были крепко-накрепко связаны и едва переступали ногами, чтобы не упасть.

Воеводе и Авксентьеву подьячие угодливо подставили по малой ковровой лавке. Воевода, оглядев пленников, смачно плюнул им под ноги и презрительно произнес:

— Сколь вору ни воровать, а петли не миновать...

Дионисий промолчал, будто и не слышал этих слов. Игнатий же, по своей извечной привычке никому и ни в чем не уступать, дерзко осведомился:

— Это ты о себе, што ли, ведешь речь, воевода? Ведь во всей землице югорской большего вора, чем ты, не сыскать!..

Услышав такое, Авксентьев первым вскочил с лавки, затрясся, затопал ногами:

* Тынзян — аркан.

— На дыбу, на дыбу злодеюку немедля!

Воевода же, к удивлению всех присутствующих, на слова эти и внимания не обратил, будто они вовсе не тронули его. Помедлив, сказал лишь с ленивой ухмылкой Авксентьеву:

— Пошто, Гордей Акимович, душу гневом пустым изводишь? Было б из-за кого. Пуцдай рвань гилевская в последний разок позабавится... Мы с тобой завтра неторопко за дело пытошно возьмемся, и разговор у нас пойдет долгонькой, ой долгонькой.

Повернувшись к стоящему неподалеку Федоту, воевода велел:

— Смотри, сучий сын, на тебя весь досмотр караульный оставлю. Гилевщиков в дворовый прируб запереть, ни на секунду глаз с них не спускать. По двору караулы двойные пустите, а на улице, у ворот — засеку* стрелецку поболе.

Не удостоив узников ни единым взглядом, воевода, пропустив вперед Авксентьева, покинул пытошную избу и направился к своему дому, сопровождаемый десятком стрельцов.

Разместив пленников в караульном прирубе и приковав их одной цепью к стене, Федот Курбатов не преминул на прощание поддеть Игнатия:

— Отыгрался, княжонок воровской, теперь уж навеки, теперь уже иные игры пойдут на дыбе, над костерком да в три кнута!..

Игнатий даже не повернул головы в его сторону, зато почти всегда молчавший Дионисий неожиданно сказал:

— Сказано есть: не глумись и не пророчь беды другому, коли беда у самого за плечами стоит...

Федот хохотнул в ответ, вроде бы по-молодецки, кого, мол, пугаете, но тут же сник, смешался, и ощущение никогда не испытываемой доселе сердечной пустоты вдруг охватило его, будто волной прошлось по всему телу.

«Кто я таков есть, зачем живу, зачем и во имя чего творю тако?» — наверно, впервые подумал он, попробовав рассердиться на себя за слабость, но та же сердечная пустота вновь напомнила о себе, и он, уже кружа по двору и не зная, как избавиться от нее, со страхом шептал слова полузабытых с детства молитв.

...После обильных возлияний по поводу поимки гилевщиков воевода спал без задних ног. Разбудили его с непривычными для здешних покоев криками два стрелецких пятидесятника:

— Гиль, батюшка, гиль идет: вогулы с самоедами да с рванью посадской стеной лезут!

— Кака гиль, каки вогулы, разъерепень вас в душу?! — ругнулся все еще не пришедший в себя воевода, но пятидесятники вновь закричали, перебивая друг друга, и воевода будто подброшенный вскочил на ноги. — Цыц, треклятые, толком молвите.

Один из пятидесятников, давась словами, сообщил, что стрелецкая охрана из пытошной избы перебита, гилевщики захватили и саму избу, и

* Засака — застава.

все постройки во дворе, ведут оттуда пищальный огонь почти непрерывно по всякому, кто к избе той сунуться посмеет...

— А остальные стрельцы и слуги мои воеводски где?

— На них, на казаков да на весь люд православный, што в крепости и окрест, вогулы да самоеды тундровы налетели, воронью бесчисленну подобны, ну и гилевщики, само собой, тут же!

— А ну веди, где она, смута главна, — велел воевода и уже через несколько минут в воинском наряде, в сопровождении пятидесятников, казаков и бестолково мечущихся дворовых появился на красном крыльце воеводских хором.

Располагались они на взгорке у широко распахнутых ворот Ратилонской башни. Отсюда открывалась панорама речных откосов, лугов с зарослями камыша и выгнутых карликовых берез и полузасыпанных ровов — первых крепостных укреплений Мангазеи. Именно здесь, выделяясь бело-красными пятнистыми одеяниями, двигалась, растекаясь по сторонам, толпа вогулов. Ветер донес несколько пищальных залпов слева, с той стороны посада, где, чернея на фоне травы, перебегали фигурки стрельцов и охотников-годовальцев* в серых меховых куртках и сапогах-вытяжках**.

— Дворянин московский где? — крикнул воевода слугам. — Сюды штоб шел, мигом.

Но, как видно, тут же забыв об этом наказе, бросился по боковой дорожке к дворовому прирубам пытошной избы, на пороге которого лежало несколько окровавленных трупов стрельцов. На подворье уже сошлись вогулы и самоеды с копьями и ножами в руках, казаки, яростно размахивающие кривыми саблями, и стрельцы с пищалами.

Домашин, увидев, что двери и окна прируба выбиты и он пуст, яростно скрипнул зубами:

— Ах ты, невезение адово! Опять ушел гилевщик заглавный, да с монахом еще, доколе ж бывать такому?..

Из-за Троицкой церкви во главе с Авксентьевым и пятидесятником Егоровым высыпала большая толпа стрельцов.

— Ага! — закричал воевода Домашин. — Подмога! Сюды давай! Вогульску да ину дичь перво-наперво осадить надобно!

Стрельцы бросились к воеводе, но в это время затрещала и рухнула под напором тел изгородь пытошной избы, и то, что увидел за ней воевода, привело его в смятение: по пожухлому луговому разнотравью легко скользили многие десятки оленьих упряжек.

Нарты их были переполнены людьми в самых разнообразных, порой диковинного вида и покроя одеждах, а то и в невыделанных шкурах, и в добротных воинских панцирях и кольчугах. Вооружение их по тем временам можно было назвать первостатейным, вид у них был предельно устрашающим, да и выкрикивали они что-то несуразно-дикое, подбадривая, видно, этим друг друга перед боем.

* Годовалец, годовальщик — человек, находящийся на службе или на промысле в течение одного года.

** Сапоги-вытяжки — сыромятные сапоги, вытянутые из одного куска кожи.

«Тундрова гиль, охотники вольны препожаловали, — чувствуя, как льдистый холодок охватывает сердце, перекрестился воевода. — Спаси и помилуй нас, Господи, от гили таковой! Ежели они с городскими гилевщиками в один ряд пойдут, то нам несдобровать, да что там несдобровать: порешат, и вся недолга! От них и стрельцы побегут, глаза зажмурив, — злодеев поболе их в Югре не сыскать!»

Появился Авксентьев, размахивая руками, стал что-то кричать воеводе, но слов его не было слышно: почти непрерывно палили из пищалей стрельцы, било в уши многоголосье воинственных кличей самоедов и вогулов, не отставали от них в криках и в разбойном свисте вольные тундровые охотники. Все, кто сошлись сейчас у пытошной избы, обезумев, наступали, отступали, бросались то в одну, то в другую сторону, яростно кружились на месте, увлажняя тундровые травяные ковры разводами новых кровавых узоров...

Гили, подобной нынешней, в Мангазее не случалось давно. Ну бунтовали, ну щерились да пыжились по-разному, в кулачных боях сходились улица на улицу, не раз отбивали набегу людишек дальних с моря и с тундры, так это все тут же и кончалось, а ноне скончания сего и не виделось.

Но самое главное, что пугало воеводу Домашина и думного дворянина Авксентьева, это то, что в действиях гилевщиков чувствовалась чья-то на редкость крепкая рука. Авксентьев сказал об этом воеводе:

— Слышь-ко, Федор Кузьмич, а ведь у гили нынешней один хозяин, считаю, што и ты о сем думал, не иначе.

— Ну думал, а толку-то, — неожиданно обозлился воевода. — Только в крепостных башнях стрельцы в осаде сидят, держатся, а так и храм Троицкой, и вся крепость у гилевщиков. Ютимся ноне на отшибе в посадских хибарах. На Москве о сем разведают — позору не оберешься. Скажут, это как же так, крепость швали разбойной да мужикам диким отдали? Што ж там за воители в Мангазее, распротуды их так и эдак?

Лицо воеводы Домашина, еще не старого человека, слезливо наморщилось.

— Уж я молился-молился, — вздохнул воевода, — легче не стало, хоть в петлю лезь...

— Узнать надо, кто гили голова! — продолжал свое Авксентьев. — Людишек в тундру послать, там ведь вольны охотники разны есть, ины и во вражде великой с гилевщиной мангазейской... Пообещать мзду поболе — пойдут под нашу руку, как пить дать пойдут!

— А што, и верно, и спворим сие, — обрадовался воевода, — завтра же и пошлем.

Назавтра же, с утра, не успели этот замысел толком спворить, воеводе новая забота подвалила. Он ублажал себя после сытного завтрака знаменитым мангазейским квасом, настоящим на морошке, колдовской траве «двулистник с переливами» и иных тайных травах, отчего неизъяснимая приятность разливалась по телу, а дышалось по-особенному легко.



— Да оставь ты, воевода, приятство квасное, — отвлек его быстро переступивший порог Авксентьев. — Выдь-ко на крылечко, полюбуйся, кто жалует к тебе...

Воевода, проворчав что-то про себя, вышел, недовольно хлопнув дверью, и обомлел. По дороге с иконой в руках важно вышагивал настоятель Троицкой церкви отец Мефодий. А за ним — подумать только! — шел главный возмутитель мангазейского спокойствия Игнатий Воротынской с вогульским и самоедским князьями Беяем и Хатанзеем. Вот уж, подлинно, небо показалось с овчинку воеводе! Трясущимися руками он схватился за рукоять широкого ножа на поясе, губы его побелели... Стрелецкие охотники и казаки старшины окружили воеводу, ожидая его приказаний, но он все еще не мог прийти в себя от охватившей его злобы, а лишь повторял прерывисто, хрипло:

— В железа, в железа всех этих!

Подоспевший Авксентьев решительно одернул воеводу:

— Не дело молвишь, Федор Кузьмич, ты оглянись-ко по сторонам.

Пока Игнатий со спутниками подходили к воеводе, их уже окружило довольно плотное кольцо гилевщиков, хорошо вооруженных, хмуро помалкивающих до времени.

Отец Мефодий, высокий, благообразный, заметный этим издали, остановившись в нескольких шагах от воеводы, благословив его и всех стоявших вокруг, торжественно произнес:

— Сему образу Николы, святителя морского, еще первы поселенцы и люди воински на земле мангазейской поклонялись и решали дела и свары, подчас убойны, — миром. Вот и вы ныне распри свои тако решайте!

— Да штоб я да с гилевщиком с этим в уговоры пошел?! — взвился воевода Домашин.

— Тут нету гилевщиков, — властно и громко сказал Мефодий, — а есть люди выборные от общины мангазейской, образ сей святой сопровождающие: вот сын княжий Игнатий Воротынской, а вот князь: вогульской — Беяй да самоедской — Хатанзей. Вершите дело миром, по-доброму, мало, што ли, людей уложили у избы пытошной да окрест на лугах, иначе от церкви отлучу да гонцов поспешных в Москву самому патриарху отправлю, уж он-то сюды на вас быстро управу пришлет!

Слушая слова эти, воевода несколько раз менялся в лице: оно становилось то багровым, то бледным, то светло-малиновым. Потом с трудом, выдавив из себя слова, прохрипел, кивнув на Авксентьева:

— Вот он, он будет разборы в деле сем вести, а я здесь не знаток!

И тут же ринулся в дверь, едва не растянувшись на пороге.

В делах переговорных Авксентьев считался на Москве докой. И опыт был у него немалый, и природные ловкость и хватка, и мог он при случае так ущучить противника или просто спорщика иного, что тому ничего не оставалось, как чесать в затылке да отступить, нередко и с позором.

Потому и играючи, эдак по-ухарски садился сейчас Авксентьев за стол напротив Игнатия, и разговор повел так же, давая понять, что уступать наполовину в споре-то надо...

— Уступать надоть в таком разе, — уже настойчиво повторил он еще раз, — и тебе, и содругам твоим, — он указал на сидящих пообочь Игнатия вогульского и самоедского князей. — Я же воеводу малость поутишу, на том и порешим!

— Нет, не порешим! — подчеркнуто веско ответил Игнатий. — Пора пришла сего лихоимца да вора на правез представить...

— Но-но! — набылчился Авксентьев. — Думай, што и о ком речешь.

— А чего тут думать, вот они, его грамоты за год минувший, для Москвы сготовленные, а вот список его собственный, скрытний, што он в потайном ларце под полом в светлице своей держал. Узнаешь руку воеводу, манеру его да обычай знаки письменны и цифирны ставить?

Авксентьев в ответ лишь согласно склонил голову и спросил, отводя глаза:

— Так што в списке этом отличного от грамоты?

— А то, што каждая третья шкурка из рухляди мягкой: собольей, песцовой, лисьей и иной, государевой казне предназначенной, шла прямиком в руки воеводе Домашину. А то, што он сам в пользу свою налоги назначал, тебе ведомо, посланец московской? А то, што ране содержал и ныне содержит более сотни людишек тундровых, в железа закованных: вогулов, самоедов, селькупов и иных тож, налоги с них выбивая, ты слышал? Вот и суди: кто есть на свете вор, а кто, трижды вором будучи, средь добрых людей тож добрым считается.

Авксентьев растерянно молчал, не ведая, что и подумать, что сказать, и тогда Игнатий, поняв это, не то про себя, не то желая подсказать Авксентьеву, произнес веско:

— Другой бы на моем месте про воровство тако на Москву весть подал: за поношение и убыток казне царской один путь — на дыбу и на казнь прилюдну. И еще, тебе-то, как никому иному, ведомо, што на Москве с дельцем таким куда как высоко подняться можно. Ну и награда за это, думаю, немалой будет — пряма дорога к царю-батюшке, его, мол, интерес соблюли-защитили — слава!

Авксентьев почти что с испугом посмотрел на Игнатия.

— Молод столь, а хватка волчья! — протянул с удивлением.

— Так я в опале все больше средь волков жил — обучили, — дерзко ответил Игнатий.

— Искушение в твоих словах велико, — покачал головой Авксентьев, — мне бы молвить: «Изыди, Сатана!», а я слушаю тебя...

— Имечко это боле к дружку твоему воеводе подходит, вот уж кто Сатана истинный!

— Ох, не знаю, не знаю! — горестно вздохнул Авксентьев. — В каку сторону податься... Постараюсь пока хоть в малой мере для согласья здешнего, а там видно будет.

— Старайся скорей, а то людишки кипенем кипят, и времечко такое подходит, што их никакими словами не удержишь.

— Ох, знаю, знаю, спаси господи, — с испугом вымолвил Авксентьев.



Неожиданно дверь прируба, где шли переговоры, сотряслась от ударов, потом рывком распахнулась и на пороге встал, подбоченясь, воевода Домашин. По бокам его в мгновение ока выросли фигуры старшины Федота Курбатова, его подручного Сеньки Ката и еще двух стрелецких охотников. Все хмельные, с лицами, обезображенными ненавистью, выкрикивая что-то несуразное, размахивая ручными цепями, они бросились к столу, за которым сидели Авксентьев и Игнатий. Тут же раздался срывающийся на визг крик воеводы: «Хватай гилевщика, мразь, хватай!»

А в уже распахнутую дверь вместе с дикой руганью, ревом и переливчатым разбойным свистом тундровых молодцов ворвалась толпа, мечущаяся из стороны в сторону, в которой уже нельзя было понять, кто с кем и за что ведет столь отчаянную схватку.

Один из сопровождавших воеводу стрелецких сотников сумел все ж, изловчившись, не только набросить, но и затянуть цепь на шею Игнатия, но тому пришли на помощь туземные князья. Рослый, могучий Беляй вроде бы чуть взмахнул рукой, и сотник, тоже мужик в теле, легко взмыл над столом и, обрушившись всей тяжестью на скамью, сломал ее. Хатанзей, выхватив из деревянных, украшенных бисером ножен длинный широкий нож, с такой быстротой закружил им над головой, что все суетившиеся рядом невольно отпрянули в стороны. Также в сторону отлетел под напором заполнявших прируб все новых и новых тундровых гилевщиков и московский посланец Авксентьев, возмущенно выкрикивающий что-то и бестолково размахивающий руками.

А гилевщики, плотно окружив Игнатия, выхватили его из толпы, пробившись, сшибая стрельцов, во двор, где уже стояла заранее приготовленная упряжка рослых белоснежных оленей. Игнатий и двое гилевщиков повалились в нарты. Погонщик взмахнул тюрмом*, и застоявшиеся олени дружно рванулись вперед, оставляя позади еще ожесточеннее вспыхнувшую схватку мангазейских стрельцов и казаков с тундровыми гилевщиками и иным безначальным людом...

Коренные мангазейские жители нередко так говаривали о своем городе: «У нас помалу да в осторожну приглядку ничего не творится. Коль нагрешил где, так кайся да дела добры на глазах людских твори, чтоб видели все. Ну, а если в шумство ново да, упаси боже, в схватку воинску тебя опять бросит, то твори ее так, чтобы душу наизнанку вывернуть, а супостата добить, изничтожить. Чтоб все знали, сколь мангазейский люд волен да силен и в гульбе, и в забавах воинских...»

В этот раз, стараясь поскорее увезти Игнатия от места схватки, друзья его, гилевщики тундровы, перестарались. Вроде бы и придерживая, с ходу бросили его в нарты, да так, что Игнатий подвернул ногу и ходить мог теперь только опираясь на палку. Когда оленья упряжка миновала окраины Мангазеи и, затерявшись среди тундровых увалов, остановилась у полевого становища, первым, кто бросился навстречу Игнатию, был Дионисий...

* Тюр — шест, которым погоняют оленей.

— Друже, што с тобой? Аль поранение тебе вышло в заварухе этой, трижды неладной?

Он заботливо обнял Игнатия, расспросил его, волнуясь, что и как с ним было, и, бесцеремонно потеснив плотно окруживших их гилевщиков, прикрикнул непривычно строго:

— Потом, потом с беседушками-расспросами, люди добрые. А ну, ковыляй, друже Игнатий, в полог ближний, там ты нужен шибко, особливо сейчас.

Не прошло и минуты, как Игнатия устроили на расстеленной у костра оленьей шкуре. И он, уже спокойнее ведя речь, стал пристальней приглядываться к окружающим его людям, как бы для памяти называя их для себя: знатный мангазейский торговый гость Михайло Тарутин, это к месту — человек достойный, то же можно сказать и про кузнеца Миленция, да и про остальной народ, собравшийся здесь — все люди стоящие, мангазейцы бывалые, коренные, во главе с настоятелем крепостной церкви отцом Мефодием.

А вот рядышком с ним незнаема личность, кто-то в одеянии монашеском, но не очень-то на монаха смахивает...

Человек, о котором подумал так Игнатий, средних лет, высокий, чернявый, в движениях быстрый, но солидный, в этот момент тоже изучающе и дружелюбно посмотрел на Игнатия и сказал как говорят давнишнему приятелю:

— Душевно рад видеть тебя, Игнатий, особливо рад, што не согнулся ты в буйствах воинских да бытийных и што для деяний еще более значимых, которы вскорости предстоят тебе, ты вполне готов.

— На приветном слове благодарствую, человек добрый, но речь твоя мне покуль неясна да и ты сам незнаком мне есть.

Чернявый незнакомец, улыбаясь, подошел к Игнатию и, опустив руку ему на плечо, сказал:

— Служба моя, друже, такова, что я должен многих людей — и добрых, и вовсе негодных — на верном пригляде держать, дело требует сего, а во главе дела этого, направляя и благословляя его, стоит святитель наш достойнейший, дай ему Господи всегдашнего здравия и благоденствия, архиепископ Тобольский владыко Киприан.

Имя Киприана и многие деяния его к этому времени уже знали и в Мангазее, и далеко окрест. Все сидевшие у костра тут же поднялись, и уважительная тишина на время воцарилась в пологе.

Чернявый незнакомец благодарственно склонил голову и, немного помедлив, продолжил:

— А сам я есть новгородской дворянин Анисим Кручина, состоящий ноне на службе у владыки Киприана. Это по его велению я в Мангазее прибыл. А у вас тут вона кака крутель взялась!

— Како ты есть посыльной от столь большой особы, — вступил в разговор отец Мефодий, — то кланяемся с просьбицей к тебе: вразуми, бога ради, што и как нам дале творить, а то вишь, што наш воевода вместо перемирия малого учинил. Не ведаю, как и чем остепенить его ноне.

— А у меня есть средство на сей случай, — хитровато улыбнулся Кручина, — грамота куды как поучительна и строга от владыки Киприана воеводе здешнему князю Домашину, а такожды всем людям православным и прочим земли мангазейской. Грамоту сию велено мне огласить на площади городской и в храмах здешних. Потому, отче Мефодий, давай безотлагательно к воеводе направимся, еще князьков здешних вогульского да самоедского прихватим, ну и еще кого, кто в сем деле потребуется. Мир пушай самый худой, но нужен ноне Мангазее вот как! — И Кручина, как бы отчаявшись во всем происходящем, провел ребром ладони по шее.

— На том и порешим! — творя краткую молитву, заключил отец Мефодий и, обращаясь к Кручине, изменившимся голосом, строго, как воинский человек, сказал: — Тебе, посланец владыки, дело сие возглавить надобно немедля, сейчас.

— Верно! — подал голос Дионисий. — А мы с Викентием здесь, на стане, вас подождем, что-то нет у меня охоты в другой раз на воеводские беснования зреть...

И часу не минуло, как перед красным крыльцом воеводских хором остановилось несколько оленьих упряжек. Сразу можно было сказать, что народ прибыл бывальый, аккуратный, к дальним дорогам привычный, о чем можно было судить и по их ладно подобранным одеяниям, и по вооружению. У каждого за плечами было по иноземной короткой пищаля, на поясах ладанки с пулями и порохом.

С двух передних упряжек степенно сошли и направились к крыльцу архиерейский посланец дворянин Кручина, а с ним отец Мефодий и князья местные Беляй с Хатанзеем, остальные приезжие, сняв с плеч пищаля, взяли их на изготовку, стоя каждый у своих нарт.

Все это происходило на глазах толпившихся неподалеку стрельцов, казаков и сновавших поблизости слуг из двора воеводы, удивленно смотрящих на появление столь необычного обоза.

Не замедлил появиться на крыльце и сам, окруженный челядью, воевода Домашин. Вид приезжих тоже удивил и даже насторожил чем-то воеводу, но, не желая показывать этого, он по привычке откашлялся моледецки и, вскинув голову, почти прикрикнул:

— Это што за народ, откуда, зачем и куды?

— Я бы на твоём месте, воевода, не с вопросов начинал, — укоризненно и громко проговорил отец Мефодий, — так как перед тобой особа, требующая чести и приема достойного.

— Что за особа? — уже заметно сбавив тон, осведомился воевода.

— Первый секретарь епархии Сибирской — дворянин Анисим Евсеевич Кручина, прибывший по личному повелению владыки Киприана — архиепископа Тобольского и всея Сибири!

Воевода Домашин закашлялся, сдернул с головы шапку и, краснея, пробормотал:

— Прошу не гневаться, нежданно тако вышло... — Затем, вспомнив, что ему в таком разе положено говорить совсем иные слова, заторопился: — Како здравием владыко Киприан, святитель наш?

— Слава богу, здоровьем Господь его миловал, а тебе, князь воевода, шлет владыко благословение на дела богоугодные, желает здравствовать, како и всем православным и прочим людям земель мангазейских ближних и дальних.

Слова эти Кручина произнес намеренно громко, и они тут же разнеслись по толпе, вызывая благодарственные восклицания людей, непривычных к тому, что о них вспомнил сам тобольский святитель. Служитель принес Кручине продолговатый деревянный ларец, из которого тот извлек грамоту с двумя красными сургучными печатями и тут же передал ее воеводе.

— Это послание тебе, князь, от владыки, есть и вторая грамота, но о ней речь потом пойдет. Куды пойти прикажешь?

— А вот сюды, сюды! — заторопился воевода, предупредительно придерживая дверь, ведущую в гостиный прируб воеводских покоев.

По всему было видно, что неожиданный приезд епархиального секретаря основательно выбил из привычной колеи властолюбивого воеводу Домашина, заставил его, своенравного, почти всегда полупьяного, вконец разленившегося, бестолково суетиться и рассуждать не в лад с беседой, которую ему пришлось вести с епархиальным секретарем.

В поднявшейся вокруг общей суете воевода на минуту покинул прируб, чтобы, как сказал он, дать наказ о размещении их обоза. Он успел всего на пару минут подозвать к себе Федота Курбатова и, почти задыхаясь, прохрипел:

— Покуль мы тут гостевание разводить будем, всех людишек наших моим именем подымай. Тать Воротынско́й с монахом непотребным Дениско́й поблизости в стане полевом гилевщицком. Взять, взять их любой ценой! На этот раз уж само небушко должно помочь нам. — Он ткнул бородой в ухо Федота, почти выкрикнул: — Твори обычаем большим: ни крови, ни греха не бойся — озолочу за сие!

— А ежели Авксентьев опять взъерепенится?

— Его тож в эту кучу, супротивники мои — значит, и государственны супротивники! Твори, ох твори немедля, Федотка! — ткнул он кулаком уже повернувшегося к выходу Федота, бледного до крайности и с полубезумными глазами, в которых поочередно мелькали страх и отчаянность.

Ко многому в жизни был безразличен воевода Домашин, но что касемо гостевания, то здесь он всегда в первых ходил. О мангазейских пирах воеводы знали не только в городе, но и далеко окрест. Так было и ныне с епархиальным секретарем. Будто окунувшись в живую воду, вмиг отрезвившую его, Домашин покрикивал с шуткой, с приговором на слуг, на глазах уставивших стол оловянными и дубовыми подносами со всяческой жареной, вареной, сушеной живностью, разнокалиберными бутылками и кувшинами с настойками, винами, медами и прочим хмельным питием.

Как ни отговаривался Кручина, как ни ссылался на то, что надо бы сначала дело вершить, потом уж за стол садиться, воевода был неумолим, тост следовал за тостом, смена закусок за сменой, и, хотя Кручина не пил,

а едва прихлебывал вино, он понял, что за всем этим угощением явно готовится что-то неладное, если не сказать похуже, для него, а главное, для всей его миссии.

В начале пира подавались с блюдами и напитками появлялись у стола на редкость веселые и приветливые. Но вскоре лица их стали меняться, они на ходу тревожно шушукались друг с другом, постоянно оглядывались по сторонам, а потом стали появляться у стола уже и вовсе испуганные, спотыкаясь и сутулясь, с заметно дрожащими руками.

Также и шум какой-то дальний будто подбирался к порогу, выкрики и даже стрельба пищалей, и наконец шум этот, уже усиленный многократно, набатом ударил в распахнутые окна и двери.

На пороге у главного входа появились четверо воеводских стрельцов, несущих на окровавленном дорожном пологе тело безжизненно раскинувшегося дворянина Авксентьева. Голова его была наспех перевязана тряпицей, такие же тряпицы в кровавых пятнах были на обеих руках стрелецкого пятидесятника Клим Егорова, который, идя рядом, придерживал голову Авксентьева.

На секунду-другую все будто застыли, глядя — кто с удивлением и с испугом, а кто и с ужасом — на кровавой след, тянувшийся за пологом, на котором несли Авксентьева. Потом прозвучал хлесткий, как удар кнута, презрительный выкрик отца Мефодия, обращенный к воеводе:

— Все ж не вытерпел, натравил свору свою на людей добрых и к миру приверженных, нет же тебе отныне ни благословения моего, ни слова доброго ни в чем!

— Что ты, что ты, отец Мефодий! — заюлил, замахал руками воевода. — Я никоим краем не виновен тут!

Но его уже никто не слушал. Перевернув в спешке стол, гости воеводы, его слуги, сторожевые стрельцы во главе с Кручиной бросились к выходу, тут же окунувшись в беснование схватки, творившейся у крыльца.

Лишь в одном месте был здесь порядок: в углу у противоположной стены подворья по-прежнему стояли готовые в любую минуту рвануться в путь олени упряжки епархиального секретаря Кручины и по-прежнему, охраняя их, с пищалами наизготовку стояли его люди.

— Ай молодцы, молодцы ребята! — только и крикнул Кручина, бросаясь к ним.

С ловкостью, свойственной скорее молодому воину, чем человеку его лет, он тут же схватил приготовленные для боя две заряженные пищали и выпалил по очереди в воздух, вызвав гулкое, многоголосое эхо и сразу поутишив схватку у воеводского крыльца. Воспользовавшись этим, Кручина тут же сдернул с плеча продолговатую, в замысловатых восточных орнаментах сумку, выхватил из нее грамоту с печатями и высоко поднял над головой.

— Люди мангазейские и пришлый люд такожды! Шапки долой — к вам обращается святитель, архиепископ Тобольский и вся Сибири владыко Киприан. А донести его слово доверено мне, первому епархиальному секретарю, дворянину Анисиму Евсееву Кручине...

Из толпы, вовсе поутихшей к этому времени и стоявшей уже с обнаженными головами, раздался нетерпеливый окрик:

— Видим, видим, куда как важна особа прибыла, ты нам своими словами растолкуй суть грамоты архиерейской, тако оно и скорей и вернее будет.

— А ежели своими, то приказано тут вам, опосля архиерейского благословения, свары враз прекратить и доверить споры-разборы с воеводой и бунташными людьми мне, и мир хоть бы и первейший наладить, и доложить о сем грамотой сверхспешной в Тобольск владыке Киприану. Такожды велено мне известить вас, что днями должен прибыть в Мангазею годовой обоз с годовальщиками же стрельцами и казаками и вновь назначенным вторым мангазейским воеводой князем Федором Уваровым.

Новость эта, как набирающий на ходу силу бурливый ручей, тут же раскатилась по толпе, вызвав оживленные выкрики, а то и споры, едва не доходившие порой до драки.

— Вот оно как выходит, нашего-то, считай, по шапке! Нет, такого не бывает, считай, еще злее да хватливей воеводу пришлют, — раздавалось из толпы.

Лохматый, огненно-рыжий молодой монах мигом вскочил на пенек:

— Не надобно ни первого, ни второго, зачем нам воеводы нужны, сами от любого злодея отобьемся, а правит нами пуццай владыко Киприан — истинный воин Христов и перед людьми, и перед Богом!..

— Так оно, так! — взорвалась криками толпа у воеводского крыльца.

В другой раз при словах таких воевода Домашин, может, и стерпел бы, но тут его, прости господи, будто нечистый под бок толкнул. Боязливо выглядывавший до этого из-за спины отца Мефодия, воевода вдруг оттолкнул его, шагнул вперед и крикнул, отчаянно задыхаясь:

— Это как, это как оно — воеводы не нужны? Бунт, сие бунт!..

Толпа тут же заколыхалась, зашумела, угрожающе надвинулась на все еще стоявшего на пеньке монаха, но в эту минуту на крыльце появился стрелецкий пятидесятник Клим Егоров, слуга московского посланца дворянина Авксентьева. Он подошел к верхним ступеням крыльца и бросил в толпу отрывисто и негромко, но так, что многие стоявшие вокруг люди вздрогнули:

— Кончился, кончился думный дворянин Гордей Акимович Авксентьев. А кончился от воеводского наговора да от твоей сабли, злодеюка, — указал он на стоящего неподалеку пьяно покачивающегося старшину городской стражи Федота Курбатова.

...Так биться, как бились стрелецкий пятидесятник Клим Егоров и старшина Федот Курбатов, могут люди, не только обуянные ненавистью, но буквально пропитанные ею до мозга костей. Более увертливый, невысокий Курбатов едва что не взлетал в воздух над могучим, не больно-то поворотливым Климом Егоровым, но зато удары Клима, достигни они хотя бы раз цели, могли бы мгновенно надвое рассечь противника. Они наступали и отступали друг от друга, часто притоптывая по высохшим до-

скам крыльца, будто отталкиваясь от них, и взмывали вверх, успевая при падении несколько раз волчком повернуться вокруг своей оси и тут же, собрав все силы, в который раз обрушиться на противника.

Наконец Клим во время одного из особо отчаянных выпадов противника почувствовал, что тот устает все более и более и скоро наступит минута, когда превосходство Клина в силе и выдержке скажется в полной мере.

— Сникни, вражина, саблю в землю! — крикнул, как бы глотнув свежего живительного ветра, Клим.

Лицо Курбатова искривила злобная гримаса, и тогда в мгновенном взмахе сабля Клина пробила насквозь его грудь.

— Теперь твоя очередь, душегуб! — крикнул Клим, направляясь к победневшему до неузнаваемости и трясущемуся как в лихорадке воеводе Домашину, но дорогу стрелецкому пятидесятнику преступил отец Мефодий.

Сняв с себя старинный серебряный крест, он поднял его высоко над головой воеводы и почти громогласно воскликнул:

— А сего грешника я беру на епитрахиль*, отныне он будет до великого разбора находиться под покровительством нашей православной церкви.

Сей древний православный обычай был хорошо известен многим бывалым стрельцам, казакам и иным мангазейцам. По их лицам можно было судить, как они, ожидавшие наказания ненавистного всем воеводе, были разочарованы, а то и попросту крайне обозлены таким оборотом дела. Но остановить Мефодия никто из толпы не посмел.

Отец Мефодий, по-прежнему держа крест над головой воеводы, повел его в сопровождении стрельцов, слуг и местных и дальних мангазейцев к Троицкому крепостному собору, а остальной народ, оживленно обсуждая произошедшие события, стал постепенно расходиться. У воеводского дома остались только тела убитых и раненых стрельцов, тундровых и городских гилевщиков, кучи окровавленной одежды и брошенное оружие.

Вскоре на площади у воеводских хором появились фигуры монахов-схимников, прибывших в Мангазею по обету и всегда берущих на себя заботы о раненых и убитых... Полная тревог, буйства, бесчисленных споров и разногласий, жизнь постепенно возвращалась к мирным началам.

(Окончание следует.)



* Взять на епитрахиль — взять под защиту церкви.

Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА

СТАРО-ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ОМСКЕ

*Дневник некрополиста**

*Каждое кладбище само по себе есть история
занимательная и поучительная, только трудно
читать ее, написанную иероглифами человече-
ских костей и могильных насыпей, если устное
или письменное предание не возьмется быть ис-
толкователем.*

Аполлинарий Крылов, 1860

...В мае позвонила коллеге:

— Буду в Омске по делам первого июня. Если есть время на обсуждение наших краеведческих вопросов, можем встретиться.

— Да, и ходим в одно место, где вы точно не были — и не побываете без меня. Я, кстати, тоже там еще не был.

— Кладбище?

— Да, Старо-Еврейское. Говорят, там есть даже дореволюционные захоронения.

* * *

Далеко не все любят гулять по кладбищам. Так ведь и я не люблю...

Но дело в том, что некрополь, как гуманитарии называют кладбище, — это интересная и, прямо скажем, бездонная тема для исследований. Раскопки могильников — обычное дело для археологов, ищущих артефакты в земле. «Историк с лопатой» к костям привычен и мертвых, как правило, не боится. Краеведы и ученые — историки, этнографы, антропологи, социологи и культурологи — тоже заходят на мрачную территорию некрополя, но реже и зачастую с опаской, ведь суеверные предрассудки, признаюсь, нам не чужды, да и увлечение исторической некрополистикой разделяет не каждый исследователь... Однако у меня есть единомышленники, и один из них живет в Омске — это историк и журналист Сергей Наумов, в компании которого я и собралась посетить тамошнее Старо-Еврейское кладбище.

Меня часто спрашивают: что интересного в старых кладбищах? Интересно все!

* Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала С. С. Наумову, И. Е. Бродскому, С. И. Шрамко.



Во-первых, лица и имена: старое кладбище, пока существует, надежно хранит память о людях, ее достойных, на старом кладбище всегда много материала для изучения биографий, истории семей и профессиональных сообществ.

Во-вторых, вечная тема — человек перед лицом смерти. Едва ли найдется хоть кто-то, кто не задумывался о том, что будет после смерти, как ее правильно встретить и как с ней смириться. Некрополь раскрывает опыт «общения» и «обращения» со смертью сразу нескольких поколений наших предшественников, и тут уж есть к чему присмотреться, о чем подумать...

И, наконец, в-третьих, справедливо высказывание: как живем, так и лежим. Некрополистика — наука не только о мертвых и о смерти, но, конечно же, и о живых: об их чувствах, вере, ценностях, вкусах, привычках, о том, что составляет сердцевину идентичности — ощущения принадлежности к сообществу, а еще — о политике, социальных болезнях, о бедных и богатых, героях и жертвах...

Изучение истории некрополя дает понимание значения смерти в меняющейся нравственной и социальной жизни. Показательна уже сама степень сохранности старых кладбищ. Непросто уяснить, почему в одних местах старые кладбища стерты с лица земли, а в других они сохранились. В политике ли дело, в религии, в чьи-то частных решениях? Кто разрушает исторический некрополь? Кто и почему пытался и пытается этому противостоять? Что все-таки сохраняется и в каком виде?

Итак, в голове роятся вопросы, на часах полдень и мы движемся в сторону омского Старо-Еврейского кладбища.

Вообще, исторический некрополь городов Западной Сибири сохранился очень плохо: дореволюционные могилы городских жителей практически исчезли еще в 1920 — 1930-х гг. В Омске же этот процесс затянулся еще на пару десятилетий и кое-что все-таки сохранилось — небольшая часть Казачьего кладбища, некогда мемориального, и Старо-Еврейское кладбище. И если разбитый в 2005 г. на месте дореволюционного Казачьего кладбища Казачий парк — популярное место прогулок в Омске, то кладбище, которое мы собираемся посетить, омские блогеры-краеведы называют «невидимым». Оно затерялось среди домов частного сектора и, точно, не похоже на парк или городской сад. Обычно сюда приходят навестить могилы родных, отдать, как говорится, дань памяти и редко — из праздного любопытства. Наше любопытство не праздное, ведь все-таки цели у нас исследовательские, но это прежде всего любопытство.

Сначала мы едем на трамвае, потом идем пешком по утопающим в пыли закоулкам среди разномастных частных домов, неуверенно держа курс на улицу Береговую (название улицы намекает на близость реки, в нашем случае — Омки). Наконец появляются очертания покосившихся надгробий за сетчатым ограждением...

Кладбище защищает от внешнего мира простой забор, на входе установлены металлические ворота со звездами Давида; за забором — сторожка и большая цепная собака, которая отчаянно лает. Небольшая табличка на входе сообщает о том, что в летний период кладбище открыто для посещений с 9 до 19 часов. Сюда не принято приходить лишь по субботам — таков иудейский обычай. Суровая сторожиха смеряет нас оценивающим взглядом и пропускает.

Некрополь напоминает большой огород, который почему-то утыкан памятниками и давно не полот: в первый день лета здесь пышно зеленеет крапива и цветут ландыши. Правда, видны также следы покоса и вырубки кленовых зарослей — результат стараний местного раввина и молодежи из числа верующих.



Слева и справа к могильнику прижаты обычные сибирские огороды, каких полно на каждой городской окраине, — они и скрывают это место от посторонних глаз. Впереди — склон, падающий к Омке, за речкой открывается панорама советских девятиэтажек и новостроек. А здесь время остановилось, «здесь граница тьмы, граница сна, граница памяти...» Идем знакомиться.

* * *

Омский краевед И. Е. Бродский рассказал нам, что до появления в Омске этого еврейского кладбища уже существовало еще одно, более раннее, от которого на сегодняшний день не осталось и следа. Старо-Еврейское основали в 1879 г., а официально закрыли в 1959 г. Но мы между прочим замечаем надгробие начала 1980-х: кто-то посчитал необходимым подхоронить усопшего к семейному некрополю. Интересно было бы увидеть могилы XIX века — углубляемся в травянищу, идем в сторону виднеющегося нового жилмассива, крапива и комары жалят без пощады. Следов седой старины пока не видно, зато повсеместны захоронения военных лет: 1941, 1942, 1943 годов. В большинстве это могилы эвакуированных, преимущественно ленинградцев, хотя, судя по памятникам, география «мест исхода» омских евреев разнообразна: встречаются, к примеру, Минск и Рига. Наконец находим могилы 1930-х гг., а за ними и надгробия начала XX в. Истертые временем камни практически не дают информации: дожди и ветры сделали многие надписи почти невидимыми. «Знаешь, как можно это все-таки прочитать? Есть такой секрет: приди сюда, когда выпадет первый снег, и под небольшим слоем снега надписи станут более рельефными, их можно будет разобрать», — вспоминаю я старый совет одного опытного некрополиста.

Кое-где можно увидеть надписи на иврите; мы не знаем этого языка, но понимаем, что сообщаются имена усопших. Понимаем, поскольку некоторые надгробия двуязычны. Большинство старых надписей начинается со слов:





«Здесь покоится прах...» Некоторые дореволюционные могильные камни сообщают чин или профессию усопшего, к примеру, «доктор». Вдруг замечаем дополнение куда более нетривиальное и откровенное: «жертва долга». Встречаются имена и фотографии до такой степени колоритные, что кажутся книжными или киношными: Иуда Моисеевич Адельсон, например. Таких имен уже почти не встретишь в Сибири.

Взгляд останавливается на семейных надгробиях, очень старых, дореволюционных, довоенных и послевоенных: Клейнеры, Фельдманы, Рывкины... Встречаются ласковые женские имена: Феня, Цинна, благородное Эстер. В завершение приводится надпись на иврите, означающая: «Пусть его душа упокоится в Ган Эден», то есть в «саду блаженства», в раю. В кратком варианте может быть просто выгравировано «Ган Эден» (на иврите).

Кстати, далеко не на каждой еврейской могиле можно увидеть портрет усопшего. Существующие же изображения скромны по размерам, вписаны в овалы, все черно-белые, некоторые из них, к сожалению, облупились. Нигде не встретишь бюста или рельефного изображения, а для старых надгробий правило отсутствия портрета абсолютно: по иудейской традиции считается недопустимым соревноваться в творении с Богом. По логике, там, где есть портреты, должны покоиться нерелигиозные евреи, но не все так просто: ряд надгробий может служить образчиком причудливого сочетания несочетаемых, казалось бы, символов — портрета усопшего, звезды Давида и красной советской звезды. Получается, что все это как-то совмещалось в головах покойного и его близких.

Неожиданно было видеть откровенно соцреалистическое знамя с острыми заламами складок и изображением звезды Давида вместо пятиконечной звезды, вырубленное на одном из надгробий. По всей видимости, звезда Давида на памятниках советского времени преимущественно означает уже не религиозную принадлежность, а национальность, связь усопшего с семейной традицией и памятью.

С одной стороны, это кладбище очень старое — таких компактных некрополей, мало изменившихся с 1960-х гг., сохранивших памятники начала XX в., в мегаполисах Западной Сибири уже и не отыщешь. С другой стороны, оно очень советское: тут лежат и коммунисты, и герои-фронтовики, погибшие за Родину, но одновременно и очень еврейское. В этой тройной специфике и состоит безусловная ценность, я бы даже сказала — особая прелесть Старо-Еврейского некрополя.



До революции все кладбища в России были конфессиональными и евреев хоронили только на официально существовавших еврейских кладбищах. В советское же время никаких новых православных, католических, магометанских и еврейских кладбищ больше не создавали, однако на старых кладбищах придерживались прежних традиций. Неформально конфессиональные кварталы существовали и на новых кладбищах, но этно-конфессиональная специфика их постепенно становилась менее выраженной, почти стиралась, и, пожалуй, лишь помпезные цыганские кварталы до сих пор очевидно выделяются из общей массы всех прочих кладбищенских кварталов советского времени. А Старо-Еврейское кладбище сохранило свою самобытность, хотя его облик со временем заметно менялся.

Уместно добавить, что еще до революции в городах Сибири было принято оповещать о смерти обывателя используя газету, дававшую среди прочих и траурные объявления. Это обыкновение сохранилось и в советское время. Перелистав толстые подшивки омских газет «Рабочий путь» и «Омская правда» за период с 1922 по 1941 г. и перечитав все траурные объявления, я лишь дважды встретила упоминания о предстоящем погребении «на Еврейском кладбище»: 27 марта 1938 г. в «Омской правде» сообщалось о смерти и похоронах управляющего аптекой № 8 Абрама Соломоновича Прессмана, а второе объявление извещало о случившейся 18 августа 1938 г. кончине Рахили Насоновны Герцовской, которая работала врачом в инфекционной клинике и имела ученую степень кандидата медицинских наук. Вообще, объявлений о смертях евреев из Омска было немало, но место погребения чаще всего не указывалось — видимо, все и так было понятно. В числе подобных объявлений — объявления о смерти Сары Абрамовны Беняминович-Островской (умерла 19 февраля 1930 г.), тоже врача, и Ханны Яковлевны Каганской (скончалась 8 марта 1936 г.).

Однако вернемся к осмотру кладбища. «Еврейскость» проявляется уже в самой планировке некрополя — сразу заметно, что кладбище традиционно разделено на мужскую и женскую части, мужья и жены лежат отдельно: господа — справа, дамы — слева, хотя это правило не является общепринятым и его соблюдали не все, поскольку встречаются разнообразные поздние супружеские надгробия (и не только здесь — на старом еврейском кладбище в Праге также встречаются надгробия, под которыми лежат мужья вместе с женами).

Было удивительно, что на этом омском старом кладбище хотя и присутствуют детские могилки, но они неприметны, без душераздирающих эпитафий в духе: «Встань мое дитяtko, встань, мое милое, бедная мама в слезах», что отличает это кладбище от любого старого русского. Детей, умерших до 13 лет, религиозные евреи хоронили без особенных церемоний, хотя жуткие и поучительные истории о гибели того или иного ребенка пересказывают до сих пор. Одну из них, услышанную от старой еврейки, рассказал И. Е. Бродский. Суть такова: во время войны в Омск прибыло огромное количество эвакуированных из Ленинграда, Харькова, Запорожья и других городов и все жили в страшной тесноте. В одной еврейской семье был мальчик-непоседа лет семи-восьми, который однажды, играя на кухне около кипятившегося на печке белья, в конце концов опрокинул кипяток на себя. Ребенок скончался, и его похоронили на Старо-Еврейском кладбище. На его могиле нет ни памятника, ни таблички — только холмик, и ни одного захоронения вокруг, видимо, вскоре после гибели мальчика его родные уехали. Однако все старожилы долго помнили, что эта безымянная могилка принадлежит мальшу, обварившемуся кипятком.





Как видно по самым старым надгробиям, дата рождения по обычаю не указывалась, упоминалась лишь дата смерти. Это общее правило распространялось и на траурные объявления, которые печатались в местных газетах в начале XX в. «Здесь покоится прах Янкель Гиршева Оглы, умершего 20 октября 1912 г.», — сообщает один из старых памятников, на котором отсутствует дата рождения, но сказано о том, что смерть настигла несчастного на 24-м году жизни. К слову сказать, дни рождения многие религиозные евреи принципиально не отмечали, хотя, если разобраться, выясняется, что празднование дня рождения все-таки не противоречит Торе.

Еще один типичный пример надгробной надписи: «Соломон Ильич Кабалкин, умер 2 июля 1908-го, 36 лет от роду» (по свидетельству И. Е. Бродского, Кабалкины — это омские купцы начала XX в.). Важность указания даты смерти обусловлена верой в то, что именно эта дата станет в будущем днем чудесного воскрешения усопшего из мертвых. Однако даты рождения и смерти на надгробиях Старо-Еврейского кладбища иногда не указываются вовсе — сообщается лишь имя. Совершенно утраченной оказалась здесь и традиция использования на могильных плитах символических фигур животных, обозначающих имя или род, и неодушевленных предметов — символов профессий.

Надгробия 1940 — 1950-х гг. оформлены преимущественно по-советски, со всеми стандартными датами. Еще одна особенность: памятник часто сообщает, кто его установил: «От зятя и внучки», «От жены, детей и внуков», «Дорогим родителям от любящих детей», «Дорогому, незабвенному мужу, отцу, дедушке от безмерно скорбящих жены, детей, внуков» — в этих фразах выражается заверение в сохранении семейной памяти, почтение к предкам. Эпитафии советских лет нередко сложены по лекалу официальных траурных штампов, вычитанных в газетах или услышанных на митингах: «Спи, наша дорогая девочка, в наших сердцах ты останешься вечно».

От захоронений сибирского еврейского кладбища не стоит ожидать безусловного следования иудейским правилам погребения, ведь даже в начале XX в., когда еще не началась антирелигиозная пропаганда, сибирские евреи традиции соблюдали не строго; их сохранению мешала удаленность от центров религиозной жизни, малое количество раввинов, недостаток грамотности в религиозных вопросах. На еврейском кладбище в Омске очевидны следы неизбежного русского влияния — к примеру, некоторые дореволюционные надгробия имеют форму часовенных столбов, напоминающих очертаниями православные храмы. Ребра граней таких надгробий выполнены в виде колонн, а на вершукше явно должен быть крест, но, разумеется, никаких крестов на еврейском кладбище нет. Мне кажется, разгадка в следующем: заметно, что некоторые дорогие надгробия были перенесены с закрытых кладбищ и использованы вторично, хотя они изначально изготовлялись не для иудеев и точно не для атеистов. Для вторичного использования надгробия в форме часовенного столба на еврейском кладбище крест меняли на звезду Давида. Однако сегодня судить об этом наверняка трудно, поскольку если прежде звезды и красовались на вершукшах надгробий, то к настоящему моменту практически все они отбиты. На вторичное использование также указывают явные признаки сочетания частей различных надгробий. Один из самых известных фотолетописцев Омска М. И. Фрумгард рассказывал, что после закрытия Казачьего кладбища в Омске особо ушлые

дельцы воровали памятники с православных могил, сбивали символику, счищали надписи и продавали евреям. Все это безобразие должно было происходить в 1940 — 1950-х гг., когда Казачье кладбище пришло в упадок.

Еще одно проявление воздействия внешней культурной среды — цветы на могилах. У религиозных евреев не принято класть на могилы цветы и венки, это считается пережитком языческих времен. Иногда допускается положить на могилу камень, что, впрочем, также ассоциируется с архаичным представлением о камне как об обители Бога. Обычно приносят маленькие камешки благородных пород: гранит или мрамор. Известно, что у особо уважаемых евреев могила иногда превращалась в настоящую горку из камней. На Старо-Еврейском кладбище цветов немало, в том числе искусственных. Цветы, символизирующие хрупкость человеческой жизни, вытесаны и на некоторых старых надгробиях. Это отвечает многовековой традиции: изображения цветов на могильных плитах нередко встречаются и в Праге на самом старом и хорошо сохранившемся еврейском кладбище Европы.

Стоит отметить, что не встретилось нам на Старо-Еврейском кладбище Омска ни одного изображения семисвечника — меноры. Также нигде не обнаружилось такие распространенные у евреев символы, как благословляющие руки и кувшин для омовения (подобным образом в Европе отмечались могилы служителей культа). Заметно, кроме того, что на омском кладбище соблюдаются традиционные запреты на еду и питье около могил: у надгробий не встретишь привычных для славян конфет, размокшего печенья и тому подобного.

Евреи отмечают годовщину смерти. На идише это называется «йорцайт» (йор — год, цайт — время), на возвышенном иврите — «йомазикарон», что можно перевести как «день памяти». В этот день родственники посещают могилу, наводят порядок. Еще существует понятие «хевракадиша» — «святое общество», в которое обыкновенно входят члены общины, следящие за порядком на кладбищах. Им заказывают заупокойные молитвы в синагоге.

Кстати, молиться над могилой может не только служитель культа, но и просто член общины, который хорошо знает молитвы. У религиозных евреев нет и понятия «родительского дня», однако традиция приходить на кладбище в мае, чтобы делать уборку, существует, и очевидно, что омские евреи так и поступают.

* * *

В прежние времена евреи устанавливали надгробие обычно в течение года после похорон, а если точно следовали правилам — то на одиннадцатый месяц; при этом не принято было соревноваться в дороговизне и роскоши, однако большинство памятников стоили в свое время недешево. Многие надгробия старых захоронений на омском кладбище вытесаны из белого мрамора. Я фантазирую: видимо, в начале XX в. панорама этого некрополя напоминала белизной и единообразием могильных плит арабское кладбище где-нибудь в Северной Африке. Впрочем, среди старых памятников встречаются и дорогие, вытесанные на века из черного гранита и сохранившие печати московских мастеровских.

Надгробия же, установленные в 1940 — 1950-х годах, часто отражают тенденции отхода от исконных порядков: на Старо-Еврейском, как и на других городских кладбищах, стали устанавливать металлические и бетонные памятники простых геометрических форм — прямоугольные, ромбовидные и пр.;



в эти же годы появлялись и простенькие деревянные памятники в виде усеченных пирамидок, чудом достоявшие до сих пор.

Сейчас на кладбище нет оград: три года назад главный раввин Омска и Омской области Ошер Кричевский, взявшись за благоустройство кладбища, инициировал удаление этого ржавого и гнутого металлолома. Однако в военной и послевоенной частях некрополя от типичных советских оградок сохранилось по одной створке, к которой крепили табличку с именем усопшего.

Если присмотреться к самым старым надгробиями, одинаковым по цвету и похожим по размеру, то очевидно, что разнообразие мемориальных форм и символов, использованных как омскими каменотесами, так и, возможно, столичными, представляет настоящий простор для семиотического анализа некрополя. Вплоть до 1960-х гг. изготовители надгробий ориентировались на дореволюционные памятники как на образцы для подражания, и в итоге некрополь этих лет выглядит эклектичным в смысле символических решений — это касается всех кладбищ, включая еврейские. Одни памятники соответствуют стилистике классицизма, другие ассоциируются с мотивами романтизма, неявно звучат отголоски и русского (псевдорусского) стиля. На Старо-Еврейском кладбище также неизбежно переплетается иудейская символика и советская.

«Правильное» еврейское надгробие (оно именуется специальным словом «мацева») должно иметь форму вертикально стоящей плиты, полукруглой или треугольной сверху, однако священные иудейские тексты не содержат правил оформления надгробий, поэтому, выбирая те или иные мемориальные формы, евреи обычно руководствовались фольклорной традицией, а также образцами и идеями, которые подсказала внешняя культурная среда. Евреи всегда были восприимчивы к новым веяниям в мемориальной эстетике — в Европе сохранились надгробия иудеев, выполненные под влиянием готики, ренессанса, барокко, классицизма, пуризма, модерна и конструктивизма. Разнообразны и надгробия омских евреев. Скажем, невозможно не остановившись пройти мимо приметных надгробий в форме пней, вытесанных из белого мрамора. Известный искусствовед Борис Хаймович, изучивший внушительное число надгробий старых еврейских кладбищ Восточной Европы, выяснил, что изображение руки Всевышнего, срубающего дерево, — это распространенная еще в XVII в. метафора смерти. В Ветхом Завете и в каббалистических текстах человек неоднократно сравнивается с деревом, соответственно надгробный пень можно расценивать как символ конца жизни, как завершение земного пути человека по воле Господа. Стоит учесть и смыслы, напластовавшиеся с течением времени, пришедшие извне, ведь надгробия в виде пней и засохших деревьев встречаются не только на еврейских могилах: каменные пеньки имели широкую популярность в начале XIX в. Некоторые исследователи считают, что под мраморными пнями этого времени покоятся масоны, но едва ли это может иметь хоть какое-то отношение к омским евреям: масонские сообщества изначально создавали дворяне, а среди дворян не было евреев — термин «жидомасон» возник от невежества.

Более вольная интерпретация — в духе романтизма — свяжет символ засохшего дерева с глубоким пессимизмом, скорбью и неутешным горем. Под надгробиями-пеньками Старо-Еврейского кладбища часто лежат молодые люди: «Дорогой, незабвенной дочери от отца, матери и сестрички», — сообщает один из пней. Этому есть относительно современное фольклорное объяснение — спиленное дерево символически передает особую трагическую историю: усопший не успел обзавестись потомством, умер молодым, его род угас. Однако на Старо-



Еврейском кладбище пеньками отмечены также могилы некоторых немолодых и явно семейных людей, что, в частности, подтверждается надписью: «Анфингер Герш Моисеевич. Родной до конца дней наших с нами дети внуки».

Омские надмогильные пни разнообразны и тщательно проработаны, среди них встречаются как одиноко стоящие, так и образующие целые семейки — один крупный пень посередине и мелкие по краям. Каменотесы вырезали узоры древесной коры, изображения веточек и листьев. А плющу, обвивающему пенек, — часто встречающемуся в России и Европе мемориальному символу, можно дать традиционную трактовку: бессмертие души, неувядающая любовь, верность, дружба и память.



Неоднократно встречаются на Старо-Еврейском кладбище также и надгробия в виде синагогальных кафедр, стоя за которыми канторы читают молитвы. На кафедре обычно вытесана традиционная драпировка, украшенная кисточками, и книга — открытая или закрытая. Теоретически эта форма надгробия может указывать на то, что «под сим камнем покоится прах» священнослужителя, а в более широком смысле она символизирует знание и память — такая форма надгробия также заимствована из европейской некрокультуры. Старожилы говорят, что кафедры отмечены могилы наиболее уважаемых и активных членов местной еврейской общины — правоверных иудеев, которые соблюдали все религиозные обряды и регулярно посещали синагогу.



Как и на других старых кладбищах, на Старо-Еврейском встречаются традиционные для Запада памятники классического типа в виде гробов или саркофагов, напоминающих о тленности сущего. Замечаю, что один из мраморных гробов приоткрыт, под крышкой зияет чернота. Любопытство заставляет осторожно заглянуть в открывшееся отверстие — оказывается, что внутри мраморный гроб пуст, лишь свежая трава пробивается наружу. На крышке другого, плотно закрытого, три загадочные полусферы, вписанные в треугольник, едва ли связанные с символикой христианской Троицы.

...Останавливаемся рядом с настоящим входом в подземелье: маленькая полуразрушенная арка над темной ямой. Становится немного не по себе... Улавливая мои ощущения, Сергей пугает: «По местному преданию, в одном из таких склепов лежит целая семья, которую вырезали какие-то отмороженные грабители в 1920-х годах, во время разгула преступности после Гражданской войны. Эта история привела в ужас весь город». — «Меня тоже она приводит в ужас, идем дальше», — дергаю я за рукав товарища. Кстати, склепы не соответствуют иудейским погребальным традициям, это — очевидный признак внешнего влияния.

* * *

Формы большинства старых надгробий можно связать с отголосками традиции классицизма. Строгие обелиски, урны — символические вместилища праха, пирамиды, шары и венки, означающие признание и славу, — все это классические атрибуты скорби. Одна из стел увенчана небольшим шаром, на котором выгесана шестиконечная звезда — так классика адаптирована к этноконфессиональной традиции. На Старо-Еврейском кладбище звучат и античные реплики: здесь можно встретить обрубленные колонны, на которых, вероятно, прежде стояли светильники или вазы; прообразы этих колонн также следует искать в мемориальном искусстве классицизма. Обращают на себя внимание памятники в форме эдикулы — небольшого храма, миниатюрного архитектурного строения из четырех колонн на подножии, увенчанного фронтоном, — такие памятники появились в России в начале XIX в. и очень широко распространились.



Замечательно и надгробие в виде небольшой скалы — этот символ был популярен в первой половине XIX в., его можно считать романтическим. Голая скала могла быть увенчана сломанным деревом, но чем были увенчаны скалы Старо-Еврейского кладбища — мы уже не узнаем. Однако интересно то, что такие надгробия устанавливались и в советское время, когда скала обрела новое символическое значение. Мемориал в сквере Героев Революции в Новосибирске, установленный на братской могиле, представляет собой скалу, которую пробивает рука, уверенно сжимающая факел. Это — рабочая рука, волевым движением разносящая скалу капитала. Вероятно, пример этого и подобных ему монументов вдохновил и некоторых омских камнерезов.

* * *

Кладбище дает возможность заглянуть в частную жизнь сообщества, скрытую обычно от посторонних глаз. Здесь видны следы «перезагрузки» идентичности омских евреев после революции, изменений в сфере их самосознания: многие евреи стали атеистами и коммунистами, что влекло за собой полный или частичный отказ от следования иудейским традициям. В то же время было важно поддерживать связь со «своими», поэтому умерших подхоранивали к семейным некрополям, а погибших ленинградских евреев из числа эвакуированных — к евреям местным. Многие омские евреи теряли активную культурную идентичность: окончательно забывали язык, не читали иудейских книг, не посещали синагогу, но сохранялась идентичность пассивная — приобретенная от рождения, закрепившаяся в процессе жизни в особой этнокультурной среде русских евреев, проявлявшаяся в неосознанном воспроизведении определенных моделей мышления и поведения. В 1940 — 1950-х гг. омские евреи старались

достойно увековечить память близких, следуя примерам старших поколений, поэтому по инерции воспроизводили порядок, присущий Старо-Еврейскому кладбищу прежде, — даже памятники в ряде случаев использовали старые. И если менялись формы надгробий, то сохранялось что-то более глубокое и неуловимое: повторялись слова эпитафий, к советскому обелиску крепилась шестиконечная звездочка, на кладбище приносились цветы, но не конфеты. Можно предположить, что это кладбище существовало именно так — незаметно, тихо хоронясь на задворках большого города — не в последнюю очередь из-за антисемитизма, постоянно актуализировавшегося как в СССР, так и в постсоветской России.

* * *

...Покидая Старо-Еврейское кладбище, этот дом вечности, мы осторожно затворяем ворота — пускай мертвые спокойно ждут дня своего воскресения.

Хорошо, что кладбище стережет злая собака, замечательно, что оно огорожено высоким забором, укрыто зеленью. И просто чудо, что до него до сих пор не дотянулись руки вандалов, крушивших на протяжении столетия исторический некрополь Западной Сибири. Прискорбно, но наши земляки до сих пор не научились ценить и беречь свое культурное наследие, осколком которого является и это маленькое кладбище; здесь от старых могил уже не веет болью и горем — скорее столетний некрополь примиряет со смертью, учит философскому взгляду на неизбежное, но это происходит только в том случае, если жива память, если люди заботятся о памятных местах и осознают непреходящую человеческую потребность в диалоге с прошлым.

Литература

Бродский И. Е. Памятники иудейской культуры в Омске XIX—XX веков // Омская крепость: историко-культурное наследие: сб. материалов Омской городской научно-практической конф. (Омск, 25 ноября 2010 г.) / отв. ред. А. П. Соколин, Н. А. Томилов. — Омск, 2011. — С. 109—112.

Евреи в Сибири: Сб. статей / под ред. Э. И. Черняка и Я. М. Кофмана. — Томск, 2000. — 170 с.

Кудрявцев А. И., Шкода Г. Н. Александро-Невская лавра. Архитектурный ансамбль и памятники некрополей. — Л., 1986. — 304 с.

Прага еврейская / сост. М. Витихова, И. Кейрж, М. Гушек. — Прага, 2004. — 56 с.

Ульянова О. С. Особенности погребения умерших как фактор сохранения национальной культуры еврейской общины (на материалах по Томску второй половины XIX — начала XX столетия) // Вестник Томского государственного университета. — 2014. — № 388. — С. 94—97.

Фролова Т. В. Еврейская идентичность в России. [Электронный ресурс]. — URL: <https://pglu.ru/upload/iblock/a6e/frolova-t.v.-evreyskaya-identichnost-v-rossii.pdf>

Хаймович Б. Ангел смерти: Символика еврейского похоронного обряда. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8vn9ZAWVgqw&t=2303s>

Светлана МИХЕЕВА

«КАК НЕКИЙ МЕСТНЫЙ ЛЕЙТМОТИВ...»

О поэте Вячеславе Тюрине

Когда в поселке Лесогорск умер поэт Вячеслав Тюрин, Лесогорск опустел. Тюриным он и был, собственно, известен в России.

Я никогда не встречалась с ним, не бывала в Лесогорске, а он в последние годы — в Иркутске. Поэтому ужасная неловкость нападала на меня, когда он звонил и говорил просто: «Это Слава». Потом долго не мог понять, кто я, путал места, но понимал, что звонок его — важный, что мы о важном говорили: о его третьей книге, которая наконец снова напомнит читателю о нем, о том, что он есть и еще собирается быть.

Обращения «Вячеслав» Тюрин не жаловал. Старенькая мама называла его Славой, он сам называл себя Славой, все его так называли в поселке, где он гордо проживал без малейшей надежды на поэтическое опознание и признание. Хотя в своем предназначении был уверен. Это удивительное свойство стихотворцев, охраняющее их в бесконечном и все еще растущем мире, в провинциальных поэтах должно быть развито во сто крат, ибо «они живут безвыходно», как написал пермский поэт Юрий Беликов. Беликов пытался объединить поэтов провинции решением одного большого (и большого — в силу необъятности родины) вопроса: «Можно ли, будучи наделенным божьим даром, оставаться в России неизвестным?» Беликов придумал провинци-

алам статус «дикороссов» — мол, дико растут в российской глубинке, а в 2002 г. выпустил книжку с поэзией «дикороссов». И Тюрин там тоже есть.

Тогда, в начале 2000-х, решался вопрос о том, каждый ли поэтический голос должен быть услышан. И это был, по существу, вопрос о правильном распределении возможностей, а значит, и славы. И это был вопрос, волновавший Тюрину — однако же волновавший немного иначе. Он мечтал о собеседнике, о «другом», который мог бы назвать его по имени и услышать, — грезил о душе родственной. Именно она была для него Возможностью. Большинство как масса, «народ, напряженный как мышца», продуцирует лишь тоску, именно от нее Слава спасался всю жизнь. Масса не годится в собеседники, она отвергает собеседника: «Реальность отрицает нас упорно» — факт и ничего больше. «Пойми, людская память — это форма / бессмертия в страдательном залоге» — это тоже факт.

Спустя многие годы, уже ближе к его смерти и за ней, тенденция провинциалов объединяться приобрела странные черты, отклонилась в область мейнстрима, перешла в сферу потребления: анонимизировать поэзию, чтобы читатель, потребляя, мог оценивать ее объективно — то есть по собственному вкусу, не опираясь на авторитет авторского имени. Этот Челябинский проект, который завоевывает

сегодня умы, продвигают поэт Виталий Кальпиди и издатель Марина Волкова. Провинция все еще пытается бороться за свои права, нависая на рычаге всем возможным весом. Провинция в этом случае напоминает мясорубку, которая полагает, что фарш — это равноправие всех кусочков. Но поэзия в этом случае превращается в общего вида субстанцию, где яркие голоса будут не слышны в силу инерции — в итоге все станет тяготеть к общему, к среднему. Благая забота о качестве текста убьет поэзию. (Ни на что не похоже? Не это ли уже случилось с нами на протяжении семидесяти лет, о которых мы так любим теперь горевать? Что за дежавю!..)

Литература — это личное дело, и лежит она за формальными пределами языка, в той иррациональной части нашего мира, в той сумеречной зоне, куда отваживается заходить поэт. Не вообще поэт, а совершенно конкретный, со своими тараканами и своей судьбой. Он-то и договаривается с языком вообще. И этот договор зачастую подписан, говоря высокопарно, кровью. Вячеслав Тюрин это, думается, понимал отчетливо. Он настаивал на своей отдельности: в личном пространстве, уважая свой дар, и в стихах — но не мизантропически, как, к примеру, Бродский, а филантропически. Тюрин утверждал свое право быть самостоятельной единицей, ища человека — собеседника, друга, женщину. А в человеке — то, что выше и больше человека.

* * *

Поэзия провинции как поэзия необратимых обстоятельств, непреодолимых, довлеющих обязательств перед чем-то, что назовем, положим, Музой, имеет особую плотность переживания — как экипаж подводной лодки, замкнутый, окруженный дверями, которые можно открыть — но нельзя открывать. Нельзя, а то умрешь. Самоотречение, доходящее до края во имя спасения. Религиозный пыл, как ни крути.

Лесогорская Муза обитала поблизости, можно сказать, она нависала над Тюриным требовательно. «Со всей очевидностью полагаю изящную словесность прямым и непосредственным продолжением Священных Писаний и высшим смыслом моей жизни», — оканчивал автобиографию Тюрин. Он прислал ее для книги, о которой мы с ним вели беседы, короткие и деловые. Сочинил он ее давным-давно — это был его устоявшийся взгляд на собственную жизнь.

«Высший смысл жизни» употреблен был им практически — во избежание собственной тоски в тех местах, где тоска стала делом не то что обычным, а явлением самым необходимым и естественным. Комсомольцы, зэки и рабочие по оргнабору строили поселок и комбинат при нем. Кто-то строил с энтузиазмом, кто-то с тоскою. Но, построив, все затосковали: а дальше-то что? «Воинство тоски ширококулой» — так назвал он своих. Ну как «своих»? Здешних. Он сам-то не сильно здешний, якутский. Кочевал с родителями по Северу, пожил в Красноярском крае, потом Тюрины осели в Лесогорске «по ряду причин» — в автобиографии так. Без подробностей.

Не совсем свой, не совсем здешний да и не совсем оседлый, Тюрин мучается. В силу ли некоего недуга, который развивался со временем, внося путаницу в его сознание, в силу ли того, что рос бродягой, знающим лишь свободную дорогу и радостное ожидание встреч, — он чувствует себя в заточении. «Но привыкаешь к захолустью» — с этим признанием, сделанным в первой книге, он пришел и к последней:

**Я брожу по квартире с грустью,
Телевизора не смотрю,
Да шатаюсь по захолустью
И неведомо что творю...**

В последнюю его книгу вошли в том числе и старые стихи Тюринина, много старых стихов, что свидетельствует: тему

провинциальной тоски и скуки он не испытал до самой смерти. Однако же в самом начале понимал: тело — вот та провинция, в которой заперт он, дух.

* * *

Он как-то печатался в журнале «Знамя», но кто бы в Лесогорске мог оценить это? Его тянуло в большие города, он мечтал о них — но что ему города, если они чужды для него, если они его не ждут? Природа, о которой он делал большие и точные замечания, которую взъерошивал или приглаживал в зависимости от настроения, не могла послужить лекарством — в стихах он возлагал на нее все меньше надежд, описывая при этом все тоньше. Безлюдность-многолюдность больших городов и безлюдность природы не давали ему читателя, по которому он страдал: «Не воронья пугаюсь я, / А непрочтення, забытья...»

Длинные гладкие пространства, где бы жил свет и где бы он рождался, — вот, пожалуй, что для Вячеслава Тюринина читатель. Та провинция, в которую был он заключен волей обстоятельств, превратилась в тюрьму, природа стала забором — «забор тайги» отгораживает его от мира, а мир от него. Не выпускает и не выпускает. «Тепла ему не хватает», — говорил о нем сочувственно Анатолий Кобенков, оценивший масштабы тюринского дарования. Но тепло в данном случае частность, которая естественным образом вытекает из куда большей надобности — свободы простейшего вида: перемещаться, отвечать за себя, жить независимо. Если бы не болезнь, не инвалидность, он, возможно, и полюбил бы свою провинцию, как любят малую родину те, кого она отпустила. Возможно, она не стала бы для него гетто.

«Я живу в провинции. Чтобы вы знали примерно, о какой из разновидностей восточносибирских гетто идет речь, скажу, что в райцентре никогда не было автовокзала, а об автобусном расписа-

нии имеют понятие только те, кто бывает за пределами района» — так в 1990 г. он отвечает на один из вопросов анкеты журнала «Юность». Тогда еще речь идет о «Совдепии», которую двадцатитрехлетний Тюрин не принимал: «Не пошла у меня советская диалектика перешагивания через головы...»

В той же анкете «на политические темы» он затрагивает личное, к теме анкеты прямого отношения не имеющее: «...прочитал кучу интересных книг, поновому взглянул на классику, и теперь ближние находят, что я стал несносен, когда за ленчем соскальзываю с наезженной талонно-дефицитной темы на Достоевского, долго и сбивчиво говорю что-то о “шигалевщине”... Понятное дело, они считают это занудством». Тюрин всецело опекаем был матерью, которую называл своим «первым цензором» и мнение которой очень ценил. Но общение в кругу семьи не могло вполне его удовлетворить. Да и соображения его, его поэтический пафос были куда крупнее того места, которое его засосало. «Хотя бы на время чуть-чуть осознать / свою принадлежность к месту / прописки...» — он мучительно пытался поставить себя на это место, исходя из реальных обстоятельств, приспособиться, стать «шрайбикусом с блокнотом в левом кармане». Но сияла в нем поэтическая реальность, усиленная любовью к миру как к Творению и к Творцу, его сотворившему, — как лучшему из поэтов.

* * *

Он вырвался в самом начале двухтысячных, получив волшебный, но лукавый подарок. Красноярская знакомая сообщила Тюрину об «Илья-премии», о литературной награде имени его однофамильца, утонувшего двумя годами раньше. Тюрин послал неаккуратную, но впечатляющую рукопись — и стал первым лауреатом. Вышла — в Москве — первая книга под названием «Всегда поблизости», состав-

ленная Мариной Кудимовой, наградившей Тюрин эпитетом «послебродский поэт», приписавшей лауреату интонацию Льва Толстого и восхитившейся длинами периодов в его стихотворениях.

Через два года, в 2003-м, Тюрин с легкой руки Анатолия Кобенкова попадает на Фестиваль поэзии на Байкале. Кобенков говорит тогда о Тюрине: «Я знаю, что в поселок Лесогорск приезжают ребята, выдающие себя за поэтов, и... в местном клубе собираются люди, которые им аплодируют. И в это время там сидит Слава Тюрин, которого знают в Москве, ценят в Перми и Минске, остающийся на своей малой родине в полной неизвестности».

Стараниями Кобенкова Тюрин попадает на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Но не оканчивает их, так же как раньше — педагогический, будучи отчислен «из педагогов» за прогулы. Частью большой литературной жизни стать он тоже не смог, хотя в том же году был принят в Союз российских писателей. В Иркутске его знали: за три года до московской книги он занял первое место на областной конференции «Молодость. Творчество. Современность», тогда еще авторитетной — некогда в ней участвовали среди молодых Вампилов, Распутин и многие другие. Но отдаленность делала невозможным полноценное общение с иркутскими коллегами-писателями: и по сей час добраться в райцентр Чуна, а оттуда уже и в Лесогорск трудно. Красноярск — ближе, проще, но это другая административная единица, Красноярский край, там своих поэтов хватает. В Красноярск он какое-то время ездил на заработки. Кажется, пространство сужалось вокруг него, закрывало все двери, замыкало все замки.

Отчасти же дело затруднялось его неспособностью к быту. «Он был как пятилетний ребенок», — довелось услышать мне о Тюрине от его земляков. В обиходе

не проявлял никаких признаков взрослости, а лишь беспомощность. Мать была его проводником в мире быта, в том числе и литературного. Она старалась не упустить для сына ни одной важной возможности, хлопотала за него, отсылала стихи. Однако опыт ее в этом был невелик и проявлялся порой в раздражающей чрезмерной настойчивости — так об этом вспоминают очевидцы.

Глубокий диссонанс между свободной сущностью поэта и накрепко привязанным к болезни, а значит, и к опекунам, и к месту человеком обострял и без того уже воспетую тоску. Тюрин злоупотреблял спиртным. Его терзала общая неустроенность, его терзало отсутствие любви: в ворохе стихов, приготовленном для последней книги, много и красноречиво сказано об этом. Это стихи разных лет.

А вот это сказано прямо, прозой — в единственном прозаическом отрывке, увидевшем свет: «Господи, подумал я сейчас, о чем я пишу, торча почти все лето в комнате, потому что снаружи, видите ли, не с кем поговорить, а не то что встречу пережить или приключение какое. В конце концов, остается пейзаж с водонапорной башней и наполовину заглохшей лесопилкой, то есть немотивированная ходьба, с тенью в соглядатаях, по окрестностям... И только страх окончательно превратиться в домашнее животное толкает меня на те “страшные вещи”, которые тем и страшны, что практически не поддаются толкованию». Рассказ «Неотправленное письмо» написан по мотивам того самого знакомства с сотрудницей красноярской газеты, которой он, захвативший в Красноярск на заработки, предложил свои стихи, а получил литературную судьбу.

* * *

«И я останусь вновь один / как некий местный лейтмотив» — Вячеслав Тюрин так и не принял своего места, не

соответствовавшего силе его дарования, но с возрастом стал терпимей относиться к своему географическому положению, положившись на волю провидения. Он наблюдает и записывает переживания своей отдельности, мерит их множествами — явлений, событий, людей. «Удаляйте рифмохлам безо всякой жалости», — писал он мне, осознавая, что неровен в своем страстном труде, что эмоция способна унижить мысль, убить ее строго, долгую музыку.

Он вырабатывает поэтический язык, способный описать неподвижность в подвижном мире. Плотный, концентрированный, ясный, как правило, он служит мысли, выраженной на одном дыхании. Чем длиннее стихотворение, тем яснее смысл и тем стабильней мелодия. «Человеческая речь есть, прежде всего, сама зычность именованья, праздник мысли, поток, обретающий русло» — вот что он имел в виду.

Впрочем, поэтическому языку подобной плотности не нужен конферанс, ему не нужна рука, которая приоткрывала бы занавес, обнажая сцену. Любые пояснения он отторгает самой своей структурой — как хирургическое и преждевременное вмешательство. Здесь язык проживает ситуацию, а не излагает ее. И продукт этого переживания — автор, который материализуется в действительном мире только с помощью поэзии.

Здесь, по сути, почти ничего нет от Бродского, хоть на первый взгляд и похоже — длинноты, продолжительные описания, инверсии, сугубо реалистический взгляд. Но по существу — ничего, поскольку у автора есть своя задача: из человека-невидимки стать явным для нас. Бродский для Тюрин — ангельская фигура, возможный потусторонний собеседник, ушедшее близкое: «Я вою, как гражданская война, / Весь волчьим одиночеством охвачен» — это из давнишнего стихотворения, посвященного Бродскому, вслед которому молодой Тюрин адресует

«мысленное чувство двойника», адресует тему узнавания («мне любопытно, что бы ты сказал, / услышав мой косноязычный оклик») и рассчитывает на ответ («из ниоткуда стану ждать ответа»).

Вячеславу Тюрину присуще катастрофическое отсутствие игры при обостренном желании быть видимым, замеченным — читай: любимым, принятым, впускенным. Катастрофическое, поскольку даже и сам лирический герой опустил уже руки и без волнения, с отстраненным любопытством начинает в далеком двухтысячном:

**Интересно, колышет
ли кого-нибудь то,
чем здесь изредка дышит
как бы призрак в пальто?**

Стихотворение «Путевые записки», откуда приводится цитата, перекочевало в его последнюю книгу из первой. Он пытается пробиться через свою отдельность, как через шум — будто бы мир горланит и поэта не слышно:

**Иногда возникает желание
поразвлечь
публику разговорами, рваным
ритмом
улицы, возвращая слова в молву,
с чувством исполненного перед
нею долга,
дабы она узнала, чем я живу,
и, наконец, умолкла.**
(«На чертовом колесе»)

Поэзия, стучающаяся в любую дверь, нуждающаяся в теплоте, — это сам человек, призрак в пальто. Среди богатых литературных россыпей сегодняшнего дня мало найдется авторов, так безоглядно понадеявшихся на читательское расположение, так просто отдавшихся на растерзание времени, — ибо сегодняшнее поэтическое слово все еще, в большей своей части, игра с огнем, игра с собой, игра по старым правилам, в которых учтено

все: и наивность давным-давно истлевших греков, и чудеса романтики, обрамленные голубыми цветками, и фокусы постмодерна. Придется даже бить себя по рукам — настолько по отношению к стихам Тюрина неуместно определение «лирический герой», формальная выдумка, не годная для поэзии вообще и для этой — в частности и особенно. Силу воображения давайте назовем лирическим героем — как действующее и побеждающее начало.

С этой силой, вооруженный ею, читатель для поэта — собеседник, но пока что молчаливый. Предполагается, что собеседник должен уловить авторский голос в шуме или тишине, предполагается, что, пока он не хочет этого сделать или же не может по объективным причинам, существует вероятность того, что их языки разнятся до степени взаимного непонимания. Автор на какое-то мгновение уверен в этом:

**«Я вас люблю,
но не знаю, как вас за это
благодарить.
На одном языке, что ли,
с вами заговорить...»**

И все же старый как мир вопрос взаимного непонимания решается в его метафизическом смысле в начале этих строк — благодарность к слушающему за возможность испытывать любовь. В смысле бытовом он вряд ли вообще разрешим: именно «чертово колесо» жизни, в которой люди «заняты чем попало», но только не важными вопросами бытия, вынуждает поэта выходить к ним, просить или провозглашать. Объясняться и ждать ответа.

* * *

В отличие от Бродского Тюрин остался в своей ссылке, он замкнут навсегда. Почти каждое его стихотворение описывает плен. В этом смысле счастли-

вой казалась Славе вода: «как стиснута гранитом, но жива, бежит вода — сама себе граница». И этот плен, испытание тотальным одиночеством, рождает поэта — как бы жестоко это ни звучало. А человека — губит, надо признать.

Пока была жива мать, он балансировал на своем канате. Его состояние было сумеречным, каким-то пульсирующим, он пребывал в своей реальности, очень ограниченной, в реальности-коробке. Но был все же защищен. После ее смерти (она ушла сразу вслед за мужем, который уже долгое время не вставал в постели) он перестал понимать, как ему быть: реальность теряла очертания. Он чувствовал себя, пожалуй, как бездомный, чью коробку подожгли.

Известие о Славиной смерти достигло Иркутска через полмесяца. Никто не сообщал: некому было сообщить, у него осталась только одна родственница, восьмидесятилетняя тетя, за которой в силу ее возраста ухаживала подруга.

Из Иркутска ему летели мои письма (за год до смерти Слава завел себе несколько электронных адресов), но ответов от него не было. На телефонные звонки он тоже не отвечал. Пришлось позвонить в местный отдел культуры, чтобы узнать, все ли с ним в порядке. Добрые женщины, работницы культуры, незадолго до этого помогли мне доставить в Лесогорск часть тиража последней его книги «На чертовом колесе». Они сказали просто: «Так он же умер». Как и любой поэт в любой провинции, он был для своих «неким местным лейтмотивом», чудаком со сложной судьбой — человеком, который отягощен талантом. Теперь он будет только поэтом, в Лесогорске и Чуне есть его книги. Вышло их три: «Всегда поблизости» открыла серию «Илья-премии»; «Розы в стране гипербол» появились в 2006 г. в Иркутске; наконец, третья и последняя, «На чертовом колесе», напечатана два года назад тоже в Иркутске.

В «Неотправленном письме» он обращает внимание адресата на чувство дома, которое вызывает у него проза Джеймса Джойса (вот уж действительно неожиданная аналогия): «Обстоятельность и полное безразличие к времени, ибо куда спешить, если странствие закончено. Подобный дискурс вызывает у меня чувство дома, столь редкое в наши дни. Циник осклабится: ничего себе домишко — помесь мертвецкой с планетарием...» Странствие Вячеслава Тюринина закончено.

Рассказали, что последние месяцы наполнены были темнотой. Он перестал осознавать действительность, ушел в долгий, глубокий запой. Квартира превратилась в пристанище «деклассированного элемента», для которого книги и рукописи

были только ненужной бумагой — от поэтического архива, таким образом, мало что осталось.

Наконец, поддавшись в минуту прояснения уговорам тех, кто за него боролся, Слава решил согласиться на меру, теоретически спасительную: «сдаться» в интернат для инвалидов. Перед тем следовало пролечиться, кажется, от пневмонии, его увезли в тайшетскую больницу. Там он и скончался. Такова жизненная история. А вот история поэтическая не закончена вовсе, а, может стать, заходит на новый виток: прекрасная поэзия, сложная и утонченная, оценена — и еще будет оценена многократно. Надеюсь, что этому будет лишней предмет и повод — книги.



НОВОСИБИРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ВЛАДИМИРА ШАМОВА

*Шамов В. Новосибирские десятицы.
Размышления об истории моего города. —
Новосибирск, 2017.*

Лишь сегодняшний день осязаем. Ушедшее отступает в тень, грядущее понемногу показывается из тени. Проникнуть в загадки будущего человеку, вероятно, не дано. Но в его власти сохранить образ прошлого во избежание пустоты, которую способна породить историческая неприкаянность. Человечество нуждается в познании мира. А уменьшенная модель мира — родной город.

Новая книга Владимира Шамова «Новосибирские десятицы. Размышления об истории моего города» — масштабный, звучный призыв посмотреть в глаза прошлому Новосибирска и оценить его красоту. Автор скрупулезно запечатлел каждый год жизни сибирской столицы с самого ее зарождения, не упустив, вероятно, ни единой детали. Первостепенного значения факт о переносе сибирского центра из Омска в город Новониколаевск в 1921 году соседствует с акцией (как бы выразились сегодня) помощи голодающим в Поволжье. Автор уделяет внимание и открытию Дома моделей в 1949-м, и визиту Юрия Гагарина в 1962 году. Он считает равно важным упомянуть и о выходе первого номера журнала «Сибирские огни» в 1922 году, и о введении пятидневной рабочей недели в 1967-м. Резко выделяются эмоциональным накалом главы о Гражданской, а после — о Великой Отечественной войнах, напряжение и скорбь сквозят в

главах о тридцатых годах. Кропотливо собирающий факты по крупице, Владимир Шамов создал настоящую энциклопедию, удобную для использования: открывай на любом интересующем временном отрезке и узнавай, чем он был славен.

Но если это энциклопедия, то — философская, поскольку каждое десятилетие, озаглавленное по-особому, сопровождается размышлениями автора об исторической судьбе города и страны в целом, так как одно от другого неотделимо. Владимир Шамов стремится к объективному взгляду, но нередко высказывает собственные оценочные суждения, пропуская излагаемый материал сквозь призму личных переживаний и убеждений. Философская энциклопедия написана не коллективом исследователей, а одним-единственным человеком, который не считает нужным скрывать свою личность. Присутствие автора придает тексту живость и непосредственность, выражаясь в сказовых инверсиях, мягких юмористических вставках и прямых обращениях к читателям. Используются — правда, в виде исключений — личные воспоминания и опыт. Иные факты включены в текст без пояснений, другие сопровождаются отступлениями. Порой проводятся параллели между прошлым веком и нынешним, даже даются рекомендации, адресованные горожанам и власти. Отдельные статьи поделены на

четкие смысловые сегменты, другие изложены вольно, что придает тексту свой колорит и, нарушая графическое единообразие, лишает его монотонности.

Но главное — какие бы события ни описывал автор, в строках его неизменно сквозит гордость, сопереживание и неподдельное любованье историей Новосибирска. «Любите ли вы Новосибирск так, как люблю его я?» — как бы спрашивает автор у своего читателя, перефразируя расхожую цитату из В. Г. Беллинского. Читая книгу Владимира Шамова, в полной мере ощущаешь: есть чем гордиться и любоваться, есть что любить, даром что привыкли с детства слышать о молодом городе, не насчитывающем даже полтораста лет. Да, он молод. И в этом его сила, ибо молодым свойственно презирать трудности, перешагивать их шутя. Пожалуй, более всего подкупает в этой монографии обращение к психологии Новосибирска (да, именно так) и созданный в результате портрет юного гиганта города, вышедшего из тайги и жадно вбирающего в себя знания, впечатления, события. Чаще других встречаются слова «новый» и «первый» — в них сконцентрирована вся глубина чувства автора, в них — ключ к авторской концепции. Прошедший путь от Нового поселка до Новониколаевска и Новосибирска, город не уставал открывать для себя мир, в котором то и дело что-нибудь происходило впервые: построена первая школа, выбран первый староста, состоялось первое избирательное собрание, открылся первый вуз, построены первые девятиэтажки. И слово «ПЕРВЫЙ» каждый раз торжественно пропечатано прописными буквами. Новосибирск и сам не раз становился первым, опережая других: в нем открылся первый за Уралом ТЮЗ, впервые заработали редкие промышленные машины, было запущено первое за Уралом метро!

Неисчерпаемый заряд жизненной энергии помогал городу преодолевать все

испытания: политические игры, лишения и смерти военных лет, эпидемии, суровый климат, стихийные бедствия. Город желал расти! Конечно же, возводился он не сам по себе, а руками тысяч людей. Имена многих из них, знакомые нам по названиям улиц и площадей или достойные быть увековеченными, вписаны в эту книгу.

Еще в нее включены десятки уникальных фотографий, иллюстрирующих поэтапные преобразования во внешности Новосибирска. На самых первых из них город настолько далек от современного облика, что едва воспринимаешь эти снимки. Силишься представить, что было, когда не было почти ничего, — и не можешь. Однако день за днем, год за годом город приобретал все более привычные черты, и вот, переворачивая очередную страницу, с радостью узнавания видишь поднявшееся из строительной пыли здание Торгового корпуса, за ним — Дома Ленина, а дальше — «Стоквартирного дома». И из рассыпанных по необъятному пространству двухэтажных домишек, льнущих друг к другу, постепенно рождается облик Новосибирска, каким мы видим его ежедневно.

Все объемнее и объемнее от года к году становятся статьи, повествующие, чем жил и дышал город, но читать их не менее (скорее, даже более) увлекательно. К сожалению, летопись Новосибирска обрывается на 1992 году. Очень многое осталось за кадром. Возможно, однажды автор будет готов сказать и о приметах двадцать первого века. Книга же его представляет огромный интерес для вдумчивого читателя уже сегодня, ибо следует проникаться не только близким, но и далеким, а привязанность к своему, родному и потребность в самоопределении — хочется верить — всегда живут в нас. Возможно, открыв «Новосибирские десятицы», многие совершенно неожиданно для себя найдут ответы на давно волнующие их вопросы.

Юлия Федорищева

Людмила БОГОМОЛОВА

ХУДОЖНИК ВЛАДИМИР ТРОНОВ

О кратком пребывании в Омске в конце 1910-х гг. художника Владимира Тронова сохранились письменные свидетельства его современников — художника Виктора Уфимцева, писателей Антона Сорокина и Леонида Мартынова. Имя его было вновь открыто в начале 1990-х гг. научными сотрудниками Омского областного музея изобразительных искусств (ООМИИ) Н. П. Мороченко и И. Г. Девятьяровой.

Напомним сведения о В. Тронове, обнаруженные исследователями в архивах Санкт-Петербурга и Омска — в Академии художеств и архивном фонде ФСБ РФ. Владимир Александрович Тронов родился 19 января 1899 г. в Тифлисе. Русский, беспартийный, из дворян. Общее образование получил в реальном училище Гуревича, где окончил 6 классов, художественную подготовку — в 1916—1919 гг. в Омске в студии А. Н. Клементьева. Две недели служил у Колчака рядовым 2-й Степной армии. С 1919 или 1920 по 1921 г. был художником в 5-й армии (РККА). В начале августа 1920 г. прибыл в Петроград. Был принят на службу в Учетно-Пересыльную часть Округного Штаба Петроградского Военного округа. 19 ноября 1920 г. поступил в мастерскую по отделению живописи и гравюры к профессору Д. Н. Кардовскому. Окончил Академию художеств в 1923 г. Сотрудничал с издательством «Радуга». Работал художником в Ленинградском областном от-

делении научно-технических издательств (ЛООНТИ). Арестован органами НКВД 2 марта 1935 г. Как «социально опасный элемент» вместе с женой был сослан в Оренбург. 5 сентября 1937 г. арестован вторично. 23 октября 1937 г. расстрелян. [1]

Интерес музейных исследователей к личности Владимира Тронова был напрямую связан с изучением художественной жизни Омска 1910 — 1920-х гг. на примере коллекции омского писателя А. Сорокина, неоднородной по составу и по-прежнему таящей множество загадок и тайн. За последнее десятилетие было установлено авторство неподписных графических листов К. Балтгайлеса, В. Безменова, М. Курзина, Н. Мамонтова, В. Уфимцева, В. Эттеля, частично определены произведения Г. Белоуско, А. Варфоломеева, А. Громова, А. Платуновой, К. Чеботарева; делались попытки критического анализа работ самого А. Сорокина. Что же касается В. Тронова, то за отсутствием эталонного художественного материала сфера интересов исследователей ограничивалась поиском фактов его биографии.

Работая с архивом А. Сорокина в фондах ООМИИ и Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИКМ), опираясь на опыт коллег и документальные источники, нам удалось уточнить и дополнить некоторые биографические сведения о художнике Владимире Тронове, установить его авторство



Владимир Тронов.

Фото нач. 1920-х гг. Архив Российской Академии художеств, СПб.

для ряда произведений, хранящихся в двух омских собраниях.

Итак, художник родился на Кавказе в губернском городе Тифлисе в дворянской семье надворного советника, гражданского инженера и губернского архитектора Строительного отделения Тифлисского губернского правления Александра Александровича Тронова [2]. Вероятнее всего, отец будущего художника окончил Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров, получив соответствующее звание и чин 10-го класса. В 1900-е гг. он продвигается по служебной лестнице и в чине коллежского советника переводится в Санкт-Петербург. Впервые имена Александра Александровича Тронова, гражданского инженера-архитектора Главного управления почты и телеграфа и страхового общества «Саламандра», и его жены Евгении Григорьевны появились в адресной книге «Весь Петербург» за 1910 г. Семья снимала квартиру в доходном доме по ул. Коломенской, 23, а следующие три года — в доходном доме О. Тыртовой (угол ул. Стремянной и Дмитровского переулка). С 1910 по 1916 г. Владимир Тронов учился в расположенном неподалеку реальном училище Я. Г. Гуревича

(Лиговский пр., 1), которое считалось одним из лучших частных средних учебных заведений Санкт-Петербурга.

В училище Гуревича упор делался на изучение практически полезных дисциплин: естественных наук, математики, инженерного дела, бухгалтерии, преподавались современные иностранные языки. Выпускников готовили к тому, чтобы они могли сразу войти в мир торговли и промышленности. Русскую литературу во время учебы Тронова преподавал выпускник Петербургского университета, известный литературовед Б. М. Эйхенбаум, физику — выпускник того же университета, основатель российской оптической промышленности А. Л. Гершун, немецкий язык — Ф. Ф. Фидлер, переводчик, автор дневника-хроники «Из мира литераторов». Историю вел Б. Д. Греков, первая исследовательская работа которого была посвящена социально-экономической истории Великого Новгорода. Рисование и черчение преподавали скульптор П. П. Забелло и классный художник Г. Ф. Воропонов. Не случайно В. Уфимцев, вспоминая свою первую встречу с Троновым в омской студии А. Н. Клементьева, отметил высокую подготовку новичка: «...орнамент, который обыкновенно рисовали несколько уроков, он сделал в 15 минут, и сделал не кое-как, а лучше всех других...» [3].

Государственного финансирования училище Гуревича не получало, плата за обучение в сравнении с казенными школами была очень высока (в первом классе — 150 рублей, во втором — 190, в третьем — 220, начиная с четвертого — 250). «Не все родители могли дать образование в такой дорогой школе. Высокая плата за обучение ставила учеников этих школ в особое, в какой-то мере привилегированное положение, поскольку они были дети богатых родителей...» [4].

По всей видимости, родители дали сыну и музыкальное образование, о чем свидетельствует тот же В. Уфимцев:

«Кроме живописного таланта — музыкальный слух. Играет на рояле и гитаре» [5]. Кстати, в одно время с Троновыми в доходном доме О. Тыртовой проживал композитор церковной музыки и хоровой дирижер А. А. Архангельский, а музыкальные занятия в училище вел директор музыкальной школы К. И. Даннеман.

Со слов Уфимцева, первые навыки рисования Тронов приобрел самостоятельно: «...ходил по галереям и музеям и изучал больших мастеров» [6]. Художественный вкус Тронова могли формировать такие петроградские музеи, как Музей барона Штиглица, Музей Александра III (ныне Русский музей), Эрмитаж, но более всего — Музей общества поощрения художников на Б. Морской, открытый в Михайловском дворце в 1898 г. Там он мог видеть картины современных ему русских художников, в частности Н. К. Рериха и Н. П. Богданова-Бельского, оказавших влияние на раннее творчество Тронова.

После смерти отца в 1914 г. [7] семья постоянно переезжает. Последний адрес, указанный в адресной книге Петрограда за 1917 г., по которому проживает вдова коллежского советника Е. Г. Тронова, — 3-я линия Васильевского острова, 18 [8]. Следовательно, возможно, что Петроград Троновы покинули в 1917 г., а не в 1916-м, как, по всей видимости, был вынужден указать художник в анкете при поступлении в Академию художеств. После Февральской революции, во многом как следствие продолжающейся Первой мировой войны, в Петрограде ухудшилась экономическая ситуация: росли цены, начались перебои с продовольствием. Временное правительство ввело карточную систему распределения хлеба. Хлебный паек составлял 225 грамм в день. Столицу сотрясали митинги и забастовки. Вслед за октябрьскими событиями начались погромы и грабежи в музеях и дворцах. По всей видимости, эта катастрофическая ситуация и вынудила Е. Г. Тронову уехать из Петрограда.

Итак, семья Троновых появилась в Сибири в конце 1917 г. Сведения о пребывании художника в Омске немногочисленны. В декабре он записался на вечерние художественные курсы Общества художников и любителей изящных искусств Степного края (ОХЛИИСК), став вскоре лучшим учеником. Его педагогами были А. Н. Клементьев, И. В. Волков и Ю. К. Куртуков. Весной 1918 г. вместе с В. Уфимцевым Тронов ходил на этюды, а в августе-сентябре был мобилизован на военную службу во 2-й Степной Сибирский корпус, формировавшийся в Омске. В апреле 1919 г. вместе с другими студийцами — Н. Мамонтовым, В. Уфимцевым, Б. Шабль-Табулевичем и др. — Тронов участвовал в Третьей весенней выставке ОХЛИИСК, представив самое большое количество работ — 38 произведений. Вероятно, тогда же произошло его знакомство с писателем и художником-любителем А. С. Сорокиным, начавшим собирать коллекцию картин, а также поэтом Игорем Славниным, писателями Всеволодом Ивановым и Ле-



Н. Мамонтов. Воличка Троныч.
1919. Омский государственный историко-краеведческий музей

онидом Мартыновым, посещавшими дом «короля сибирских писателей». В феврале-марте 1920-го Тронов находится в Иркутске, где работает художником при штабе 5-й армии РККА. Военная разруха, разрушение рынка, отмена сибирских денег в феврале 1920 г. привели к панике и к исчезновению продуктов в Иркутске. В городе начался голод, резко выросли цены. В. Уфимцев 29 июля 1920 г. записывает в дневнике: «На той неделе заезжал к нам <в Омск> Володька Тронов, едет в Питер из Иркутска. Худой стал, говорит совсем скверно, видно, что изнервничался парень» [9].

Из краткого перечисления событий сибирского периода биографии В. Тронева становится очевидным, что в Омске он находился немногим более двух лет. За время обучения в студии А. Н. Клементьева Тронов выполнил большое количество работ. В. Уфимцев, отмечавший его живописный талант и плодовитость, упоминает о наличии в своей коллекции 13 картин Тронева. Нет сомнений, что и у Мамонтова, с которым Тронов сблизился в 1919 г., были его работы. А. Сорокин, сообщая в 1925 г. о своем намерении работать над книгой «Искусство новой эпохи», указывал, что в его галерее есть картины Бурлюка, Громова, Варфоломеева, Тронева, Рериха, Эттеля [10]. В другом источнике читаем: «В настоящее время у меня имеется восемьсот картин, в числе которых 67 Давида Бурлюка, 24 Варфоломеева, 240 Мамонтов, Тронов, Громов, 48 скульптур Пожарского, Иннокентия Жукова, Грааль...» [11]. Зная болезненную страсть Сорокина к саморекламе, следует приведенные им цифры делить по меньшей мере надвое. Но то, что в художественной части его архива, переданной вдовой писателя после его смерти в краевой музей, присутствуют работы Тронева — не вызывает сомнений. На них должен стоять оттиск личной печати Сорокина.

А. Сорокин, купивший у Тронева около трехсот работ, дал ему противоре-

чивую оценку: «Тронов оказался первоклассным, но его работы были слишком подражательны. Тут были и Маковский, и Куртуков, и Рерих... и Клементьев» [12]. Испытывая в середине 1920-х гг. острый кризис, вызванный обострением болезни, а также отъездом из Омска художников и литераторов, составлявших в «белой столице» его «королевскую свиту», Сорокин нередко давал им нелицеприятные отзывы. Кроме того, он мог «подправлять» произведения художников (как в случае с В. Эттелем и Н. Мамонтовым), иногда выдавая их за собственные.

При изучении «коллекции Худпрома» в фонде изобразительного искусства ОГИКМ автором статьи была обнаружена надпись на оборотной стороне маленькой композиции «Из библии» неизвестного художника. Надпись черным карандашом, закрытая дублировочной бумагой, содержала не только название и дату, но и авторскую подпись: «Изъ библии 1919 февр. ВТронов». Сравнение почерка и подписи стало возможным благодаря письму В. Тронева, адресованному Сорокину из Петрограда в ноябре 1920 г. [13]. На картине изображена лежащая полуобнаженная женская фигура, в трактовке позы которой просматривалась прямая аналогия с полотном К. Брюллова «Последний день Помпеи». Автор объединил свои представления о древневосточном искусстве, поместив рядом египетскую ступенчатую пирамиду и ассирийскую монументальную фигуру шеду на фоне лунного пейзажа. Работа выполнена мелким, плотным мазком, большей частью слитным; женская фигура слегка моделирована белилами. Контрастный колорит построен на сочетании оттенков доминирующего синего цвета с оранжево-желтыми, бликующими на ступенях, верхушках ворот и на фигуре крылатого быка. Живописные приемы в этой композиции разительно отличаются от тех, что мы видим у Н. Мамонтова и

В. Уфимцева, творчество которых на сегодняшний день достаточно изучено.

Каталог 3-й Весенней выставки ОХЛИИСК является единственным документальным источником, позволяющим делать выводы о широком жанровом диапазоне и о тематических пристрастиях молодого художника. Перечень работ Тронова включает осенние и зимние пейзажи Омска с реками Омкой и Иртышом, композиции на исторические и мифологические сюжеты, жанровые сцены на современную тему, портрет и даже эскиз для декорации. Картины с названием «Из Библии» нет, а ведь она написана незадолго до выставки, имеет авторскую надпись и типичное для того времени оформление. В каталоге выставки под № 262 числится работа «Центавры и нимфа» — название тоже неточное, но более предпочтительное для изображенного сюжета. Забегая вперед, отметим, что названия картин Тронова в каталоге большей частью носят общий характер («Мотив», «К 6 часам», «Выздоровление», «Портрет» и т. д.), лишь в пяти случаях удалось точно идентифицировать их с сюжетами картин, частично — сделать предположение.

Образу полуобнаженной женщины в работе «Центавры и нимфа» близок образ т. н. «Восточной красавицы» (ООМИИ). Это, как мы увидим далее, редкая по степени законченности работа. Мягко моделируя лицо и тело, Тронов пытается передать игру света и тени растушеванной краской желтоватых и розовых оттенков, в тенях — синих, прокладывая на отдельных участках белила. Поблескивающие глаза, отведенный в сторону взгляд с легкой улыбкой, грим, украшения на лбу и плече характерны скорее для образа одалиски, а не нимфы. Возможно, на создание подоб-



В. Тронов. Центавры и нимфа.
1919. Омский государственный историко-краеведческий музей

ного изображения Тронова вдохновила картина Фердинана Руабе «Одалиска и внух», приобретенная в Эрмитаж Александром III. Беря во внимание характер трактовки женского образа, можно допустить, что наша работа имеет название «Головка» (кат. № 264).

Изображение обнаженной модели встречается еще в двух анонимных работах, условно названных «Купальщицы» и «Обнаженные» (обе — ООМИИ). Их объединяет ряд признаков: хрупкие, гибкие тела в сложных поворотах (анатомически небезупречно написанные), в трактовке свисающих тонких ветвей ощутимо влияние Н. П. Богданова-Бельского. Характером моделировки и приемами наложения грима эти персонажи близки женскому образу в работе «Головка» («Восточная красавица»). В «Купальщицах» — маленькой живописной композиции на современную тему, заметен интерес автора к работе на пленэре. В «Обнаженных» (акварель, гуашь) ясно читается популярнейший в искусстве античный миф о суде Париса, свободно интерпретированный автором: три женские фигуры, вписанные по окружности одна над другой, и фигура юноши



В. Тронов. Суд Париса.

1919. Омский областной музей
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

с яблоком в руке. Возможно, и в данном случае не обошлось без знакомства юного Тронова с картинами на тему «Суд Париса» Джордано Луки и Франса Флориса в Эрмитаже либо с полотнами К. Е. Маковского или Г. И. Семирадского на выставках русских академистов.

Близки по манере исполнения и две сюжетные композиции из жизни боярской Руси XVII в. — «Базар» (ООМИИ) и «Восточный порт. Эскиз» (ОГИКМ), демонстрирующие повышенный интерес

автора к русской истории. После реставрации маленькой картинки «Базар» на лицевой стороне открылась едва заметная полустертая подпись Тронова, нанесенная черным карандашом. Каталог Весенней выставки позволил сделать уточнение в названии — «На базаре» (№ 291).

Вторая, крупная по размеру композиция — вид залитого солнечным светом восточного базара, раскинувшегося на волжских берегах. На высоких шестах — ковры из «Индии чудес» и Персии, отрезки тончайшей кисеи, привезенные из-за Великой Китайской стены. Рядом с сосудами с благовониями, маслами и пряностями — группа бояр в горлатных шапках. Среди людской толпы заметны фигуры ловкого индуса, проделывающего фокусы со змеей, бородатого перса, китайца в конической соломенной шляпе. Обе работы написаны плотными мазками, мягко выявляющими форму, в цветовых пятнах — градации светлых и темных тонов. Лица решены пятном, иногда — с едва намеченными чертами. Во многом близка и цветовая палитра. Например, одежда китайца в цвете и даже орнаменте аналогична кафтану на мужской фигуре в сцене «На базаре». В каталоге 3-й выставки среди названий работ Тронова —



В. Тронов. На базаре.

1919. Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

В. Тронов.
Казачья церковь.
1919.
Омский
областной музей
изобразительных
искусств
им. М. А. Врубеля



картина «Заморские гости» (№ 269), точно передающая смысл изображенной сцены.

Интерес к русской истории мог появиться у начинающего художника после знакомства с полотнами Рериха на выставках Общества поощрения художеств. Черты подражания Рериху заметны в контрастной звучности колорита, в большой трактовке фигур и, как видим, в заимствовании названия широко известной картины русского художника. Вероятно, в беседах с А. Сорокиным не раз звучало имя Рериха: не случайно в упомянутом выше письме Сорокину осенью 1920 г. Тронов сообщает сведения об отъезде Рериха из Франции в Америку.

Не без влияния Рериха написан и небольшой «Пейзаж с видом на крепость», примыкающий к исторической тематике: на высоком укрепленном берегу — избы, освещенные лучами заходящего солнца. Эмоциональной выразительности изображенного мотива во многом способствует колористическое решение: контрастное сочетание темно-сине-фиолетовых тонов с оранжево-желтыми. На обороте пейзажа под наброском хоровода вокруг новогоднего дерева стоит неидентифицированная надпись каран-

дашом: «Рерихъ». Схожий мотив с избами, показанный со стороны реки, а не с берега, как в нашем случае, есть в эскизе задника «Слободка на Волге» к опере П.И. Чайковского «Чародейка» (1900-е) М. А. Врубеля. Нет сомнений в том, что наш пейзаж носит точно такое же название (в каталоге Весенней выставки — № 270).

Пейзажные этюды омских улиц, выполненные маслом на бумаге приблизительно одного размера, в одной манере и близкой цветовой гамме, скорее носят учебный характер (все — ООМИИ). В зимних пейзажах «Дом», «Наша улица» обращают на себя внимание весьма характерные для работ Тронова детали: предметы старательно обведены кистью по контуру формы, детали написаны короткими, плотно положенными мазками. Близки им и два осенних пейзажа, один из которых имеет условное название «Барский дом». Название неверное, поскольку изображен фрагмент бокового фасада Никольского казачьего собора с дорическим портиком и низкой оградой с каменными столбами, ныне отсутствующей (кат. № 267 «Казачья церковь»). Еще два этюда — «Закат» и «Пейзаж с ладьями» — носят явно ретроспективный

характер, выполнены в цветовой гамме красно-сине-фиолетовых тонов.

Большой технической свободой отмечены пленэрные пейзажи «Аллея» и «Зимний пейзаж с деревьями». Подтверждение авторства Тронова находим в надписи черным карандашом с указанием даты (март 1919 г.) на обороте второго этюда. Здесь следует отметить, что успешной атрибуции картин Тронова во многом содействовала реставрация фонда А. Сорокина, проводимая в течение последних пяти лет музейным реставратором живописи В. П. Ефименко. Многие работы имели состарившееся оформление со следами клея, проступавшего на лицевую сторону, многочисленные утраты, обильные загрязнения красочного слоя, искажавшие авторское цветовое решение. В ходе реставрационных мероприятий открылись надписи, выполненные на обороте или на лицевой стороне, позволившие подтвердить принадлежность работ кисти Тронова.

В каталоге Весенней выставки под № 294 указана работа «За чтением». В коллекции ОГИКМ есть небольшой, насыщенный солнечным светом пленэрный этюд, изображающий сидящую на

террасе девушку с книгой в руках. Этюд выполнен мелкими, плотно и энергично положенными мазками, четко передающими форму, лицо моделировано розоватыми оттенками. Имеются явные переключки в соотношениях оттенков зеленого цвета листвы жанровой композиции «За чтением» и этюда «Аллея», а также и темно-синих — на юбке девушки и в густых тенях на аллее.

Рука Владимира Тронова ощутима и в двух небольших жанровых сценах — «Ночное кафе» и «Беседа за столом» (обе — ООМИИ), действие которых происходит на фоне пейзажа. По сюжетным признакам (летний парковый пейзаж, вечернее освещение, фигуры отдыхающих за столиками горожан), стилистике и колориту их можно назвать парными. Обе работы были наклеены на лист выцветшей фиолетовой бумаги альбомного формата. После удаления обветшавшего оформления на обороте «Беседы за столом» был обнаружен умело выполненный рисунок орнамента, вызывающий в памяти восторженный отзыв Уфимцева.

По всей вероятности, Тронов изобразил застольные сцены в омском саду



В. Тронов.
Аллея.
1919. Омский
областной музей
изобразительных
искусств
им. М. А. Врубеля

«Аквариум», открытом в Мавриной роще в июне 1918 г. Подтверждение этому мы находим в воспоминаниях генерал-майора английской королевской морской пехоты Томаса Генри Джеймсона: «Незадолго до отъезда, 28 июля, адмирал Смирнов пригласил меня поужинать с ним и несколькими офицерами его штаба в омском ресторане “Аквариум”. Столы стояли в саду, вечер прошел прекрасно» [14]. Сад, с летним театром и рестораном (считавшимся главным рестораном «белой столицы»), был любимым местом отдыха горожан. Сохранились жанровые зарисовки в саду «Аквариум» и сцены в «ночном кафе» Николая Мамонтова, выполненные им летом 1919 г.

Не без влияния Мамонтова, с которым был дружен Тронов в 1919 г., написан «Женский портрет в шляпе» (ООМИИ). Запечатленный образ женщины-вамп словно сошел с экрана немого кино: под широкополой шляпой, обернутой вуалью, отчетливо читается греческий профиль с тонкими скулами, черными бровями и загадочным взглядом темных, густо подведенных глаз. Яркий золотистый свет, льющийся из павильона, выхватывает из густой темноты образ черноволосой красавицы, освещает листву деревьев и веселящую публику. Голова героини, взятая крупно, закрывает собой почти всю сцену гулянья в ночном саду. Фигуры людей, их одежда переданы силуэтом, лица не прописаны, лишь намеком дана какая-нибудь деталь — прием, уже встречавшийся в «Заморских гостях», «На базаре», в двух сценах в саду «Аквариум». В трактовке лица роковой женщины много общих черт с лицом одалиски («Головка»). Прежде всего это касается грима с черной подводкой глаз, блеск которых передан капелькой белил. Румянец на лицах создан при помощи оттенков красного цвета, более густо положенного от висков к уголкам губ и на подбородке — прием, уже знакомый



В. Тронов. За чтением.
1919. Омский государственный
историко-краеведческий музей

по работам «Обнаженные» и «Суд Париса». Эффектное звучание женского образа последней работы подчеркнуто богатством колористического решения.

Таким образом, исследовательская работа, проводившаяся параллельно с реставрационными мероприятиями, позволила установить авторство Владимира Тронова для девятнадцати ранее не атрибутированных живописных и графических произведений из двух омских музейных коллекций. Благодаря каталогу 3-й Весенней выставки ОХЛИИСК удалось уточнить некоторые авторские названия. В музейных фондах имеется еще ряд произведений, автором которых, возможно, также является Владимир Тронов, однако доказательств на сегодняшний день еще недостаточно.

Примечания

1. См.: Мороченко Н. П. Штрихи к портрету. К истории «Архива А. Сорокина» // Декабрьские диалоги. Материалы научной конференции памяти Ф. В. Мелёхина. — Омск, 1998. С. 45—48; Девятъярова И. Г. Художник В. А. Тронов. 1899—1937. Новые факты биографии // Декабрьские диалоги. Материалы научной конференции памяти Ф. В. Мелёхина. — Омск, 2000. С. 50—52.
2. РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 704. Л. 3—7.
3. Виктор Иванович Уфимцев. 1899—1964. Архив. Дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись. — М., 2009. С. 18—19.
4. Пискарёв П. А., Урлаб Л. Л. Милый старый Петербург. Воспоминания о быте старого Петербурга в начале XX века. — М., Директ-Медиа, 2014. С. 151.
5. Виктор Иванович Уфимцев. 1899—1964. Архив. Дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись. — М., 2009. С. 22.
6. Там же. С. 18.
7. В адресной книге за этот год имя его отсутствует, в 1915 г. указана Е. Г. Тронова, вдова коллежского советника.
8. Весь Петроград на 1917 год. Адресная и справочная книга г. Петрограда. — Пг.: издание А. С. Суворина, [1917]. С. 690.
9. Виктор Иванович Уфимцев. 1899—1964. Архив. Дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись. — М., 2009. С. 29.
10. ГАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 227. Л. 24.
11. ГАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 227. Л. 31.
12. ГАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 625.
13. ГАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 373. Л. 39.
14. Джеймсон Т. Г. Экспедиция в Сибирь. 1919 г. URL: http://it-acad.univer.omsk.su/omskarchive/section5_2.html



АВТОРЫ НОМЕРА

Богомолова Людмила Константиновна родилась в 1961 г. в Омске. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Искусствовед, старший научный сотрудник Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Член Союза художников России. Живет в Омске.

Бушуева Мария (Китаева) — прозаик, критик, автор нескольких книг, многочисленных публикаций в журналах и сетевой периодике. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литературного института им. Горького. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Волобуев Вадим Вадимович родился в 1979 г. в Александрове. Окончил Московский педагогический университет. Автор исторического романа «Кашеево царство», нескольких повестей и рассказов. Публиковался в журналах «Искатель», «Знание — сила: Фантастика». Переводчик с польского. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Живет в Москве.

Кармалита Кристина Евгеньевна родилась в Новосибирске. Окончила факультет психологии Новосибирского государственного педагогического университета. Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «После 12», «Ликбез» и др. Лауреат Международного конкурса драматургов «Евразия-2014». Член товарищества сибирских драматургов «ДрамСиб». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Козлова Мария Владимировна родилась в 1981 г. в Москве. Окончила МГУ и Литературный институт им. Горького. Публиковалась в альманахе литературной студии «Кипарисовый ладец», в журналах «Крещатик», «Знамя». Автор книги стихов «Стихи брату» (2017). Живет в Москве.

Копнинов Валерий Павлович родился в 1963 г. в Барнауле. Окончил Алтайский институт культуры и ГИТИС. Автор книги рассказов «Суккины дети». Публиковался в журнале «Север». Работает режиссером телевидения. Член Союза театральных деятелей РФ. Живет в Барнауле.

Красильникова Екатерина Ивановна родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Новосибирского государственного технического университета. Автор книг «Новосибирский некрополь» (в соавторстве) и «Новый быт сибирского Чикаго». Живет в Новосибирске.

Михеева Светлана родилась в 1975 г. в Иркутске. Окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, эссеист. Автор нескольких книг прозы и стихов. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Юность» и др. Участник ряда литературных фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Полянина Ольга Анатольевна родилась в 1982 г. в Уфе. Окончила исторический факультет Башкирского государственного университета. Кандидат исторических наук, преподаватель. Публиковалась в журналах «Бельские просторы», «Сибирские огни». Автор сборника стихов «Пешеход» (2009). Лауреат журнала «Бельские просторы» в номинации «Поэзия» (2016). Живет в Уфе.

Рожков Виктор Петрович (1920—2006) родился в Омске. В 1939 г. окончил Одесское мореходное училище. Во время Великой Отечественной войны служил на торпедных катерах. После демобилизации более 20 лет водил по Иртышу и Оби сухогруз СТ-5. Был корреспондентом Омского радио. Автор повестей и романов «За морем — Мангазея», «Киприанов след», «Срочный рейс», «Черный туман» и др. Умер в 2006 г. в Омске.

Руденко Александр Анатольевич родился в 1953 г. в Москве. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор ряда поэтических книг, а также книг переводов поэзии. Стихи переводились на болгарский, английский, испанский, французский, немецкий и другие языки. Член Союза писателей России. Почетный член Союза болгарских писателей и Союза переводчиков Болгарии. Лауреат Международной Ботевской премии. Живет в Болгарии и в России.

Федорищева Юлия Владимировна родилась в 1986 г. в Новосибирске. Окончила Новосибирский технический университет и Сибирскую академию государственной службы. Автор двух книг — прозы и стихов. Публиковалась в журнале «Огни Кузбасса», альманахе «Ликбез» и др. Работает в Новосибирском государственном художественном музее. Живет в Новосибирске.

Шевченко Ганна родилась в 1975 г. в г. Енакиеве Донецкой области. По профессии бухгалтер, финансовый менеджер. Работает редактором в издательстве. Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Октябрь», «Сибирские огни» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор четырех книг. Член Союза писателей Москвы. Живет в Москве.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 19.09.2017 г. Дата выхода № 10 за 2017 г. в свет 23.10.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.